

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

XX+I

ДЖОАНН ХЭРРИС

Шоколад



Annotation

Ветром карнавала в тихий городок на юге Франции заносит таинственную красавицу Вианн Роше, и она соблазняет благочестивых горожан своей красотой, духом свободы и невиданным прежде лакомством — шоколадом.

Фильм Лассе Халльстрема «Шоколад» соблазнил зрителей блистательной игрой Жюльетт Бинош и Джонни Дэппа.

Теперь вам предстоит узнать изысканный вкус шоколада, приготовленного английской писательницей Джоанн Хэррис.

Роман «Шоколад». Удовольствие страсти.

- [Содержание](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Глава 22](#)
 - [Глава 23](#)
 - [Глава 24](#)

- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Глава 28](#)
- [Глава 29](#)
- [Глава 30](#)
- [Глава 31](#)
- [Глава 32](#)
- [Глава 33](#)
- [Глава 34](#)
- [Глава 35](#)
- [Глава 36](#)
- [Глава 37](#)
- [Глава 38](#)
- [Глава 39](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

Содержание

Джоанн Хэррис
Шоколад

Глава 1

11 февраля. Широкая масленица

Мы прибыли сюда с карнавальным шествием. Нас пригнал ветер, не по-февральски тёплый ветер, полнящийся горячими сальными запахами жарящихся лепёшек, колбасы и посыпанных сладкой пудрой вафель, которые пекут на раскалённой плите прямо у обочины дороги. В воздухе, словно некое жалкое противоядие от зимы, вихрятся кружочки конфетти, скользящие по рукавам, манжетам и в конце концов оседающие в канавах. Люди, толпящиеся по обеим сторонам узкой центральной улицы, пребывают в лихорадочном возбуждении. Все тянут шеи, чтобы видеть обитую крепом повозку с развевающимся за ней шлейфом из лент и бумажных розочек. Анук — в одной руке жёлтый шар, в другой — игрушечная труба — смотрит во все глаза, стоя между базарной корзиной и грустной собакой коричневого окраса. Карнавальные шествия нам, мне и ей, не в диковинку. В Париже перед прошлым постом мы наблюдали процессию из двухсот пятидесяти разукрашенных повозок, в Нью-Йорке — из ста восьмидесяти, в Вене видели два десятка марширующих оркестров, видели клоунов на ходулях, карнавальных кукол с большими качающимися головами из папье-маше, девушек в военной форме, вращающих сверкающие жезлы. Но когда тебе шесть, мир наполнен особым очарованием. Деревянная повозка, наспех украшенная позолотой и крепом, сцены из сказок. Голова дракона на щите, Рапунцель в шерстяном парике, русалка с целлофановым хвостом, пряничный домик — картонная коробка в глазури с позолотой, колдунья в дверном проёме, тычущая пальцами с нелепыми зелёными ногтями в группу притихших детей... В шесть лет ты способен постигать тонкости, которые годом позже уже будут вне твоего разума. За папье-маше, мишурой, пластиком она пока ещё видит настоящую колдунью, настоящее волшебство. Она поднимает ко мне лицо. Её глаза, сине-зелёные, как земля, открывающаяся взору с большой высоты, сияют.

— Мы здесь останемся? Останемся? — Я вынуждена напомнить ей, чтобы она говорила по-французски. — Но ведь мы останемся? Останемся? — Она цепляется за мой рукав. Ветер сбил её волосы в пушистую воздушную шапку.

Я раздумываю. Городок не хуже других. Ланскне-су-Танн. Сотни две душ, не больше. Крошечная точка на скоростном шоссе между Тулузой и Бордо — моргнул, и уже проскочили. Одна центральная улица — два ряда деревянно-кирпичных домиков мышиного цвета, застенчиво льнущих один к другому; тянущиеся параллельно, словно зубцы кривой вилки, несколько боковых ответвлений. Вызывающе белая церковь на площади, по периметру которой расположились магазинчики. Фермы, разбросанные по недремлющим полям. Сады, виноградники, огороженные полосы земли, расчленённой согласно строгой иерархии сельского хозяйства края: здесь яблони, там киви, дыни, эндивий под панцирем из чёрного пластика, виноградные лозы — сухие зачахшие плети в лучах скудного февральского солнца, — ожидающие марта, чтобы воскреснуть из мёртвых... Дальше — Танн, маленький приток Гаронны, прокладывает себе путь по болотистому пастбищу. А что же местные жители? Они мало чем отличаются от тех людей, которых мы встречали прежде; может, чуть более бледные при свете неожиданно выглянувшего солнца, чуть более тусклые. Платки и береты тех же оттенков, что и упрятанные под них волосы, — коричневые, чёрные, серые. Лица скукоженные, как прошлогодние яблоки; глаза, утопающие в морщинистой коже, похожи на стеклянные шарики в затвердевшем тесте. Несколько ребятишек в развевающихся одеждах смелых цветов — красного, лимонно-зелёного, жёлтого — кажутся пришельцами с другой планеты. Крупная женщина с квадратным несчастным лицом, кутая плечи в клетчатый плащ, что-то кричит на полупонятном местном диалекте в сторону повозки, медленно катящей по улице вслед за старым трактором, который тащит её. Из фургона коренастый Санта-Клаус, явно лишний в компании эльфов, сирен и гоблинов, швыряет в толпу сладости с едва сдерживаемой злостью. Пожилой мужчина с мелкими чертами лица — вместо круглого берета, традиционного головного убора местных жителей, на нём фетровая шляпа, — глянув на меня с виноватой учтивостью, берёт на руки грустную собаку коричневого окраса, притулившуюся у моих ног. Я вижу, как его тонкие красивые пальцы зарываются в собачью шерсть; пёс скулит; на лице его хозяина отражается сложная смесь чувств — любовь, тревога, угрызения совести. На нас никто не смотрит, будто мы невидимки. Одежда выдаёт в нас чужаков, проезжих. Воспитанные люди, на редкость воспитанные; ни один не взглянет на нас. На женщину с длинными волосами, заткнутыми за воротник оранжевого плаща, и длинным шёлковым шарфом на шее с трепыхающимися концами. На ребёнка в жёлтых резиновых сапогах и небесно-голубом макинтоше. У них другой колорит. Броский наряд, лица — чересчур бледные или слишком

смуглые? — волосы, всё в них *не такое*, чужое, смутно непривычное. Обитатели Ланскне в совершенстве владеют искусством наблюдения украдкой. Их взгляды словно дышат мне в затылок — вовсе не враждебные, как ни странно, и, тем не менее, холодные. Мы для них — диковинка, карнавальная экзотика, заморские гости. Я чувствую на нас их взгляды, когда поворачиваюсь к уличному торговцу, чтобы купить лепёшку. Бумага горячая и жирная, лепёшка из тёмной пшеничной муки хрустит по краям, но в середине толстая и пышная. Я отламываю кусочек и даю Анук, вытирая растаявшее масло с её подбородка. Уличный торговец — полноватый лысеющий мужчина в очках с толстыми стёклами; от жара раскалённой плиты на его лице испарина. Он подмигивает ей. А другим глазом подмечает каждую мелочь, зная, что позже его будут расспрашивать о нас.

— В отпуск приехали, мадам? — Согласно местному этикету ему дозволено заговаривать с незнакомцами. Я вижу, что за внешним безразличием торговца кроется жадное любопытство. В Ланскне, соседствующем с Аженом и Монтобаном, туристы — большая редкость, и посему любая новая информация здесь — как живые деньги.

— Ненадолго.

— Из Парижа, значит? — Это, должно быть, из-за нашей одежды. В этом красочном краю люди блеклые. Сочные цвета, по их мнению, ненужная роскошь; они им не к лицу. Яркая растительность по обочинам дорог — это всё бесполезные, вредные сорняки.

— Нет, нет, не из Парижа.

Повозка уже почти в конце улицы. За ней идёт небольшой оркестр — две флейты, две трубы, тромбон и военный барабан, — тихо наигрывающий неузнаваемый марш. Следом бегут с десятков ребятишек, подбирающих с земли не востребованные сладости. Некоторые из них в карнавальных костюмах. Я вижу Красную Шапочку и ещё какого-то косматого сказочного персонажа; возможно, это волк. Они беззлбно препираются из-за охапки лент.

Колонну замыкает фигура в чёрном. Поначалу я принимаю его за участника карнавала — быть может, Врачевателя Чумы, — но по мере того, как он приближается, я узнаю старомодную сутану сельского священника. Ему лет тридцать пять, хотя издалека он кажется старше — из-за чопорного, важного вида. Он поворачивается ко мне, и я определяю, что он тоже не местный уроженец. Широкоскулое лицо, светлые глаза северянина, длинные, как у пианиста, пальцы покоятся на свисающем с шеи серебряном кресте. Возможно, именно это, его неместное происхождение,

и даёт ему право смотреть на меня. Но я не замечаю дружелюбия в его холодных светлых глазах. Он сверлит меня оценивающим злобным взглядом, как человек, опасющийся за свою власть. Я улыбаюсь ему, он испуганно отворачивается. Жестом подзывает к себе двух ребяташек, показывает им на мусор, которым теперь усыпана вся дорога. Парочка нехотя начинает подбирать и бросать использованные ленты с конфетными фантиками в ближайший мусорный бак. Отворачиваясь, я краем глаза опять ловлю на себе его взгляд, который я, возможно, сочла бы восхищённым, будь на его месте любой другой мужчина.

Полицейского участка в Ланскне-су-Танн нет, а значит, нет и преступности. Я пытаюсь брать пример с Анук, пытаюсь разглядеть истину под внешним обликом, но пока вижу одни только расплывчатые пятна.

— Мы останемся? Останемся, *taman*? — Она настойчиво дёргает меня за руку. — Мне здесь нравится, очень нравится. Мы ведь останемся?

Я подхватываю её на руки и целую в голову. От неё пахнет дымом, жареными лепёшками и теплом постели в зимнее утро.

Почему бы нет? Городок не хуже других.

— Да, конечно, — отвечаю я ей, зарываясь губами в её волосы. — Конечно, останемся. — И я почти не лгу. Возможно, на этот раз так и будет.

Карнавал окончен. Раз в год Ланскне ненадолго вспыхивает яркими красками, и так же стремительно остывает. На наших глазах толпа рассеивается, торговцы убирают горячие плиты и навесы, дети снимают карнавальные костюмы и украшения. Все немного смущены и растеряны от избытка шума и кричащих цветовых гамм. Праздничная атмосфера испаряется, как июльский дождь, — затекает в земные трещины, бесследно растворяется в ссохшихся камнях. Спустя два часа Ланскне-су-Танн вновь невидим, словно заколдованный городок, лишь раз в год заявляющий о себе. Если бы не карнавальное шествие, мы, наверно, его и вовсе бы не заметили.

Газ у нас есть, но электричество пока отсутствует. В первый вечер при свече я напекла для Анук блинчиков, и мы поужинали у очага, используя в качестве тарелок старый журнал, поскольку наш багаж обещали доставить не раньше следующего дня. Магазины, что мы арендовали, прежде был пекарней. Над узким дверным проёмом всё ещё висит резное изображение связки пшеничных колосьев, на полу — толстый слой мучной пыли, и, когда мы вошли, нам пришлось пробираться через беспорядочные скопления старых писем, газет и журналов. Нам, привыкшим к дороговизне больших городов, арендная плата показалась баснословно дешёвой, и всё равно, отсчитывая деньги в агентстве, я поймала на себе

подозрительный взгляд его сотрудницы. В договоре об аренде я значусь как Вианн Роше; моя подпись — иероглиф-закорючка — может означать что угодно. При свете свечи мы обследуем наши новые владения. Старые печи, жирные и закопчённые, как ни странно, ещё вполне приличные, стены облицованы панелями из сосновой древесины, на полу — почерневшая плитка земляного оттенка. В дальней комнате Анук обнаружила свёрнутый навес. Когда мы стали вытаскивать его на свет, из-под выцветшей парусины кинулись врассыпную пауки. Жилые помещения над магазином: спальня-гостиная, ванная, смехотворно крошечный балкон, терракотовый горшок с засохшей геранью... Анук скривилась, когда увидела всё это.

— Здесь так темно, *татап*. — Голос у неё испуганный, дрожащий при виде столь безобразного запустения. — И плохо пахнет.

Она права. Запах такой, будто здесь годами томился дневной свет, пока не сквасился и не протух. Стоит дух мышиных фекалий и призраков забытого прошлого, о котором никто не жалеет. Гулко, как в пещере. От убогого тепла наших тел лишь ещё чётче проступают пугающие тени. Краска, солнце и мыльная вода сотрут въевшуюся грязь. Другое дело — скорбь, горестное эхо заброшенного дома, где годами не звучал смех. В отблесках пламени свечи лицо Анук кажется бледным, глазёнки вытаращены. Она стискивает мою руку.

— И мы будем здесь спать? — спрашивает она. — Пантуфлю тут не нравится. Он боится.

Я улыбнулась и поцеловала её в пухлую золотистую щёчку.

— Пантуфль поможет нам.

В каждой комнате мы зажгли свечи — золотые, красные, белые и оранжевые. Я предпочитаю благовония собственного приготовления, но сейчас, когда их нет, для наших целей вполне годятся и купленные свечи — с ароматами лаванды, кедра и лимонного сорго. Мы держим в руках по свечке, Анук гудит в свою игрушечную трубу, я стучу металлической ложкой о старую кастрюлю, и так на протяжении десяти минут мы обходим каждую комнату, вопя и распевая во всё горло: «Прочь! Прочь! Прочь!», пока стены наконец не сотрясаются и разъярённые призраки не убегают, оставляя за собой едва уловимый запах гари и хлопья осыпавшейся штукатурки. Если взглянуть в трещинки потемневшей краски, в унылые силуэты брошенных вещей, начинаешь видеть неясные очертания — будто остаточные изображения, созданные пламенем свечи в твоей руке. Вон стена сверкает золотом, там кресло, немного потёртое, но сияющее торжествующим оранжевым цветом, и старый навес вдруг заиграл яркими оттенками, высветившимися из-под слоя пыли и грязи. Анук с Пантуфлем

продолжают топтать и петь: «Прочь! Прочь! Прочь!», и расплывчатые силуэты приобретают всё более чёткие контуры — красный табурет возле стойки с виниловым покрытием, гроздь колокольчиков у входной двери. Я, разумеется, понимаю, что это всего лишь игра. Придуманное волшебство, чтобы успокоить испуганного ребёнка. Нам предстоит поработать, хорошенько потрудиться, дабы вещи здесь по-настоящему засияли. Но сейчас достаточно знать и то, что этот дом рад нам, так же, как мы рады ему. У порога хлеб с солью, чтобы умиловить обитавших здесь богов. На наших подушках ветки сандалового дерева, чтобы нам снились приятные сны.

Позже Анук сказала мне, что Пантуфлю уже не страшно, значит, тревожиться не о чем. Не задувая свечей, мы прямо в одежде улеглись на пыльные матрасы в спальне, а когда проснулись, уже наступило утро.

Глава 2

12 февраля. Пепельная среда

Разбудил нас звон колоколов. Я и не догадывалась, что наш магазинчик стоит так близко к церкви, пока не услышала низкое резонирующее «бом», растворяющееся в мелодичном перезвоне — *боммм фла-ди-дади-бомммм*. Я глянула на свои наручные часы. Шесть утра. Через щели разбитых ставней на постель струится серо-золотистый свет. Я поднялась и выглянула на площадь. Мокрый булыжник блестит. Особенно выразительна в лучах утреннего солнца башня квадратной белой церкви, вздымающаяся из ямы тёмных витрин — булочной, цветочной лавки, магазинчика ритуальных принадлежностей, торгующего мемориальными табличками, каменными ангелами, неувядаемыми искусственными розами с эмалевым покрытием... Среди этих настороженных глухих фасадов белая башня всё равно что маяк. На её часах — шесть двадцать. Римские цифры мерцают красным, вводя в заблуждение дьявола. Из неприступной ниши на головокружительной высоте тоскливо взирает на площадь словно мучимая тошнотой Дева Мария. На кончике короткого шпиля крутится флюгер — фигурка в длинном одеянии с косой, показывающая то строго на запад, то на запад-северо-запад. С балкончика, где стоит горшок с увядшей геранью, я замечая первых горожан, спешащих на мессу. Вон женщина в клетчатом плаще, которую я видела во время карнавального шествия. Я махнула ей, но она, не отвечая на моё приветствие, лишь плотнее закуталась в свой плащ и торопливо прошла мимо. Следом идёт мужчина в фетровой шляпе, за ним по пятам семенит его грустный пёс коричневого окраса. Мужчина робко улыбается мне, я громко и радостно здороваюсь с ним, но, очевидно, согласно местному этикету подобные вольности непозволительны, ибо он тоже не отвечает мне, спеша скрыться в церкви вместе со своим питомцем.

После уж никто не смотрел на моё окно, хотя я насчитала шестьдесят голов — в шарфах, беретах, низко надвинутых шляпах, защищающих лица своих хозяев от незримого ветра. Но я ощущала их напускное, пронизанное любопытством равнодушие. У нас есть дела поважнее, говорили их ссутуленные спины и втянутые в плечи головы. Однако они плелись по мостовой, как дети, которых заставляют ходить в школу. Вот этот сегодня бросил курить, определила я, тот отказался от своих еженедельных визитов

в кафе, та — от своих любимых блюд. Меня их проблемы, разумеется, никак не касаются, но в этот момент я остро сознаю, что если и есть на земле уголок, хоть чуточку нуждающийся в чарах магии... Старые привычки не умирают. И если вы однажды занимались исполнением чужих желаний, этот порыв никогда не оставит вас. К тому же ветер, спутник карнавала, всё ещё дует, пригоняя едва уловимые запахи жира, сахарной ваты и пороха, острые пряные ароматы приближающейся весны, от которых зудят ладони и учащается сердцебиение... Значит, мы остаёмся. На какое-то время. Пока не сменится ветер.

В городской лавке мы купили краску, кисточки, малярные валики, мыло и вёдра. Уборку начали с верхних помещений, постепенно продвигаясь вниз, — срывали шторы, негодные вещи сбрасывали в крошечный садик во внутреннем дворе, где быстро росла груда мусора, мылили пол, то и дело окатывая водой узкую закопчённую лестницу, так что обе вымокли насквозь по несколько раз. Щётка Анук превратилась в подводную лодку, моя — в танкер, с шумом пускающий вниз по лестнице стремительные мыльные торпеды, разрывающиеся в холле. В самый разгар уборки звякнул дверной колокольчик. С щёткой и мылом в руках, я подняла голову и увидела рослую фигуру священника.

А я-то всё спрашивала себя, когда же он решит нанести нам визит.

С минуту он рассматривает нас. Улыбается. Настороженной улыбкой, благожелательной, хозяйской. Так владелец поместья приветствует незваных гостей. Я чувствую, что его очень смущает мой внешний вид — мокрый грязный комбинезон, волосы, подвязанные красным шарфом, голые ступни в хлюпающих сандалиях.

— Доброе утро. — К его начищенной чёрной туфле течёт пенистый ручеёк. Он быстро глянул на мыльный поток и вновь обратил взгляд на меня.

— Франсис Рейно, — представляется он, предусмотрительно делая шаг в сторону. — Кюре местного прихода.

Я рассмеялась. Не сумела сдержаться.

— А, вон оно что, — язвительно говорю я. — Я думала, вы персонаж карнавального шествия.

Он смеётся из вежливости. Хе, хе, хе.

Я протягиваю руку в жёлтой резиновой перчатке.

— Вианн Роше. А та бомбардирша сзади — моя дочь Анук.

Взрывы мыльных пузырей. Анук сражается с Пантуфлем на лестнице. Я чувствую, что священник ждёт от меня подробностей о месье Роше. Гораздо проще, когда всё изложено чёрным по белому, чин-чином,

официально. Тогда не приходится задавать неловких, неприятных вопросов...

— Полагаю, вы были очень заняты сегодня утром. — Внезапно мне становится жаль его: он так старательно ищет подход ко мне. Опять принуждённо улыбается.

— Да, нам и впрямь надо как можно скорее навести здесь порядок. А работы уйма — враз не переделаешь! Но нас в любом случае не было бы сегодня в церкви, *monsieur le cure*. Мы не ходим в церковь. — Это было сказано из добрых побуждений, — чтобы сразу дать ему понять, на чём мы стоим, успокоить его. Но он переменился в лице, вздрогнул, будто я его оскорбила.

— Понятно.

Я веду себя слишком откровенно. В его понимании, нам следовало бы чуть потоптаться вокруг да около, вкрадчиво покружить один возле другого, словно кошки.

— Но я очень признательна вам за радушный приём, — бодро продолжаю я. — Надеюсь, с вашей помощью мы даже обзаведёмся здесь друзьями.

Он и сам немного похож на кошку: его холодные светлые глаза не знают ни минуты покоя, всё что-то рассматривают суетливо, изучают, но взгляд отстранённый.

— Сделаю всё, что в моих силах. — Теперь, когда выяснилось, что мы не пополним ряды его паствы, священник выказывает к нам полнейшее равнодушие. Однако, повинаясь голосу совести, он вынужден предложить нам больше, чем желал бы дать. — У вас есть какие-то конкретные просьбы?

— Вообще-то, мы не отказались бы от помощников, — говорю я и, видя, что он начинает отвечать, быстро добавляю: — Речь, разумеется, не о вас. Но, может, вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы подзаработать? Например, штукатура, кого-нибудь, кто мог бы помочь с ремонтом? — Это, конечно же, более безопасная тема.

— Нет, я таких не знаю. — Он держится настороженно. Я впервые встречаю столь сдержанного человека. — Но поспрашиваю.

Может, и поспрашивает. Как и полагается, исполнит свой долг перед новоприбывшими. Только я уверена, он никого не найдёт. Такие люди, как он, не оказывают услуг из милости. Священник подозрительно косится на хлеб с солью у порога.

— Это на счастье, — с улыбкой объясняю я. Его лицо каменеет. Он стороной обходит наш скромный дар домашним богам, будто это скверна.

— *Матап?* — В дверном проёме появляется головка Анук с всклокоченными волосами. — Пантуфль хочет поиграть на улице. Можно?

Я кивнула.

— Только из сада никуда, — наказываю я, вытирая грязь с её переносицы. — Ну и вид у тебя. Сущий сорванец. — Её взгляд обращается на священника, я вовремя замечаю в её глазах смешинки. — Анук, это месье Рейно. Поздоровайся.

— Здравствуйте! — кричит Анук, бегом направляясь к выходу. — До свидания! — Неясным пятном мелькнули жёлтый свитер с красным комбинезоном, и она скрывается за дверью, скользя сломя голову по сальной кафельной плитке. Мне почудилось, уже не в первый раз, что следом за ней исчез и Пантуфль — бесформенный тёмный силуэт на фоне ещё более тёмной дверной рамы.

— Ей всего шесть лет, — объясняю я.

Рейно выдавливает кислую улыбку. Очевидно, мимолётная встреча с моей дочерью только укрепила все его подозрения относительно меня.

Глава 3

13 февраля. Четверг

Слава Богу, на сегодня я свободен. Как же утомляют меня все эти визиты. Речь, конечно же, не о тебе, *mon pere*. Мой еженедельный визит к тебе — это счастье, можно сказать, моя единственная отрада. Надеюсь, цветы тебе нравятся. Они не очень красивые, но пахнут изумительно. Я поставлю их здесь, возле твоего кресла, чтобы ты мог любоваться ими. Отсюда чудесный вид на поля, на Танн, вдалеке блестит лента Гаронны. И кажется, будто мы совсем одни. О, я не жалею. Вовсе нет. Просто одному человеку тяжело нести такое бремя. Все их мелкие заботы, обиды, глупость, тысячи банальных проблем... Во вторник у нас был карнавал. Они танцевали и кричали, как самые настоящие дикари. Клод, младший сын Луи Перрена, выстрелил в меня из водяного пистолета. И, думаешь, как отреагировал его отец? Сказал, что он маленький и ему хочется немного поиграть. Я же, *mon pere*, всеми помыслами стремлюсь наставить их на путь истинный, избавить от греха. Но они сопротивляются на каждом шагу, словно малые дети, из прихоти отвергают здоровую пищу, продолжая есть то, от чего их тошнит. Я знаю, ты понимаешь меня. Ты сам на протяжении пятидесяти лет безропотно и с достоинством нёс на своих плечах эту ношу. И завоевал их любовь. Неужели времена так сильно изменились? Здесь меня боятся, уважают... но вот любят ли? Нет. Лица у всех угрюмые, недовольные. Вчера уходили со службы полные раскаяния, а в чертах каждого читалось виноватое облегчение. Возвращались к своим тайным пристрастиям и порокам. Как же они не понимают? Господь всё видит. Я всё вижу. Поль-Мари Мускат бьёт жену. Благочинно исповедуется каждую неделю, прочитает в наказание десять молитв и вновь принимается за своё. Жена его — воровка. На прошлой неделе пошла на рынок и украла с прилавка дешёвую побрякушку. Гийом Дюплесси постоянно спрашивает, есть ли у животных душа, и, услышав от меня отрицательный ответ, начинает плакать. Шарлотта Эдуард подозревает, что у её мужа есть любовница. Я знаю, что у него их целых три, но вынужден хранить тайну исповеди. Какие же они все дети! Своими вопросами и манерами они сводят меня с ума. Но я не вправе выказывать слабость. Овцы — отнюдь не покорные безобидные существа, какими изображают их в идиллических

пасторалях. Это подтвердит любой селянин. Они хитры, порой жестоки и патологически глупы. И у нетребовательного пастыря зачастую демонстрируют неповиновение и дерзость. Потому я неизменно строг с ними. И только раз в неделю позволяю себе немного расслабиться. Твои губы плотно сжаты, *mon pere*, как на исповеди. Но сердце у тебя доброе, и ты всегда готов выслушать меня. На один час я могу скинуть своё бремя. И обнажить своё несовершенство.

У нас появилась новая прихожанка. Некая Вианн Роше, — полагаю, вдова, — с маленькой дочкой. Помнишь пекарню старика Блэро? Он умер четыре года назад, и с тех пор его дом стоял в запустении. Так вот, она арендовала эту пекарню и надеется открыть её к концу недели. Думаю, её заведение просуществует недолго. У нас уже есть пекарня Пуату, на другой стороне площади. И к тому же она здесь не приживётся. Хоть она и приятная женщина, но с нами у неё нет ничего общего. Не пройдёт и двух месяцев, как сбежит опять в большой город. Там ей самое место. Забавно, но я ведь так и не выяснил, откуда она родом. Очевидно, парижанка, а может, из-за границы приехала. Говорит без акцента, пожалуй, даже слишком чисто для француженки. Гласные произносит отрывисто, как северяне, но в глазах есть что-то от итальянцев или португальцев, а кожа... Впрочем, я её почти не видел. Вчера целый день и сегодня она наводила порядок в пекарне. Её витрина прикрыта куском оранжевого пластика. Время от времени она сама или её маленькая дочка-дикарка выбегают на улицу, чтобы опорожнить в канаву ведро помоев или перебраться парой дружелюбных слов с кем-нибудь из рабочих. Меня поражает её умение договариваться с людьми. Я предложил ей свои услуги в качестве посредника, но сомневался, что найду желающих помочь. И вдруг рано утром вижу, как Клэрмон несёт ей лесоматериалы, следом идёт Порсо со своими лестницами. Пуату снабдил её кое-какой мебелью. Я видел, как он тащил через площадь кресло, и всё время озирался по сторонам, будто боялся, что его заметят. Даже сварливый брюзга Нарсисс пошёл со своим инвентарём облагораживать её садик, хотя в ноябре прошлого года, когда я попросил его вскопать газон на кладбище, он мне ответил категоричным отказом. Сегодня утром примерно в восемь сорок к её магазинчику подъехал грузовой фургон. Мимо проходил Дюплесси, он обычно в это время выгуливает собаку. Она окликнула его, попросила помочь с выгрузкой вещей. Он оторопел от неожиданности, так и не донеся руку до шляпы. Я был почти уверен, что он откажет. Потом она что-то сказала — её слов я не разобрал — и звонко рассмеялась. Вообще, она много смеётся и постоянно жестикулирует, выделявая руками комичные нелепые движения.

Тоже, полагаю, черта, присущая жителям больших городов. Мы здесь привыкли к более сдержанной манере общения, но, надеюсь, она не имеет в виду ничего дурного. Голову она по-цыгански обмотала фиолетовым шарфом, однако волосы из-под него выбились, на них белая краска. Но её, по-видимому, это не смущало. Позже Дюплесси не смог припомнить, что она ему сказала. Проямлил только, что его это ничуть не затруднило, поскольку весь груз состоял всего из нескольких коробок, довольно тяжёлых, хотя и маленьких, и открытых ящиков с кухонной утварью. Что в коробках, он не спросил, но считает, что нереально наладить пекарное производство со столь скудными запасами.

Не подумай, *mon pere*, будто я все дни напролёт только и делаю, что наблюдаю за пекарней. Просто она стоит почти прямо напротив моего дома — того самого, *mon pere*, что прежде принадлежал тебе. Весь минувший день и половину сегодняшнего там стучали молотками, красили, белили и скоблили, так что даже меня разобрало невольное любопытство. Мне не терпится посмотреть на результат. И я не одинок в своём желании. Я слышал, как мадам Клэрмон судачила со своими приятельницами возле лавки Пуату, с важным видом рассказывая им про работу мужа. Они говорили о «красных ставнях», а потом заметили меня и тут же понизили голоса, перейдя на шёпот. Будто мне есть дело до их пересудов. А новоприбывшая, безусловно, даёт богатую пищу для сплетен, если не сказать больше. Оранжевая витрина так и притягивает взоры. Словно огромная конфета, с которой хочется содрать фантик. Случайно залежавшийся соблазнительный ломоть карнавала. Есть что-то тревожное в этом ярком куске пластика, в том, как он сверкает на солнце. Я буду счастлив, когда ремонт завершится и бывшая пекарня вновь станет пекарней.

На меня многозначительно поглядывает медсестра. Она считает, что я утомляю тебя. И как только ты их выносишь? Их громкие голоса, командирские замашки? *А теперь нам пора отдохнуть.* Её слащавый игривый тон раздражает, режет слух. Она желает добра, говорят твои глаза. *Не сердись на них, они знают, что делают.* А вот я не добрый. Я пришёл сюда не тебя утешать — чтобы самому утешиться. И всё же мне хочется верить, что мои визиты доставляют тебе удовольствие, вносят свежую струю в твою жизнь, превратившуюся в вялое, бесцветное прозябание. По вечерам телевизор в течение одного часа, смена положения пять раз в день, кормление через трубочку. О тебе говорят, как о неодушевлённом предмете: *Думаешь, он нас слышит? Понимает что-нибудь?* Твоё мнение никому не интересно, тебя даже не спрашивают... Ты живёшь в полной изоляции, но

по-прежнему чувствуешь, думаешь... Вот он истинный ад, голый ужас, без наносной цветистости средневековых представлений. Полнейшая изоляция. А я обращаюсь к тебе: научи, как найти контакт с людьми. Дай мне надежду.

Глава 4

14 февраля. Пятница. День святого Валентина

Мужчину с собачкой зовут Гийом. Вчера он мне помог занести в дом багаж, а сегодня утром стал моим первым посетителем. Пришёл вместе со своим псом Чарли. Поприветствовал с застенчивой учтивостью, почти по-рыцарски.

— Мило у вас здесь, — сказал он, кинув взгляд вокруг. — Наверно, всю ночь трудились не покладая рук.

Я рассмеялась.

— Просто чудесное превращение, — добавил Гийом. — Не знаю почему, но я думал, вы собираетесь открыть у нас ещё одну пекарню.

— Чтобы пустить по миру беднягу месье Пуату? С его-то больной поясницей и несчастной женой-инвалидом, которая и так не может спать по ночам? Уж он был бы благодарен мне по гроб жизни.

Гийом нагнулся, поправляя на Чарли ошейник, но я заметила весёлый блеск в его глазах.

— Значит, вы уже познакомились?

— Да. Я дала ему рецепт ячменного отвара от бессонницы.

— Если поможет, он на всю жизнь станет вам добрым другом.

— Поможет, — заверила я. Потом сунула руку под прилавок и вытащила маленькую розовую коробочку с серебряным бантиком в форме сердечка. — Держите. Это вам. Моему первому посетителю.

— Ну что вы, мадам, я...

— Зовите меня Вианн. И я не приму отказа. — Я сунула коробочку ему в руки. — Вам понравится. Это ваши любимые.

— Откуда вы знаете? — спросил он с улыбкой, осторожно убирая подарок в карман плаща.

— А вот знаю, — озорно сказала я. — Мне известны пристрастия абсолютно каждого. Поверьте, это то, что вам нужно.

Вывеска была готова только к полудню. Жорж Клэрмон, без конца извиняясь за опоздание, собственноручно прибавал её. Красные ставни смотрелись изумительно на фоне свежей побелки, и Нарсисс, беззлобно сетуя на поздние заморозки, рассадил в моих горшках несколько цветков герани, которые принёс из своей теплицы. Я вручила обоим мужчинам по

нарядной коробочке ко дню святого Валентина, и они, озадаченные, но счастливые, покинули мой магазинчик. После почти никто не заходил, не считая нескольких ребятишек, которых я поспешила выпроводить. В сущности, это судьба любого нового заведения, открывающегося в маленьком городке. Местные жители ведут себя в строгом соответствии с условностями, регулирующими подобные ситуации. Они сдержанны, демонстрируют безразличие, хотя в душе сгорают от любопытства. Заглянула пожилая женщина в чёрном платье — традиционном одеянии местных вдов. Мужчина с красно-коричневым лицом купил три одинаковые коробочки, даже не поинтересовавшись, что в них лежит. Потом на протяжении нескольких часов никого. Как я и ожидала. Нужно время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Отдельные прохожие бросали пристальные взгляды на витрину моего магазина, но переступить порог не осмелился никто. Правда, я чувствовала, что за напускным равнодушием кроются смятение, шёпот пересудов, колыхание то и дело отдёргиваемых штор, подготовка к решительному шагу. Наконец они пришли. Сразу целой компанией. Семь-восемь женщин, среди них Каролина Клэрмон — жена Жоржа Клэрмона, смастерившего вывеску для моего магазина. Девятая, шедшая в хвосте группы, осталась на улице. Я узнала в ней женщину в клетчатом плаще. Она стояла у витрины, почти касаясь лицом стекла.

Посетительницы жадно рассматривают всё, хихикают, мнутя, восторженно охают, словно шкодливые школьницы.

— И вы всё это сама делаете? — спрашивает Сесиль, хозяйка аптеки на центральной улице.

— Придётся воздержаться, — говорит Каролина, полная блондинка в пальто с меховым воротником. — Как-никак Великий пост.

— Я никому не скажу, — обещаю я. Потом, бросив взгляд на женщину в клетчатом плаще, всё ещё стоящую у витрины, интересуюсь: — А ваша приятельница почему не заходит?

— Она вовсе не с нами, — отвечает Жолин Дру, женщина с заострёнными чертами лица; она преподаёт в местной школе. — Это Жозефина Мускат, — добавляет она, мельком глянув на квадратное лицо за стеклом витрины. В её голосе сквозит презрительная жалость. — Вряд ли она войдёт.

Жозефина, будто услышав её слова, чуть покраснела и нагнула голову, вдавливаясь подбородком в свой плащ. Одну руку она как-то странно прижимала к груди, будто оборонялась. Я увидела, как её губы с опущенными уголками слегка зашевелились, нашёптывая то ли молитву, то ли проклятия.

Я стала обслуживать женщин — белая коробочка, золотая ленточка, два бумажных рожка, розочка, розовый бантик в форме сердечка. Те громко восклицали и смеялись. Жозефина Мускат у витрины на улице что-то бормотала, раскачиваясь и колотя по животу неуклюжими кулаками. Потом, когда я занялась последней покупательницей, она вдруг вскинула голову, словно бросая вызов, и вошла. Этот последний заказ я выполняла дольше прежних. Пришлось комплектовать большой набор в нестандартной упаковке. Мадам желала *вот только* это, да ещё то, то, то и то, да в круглой коробочке, да с ленточками и цветочками, и с золотыми сердечками, и с визитной карточкой, но непременно без надписи. При этом остальные дамы шаловливо закатили глаза, издавая восторженные возгласы — *хи-хи-хи-хи!* — так что я едва не проглядела самое интересное. Крупные руки Жозефины удивительно проворны, огрубелые, красные руки, закалённые работой по дому, чрезвычайно расторопны. Одна по-прежнему прижата к животу, вторая молниеносно взлетает сбоку, словно оружие в руке опытного стрелка, и маленький серебряный пакетик с розочкой — стоимостью в 10 франков — перемещается с полки в карман её плаща.

Отличная работа.

Я не подаю вида, что заметила кражу, пока дамы не покинули магазин. Жозефина, оставшись одна перед прилавком, с притворным интересом рассматривает выставленный товар. Осторожно покрутила в нервных пальцах одну коробочку, вторую. Я закрыла глаза, вслушиваясь в её мысли. Путанные, тревожные. В моём воображении мелькает череда быстро сменяющих один другой образов: дым, горсть блестящих безделушек, окровавленный палец. За всем этим кроется трепетный страх.

— Мадам Мускат, помочь вам что-нибудь выбрать? — Голос у меня спокойный, любезный. — Или желаете просто ознакомиться с ассортиментом?

Она пробормотала что-то нечленораздельное и повернулась от прилавка, собираясь уйти.

— Думаю, у меня есть то, что вам понравится. — Я достала из-под прилавка серебряный пакетик, — точно такой, что она украла, только чуть больше размером, — перетянутый белой лентой с крошечными белыми цветочками. Она взглянула на меня испуганно, уголки её большого не улыбочивого рта опустились ещё ниже. Я придвинула к ней пакетик.

— Это за счёт магазина, Жозефина, — ласково сказала я. — Бери, не бойся. Это твои любимые.

Жозефина Мускат повернулась и выбежала из магазина.

Глава 5

15 февраля. Суббота

Я знаю, *mon pere*, что пришёл не в свой обычный день. Но мне необходимо высказаться. Вчера открылась пекарня. Но оказалось, что это не пекарня. Когда я проснулся вчера в шесть утра, защитной плёнки на фасаде уже не было, навес и ставни висели на своих местах, над витриной поднят козырёк. Некогда обычный невзрачный старый дом, как и все здания вокруг, сиял, словно конфетка в красно-золотистом фантике на ослепительно белом столе. На окнах горшки с красной геранью. Поручни оплетены гирляндами из гофрированной бумаги. Над входом дубовая вывеска с чёрной надписью:

Шоколадная

«Небесный миндаль»

Бред да и только. Подобное заведение, наверно, стало бы пользоваться популярностью в Марселе или в Бордо, даже в Ажене, который с каждым годом посещает всё больше туристов. Но зачем открывать его в Ланскне-су-Танн? Да ещё в первые дни Великого поста, традиционной поры воздержания? Я расцениваю это как святотатство, возможно, преднамеренный вызов. Сегодня утром я рассмотрел витрину. На белой мраморной полке выложены рядами бесчисленные коробочки, пакетики, серебряные и золотые бумажные рожки, розетки, бубенчики, цветочки, сердечки, длинные спирали из разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах — шоколад, жареный миндаль в сахаре, «соски Венеры», трюфели, *mendiants*, засахаренные фрукты, гроздья лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки... Укрытые от солнца жалюзи в половину высоты витрины, они мерцают всеми оттенками тёмного, словно сокровища в морской пучине, драгоценности в пещере Аладдина. А в самом центре она возвела пышное сооружение — пряничный домик. Его сдобные стены облицованы слоем

шоколада, их увивают необычные глазированные и шоколадные лозы, лепнина отлита из серебряной и золотой глазури, крыша из вафельной черепицы усеяна засахаренными плодами, в шоколадных деревьях поют марципановые птицы... Там же колдунья собственной персоной — вся из чёрного шоколада от верхушки колпака до края длинной накидки — верхом на помеле, которым служит ей гигантский *guimauve*, длинный корявый стебель алтея, наподобие тех, что свисают с лотков торговцев душистыми растениями во время карнавала... Из окна своего дома я вижу её витрину — глаз, полуприкрытый в лукавом заговорщицком прищуре. Из-за этого магазина, торгующего соблазнами, Каролина Клэрмон нарушила Великий пост. Она сама призналась мне вчера на исповеди. Слушая её захлёбывающийся писклявый голосок, я не верил, что она готова искренне раскаться.

— О, *mon pere*, мне так стыдно! Но что я могла поделать? Эта очаровательная женщина так любезна. Я хочу сказать, я даже не *понимала*, что творю, спохватилась, когда уже было поздно. А ведь если кто и должен отказаться от шоколада... Мои бёдра за последние два года растолстели до безобразия, хоть ложись и *помирай*...

— Две молитвы Богородице. — Господи, что за женщина! Её полнящиеся обожанием глаза буквально пожирают меня через решётку.

— Конечно, *mon pere*, — разочарованно протягивает она, якобы обиженная моим резким тоном.

— И помните, почему мы соблюдаем Великий пост. Не для того, чтобы потешить собственное тщеславие или произвести впечатление на друзей. И не ради поддержания физической формы, чтобы щеголять летом в дорогих модных одеждах. — Я намеренно жесток. Она этого хочет.

— Да, вы правы, я *тщеславна*. — Она всхлипывает, уголком батистового платка промокает выкатившуюся слезинку. — Тщеславная, глупая женщина.

— Помните Господа нашего. Его жертву. Его скромность.

В нос мне бьёт запах её духов, какой-то цветочный аромат, слишком насыщенный для столь крошечного тёмного закутка. Может, она пытается ввести меня в искушение? Если это так, зря старается: меня не проймёшь.

— Четыре молитвы Богородице.

Во мне говорит отчаяние. Оно подтачивает душу, разъедает её клеточка за клеточкой, как летучая пыль и песок разрушают храм, годами оседая на его камнях. Оно подрывает во мне решимость, отравляет радость, убивает веру. Я хотел бы вести их через испытания, через тернии земного пути. Но с кем я имею дело? День ото дня передо мной проходит вялая

процессия лжецов, мошенников, чревоугодников, презренных людишек, занимающихся самообманом. Вся борьба добра со злом сведена к толстой женщине, изводящей себя жалкими сомнениями перед лавкой, где торгуют шоколадом: «Можно? Или нельзя?» Дьявол труслив; он не показывает своего лица. Он не имеет сущности, расплывён на миллионы частичек, коварными червоточинами проникающими в кровь и душу. Мы с тобой, *mon pere*, родились слишком поздно. Я предпочёл бы жить в суровом добродетельном мире поры Ветхого Завета. Тогда всё было просто и ясно. Сатана во плоти ходил среди нас. Мы принимали трудные решения, жертвовали нашими детьми во имя Господа. Мы любили Бога, но ещё больше боялись Его.

Не думай, будто я виню Вианн Роше. На самом деле ей вообще нет места в моих мыслях. Она — лишь одно из проявлений зла, против которых я должен бороться изо дня в день. Но как подумаю об этом магазине с нарядным навесом, призывающим к невоздержанию, отвращающим от веры... Встречая у церкви прихожан, я краем глаза ловлю движение за его витриной. *Попробуй меня. Отведай. Вкуси.* В минуты затишья между исполнением псалмов я слышу гудок фургона, останавливающегося перед шоколадной. Читая проповедь — проповедь, *mon pere!* — я замолкаю на полуслове, потому что слышу шуршание разворачиваемых фантиков...

Сегодня утром моя проповедь была более суровой, чем обычно, хотя народу пришло мало. Ничего, завтра я их накажу. Завтра, в воскресенье, когда все магазины закрыты.

Глава 6

15 февраля. Суббота

Занятия в школе сегодня закончились рано. К двенадцати часам дня улицу заполнили ковбои и индейцы в ярких куртках и джинсах, у каждого портфель либо ранец. Те, что постарше, украдкой дымят сигаретами. Проходя мимо моего магазина, и маленькие и большие бросают из-за поднятых воротников беспечно-любопытные взгляды на витрину. Моё внимание привлекает мальчик в сером пальто и берете. Он подтянут, собран; школьный ранец идеально ровно сидит на его детских плечиках. Он идёт один. У «Небесного миндаля» он замедляет шаг, разглядывая витрину, но свет от стекла отражается так, что мне не удаётся рассмотреть его лица. Рядом останавливаются четверо ребятишек возраста Анук, и он спешит удалиться. К витрине на несколько секунд прижимаются два носа, потом все четверо собираются в кучу и начинают выворачивать карманы, подсчитывая ресурсы. С минуту решают, кого послать в магазин. Я делаю вид, что занята за прилавком.

— Мадам? — На меня подозрительно таращится маленькое чумазое личико. Я узнала Волка с карнавального шествия.

— Полагаю, ты хотел бы купить карамель с арахисом, — говорю я серьёзно, ибо покупка конфет — серьёзное дело. — Хороший выбор. Легко разделить между друзьями, в карманах не тает, и стоит вот такой большой набор, — я показываю руками, — всего-то пять франков. Верно?

Вместо улыбки мальчик кивнул в ответ, как деловой человек деловому человеку. Его монетка тёплая и чуть липкая. Он осторожно берёт с прилавка пакетик и заявляет важно:

— Мне нравится ваш маленький пряничный домик. Тот, что в витрине. — Его трое друзей робко закивали от входа, где они стоят, прижимаясь друг к другу для храбрости. — Крутой домик. — Жаргонное словечко он произнёс смачно, с вызовом, будто пыхнул спрятанной в рукаве сигаретой.

— Очень крутой. — Я улыбнулась. — Если хочешь, приходи сюда со своими друзьями, когда я уберу дом с витрины. Поможете мне его съесть.

Он вытаращил глаза.

— Круто!

— Супер!

— А когда?

Я пожимаю плечами.

— Я скажу Анук, она вам передаст. Анук — моя дочь.

— Мы знаем. Мы её видели. Она не ходит в школу. — Последняя фраза произнесена с завистью.

— В понедельник пойдёт. Жаль только, что у неё здесь пока ещё нет друзей, поэтому к нам я разрешила ей пригласить ребят. Чтобы вместе со мной украшать витрину. — Зашаркали подошвы, липкие ладошки, отпихивая друг друга, потянулись вверх.

— Мы можем...

— Я могу...

— Я — Жанно...

— Клодин...

— Люси...

Я подарила каждому по сахарной мышке и отослала прочь. Они рассеялись по площади, словно пушинки одуванчика на ветру. Я смотрела им вслед. На их стремительно удаляющихся спинах плясали разноцветные лучики солнца — красно-оранжево-зелёно-голубые. Они скрылись из виду. Я заметила в тени арки на площади Св. Иеронима священника Фрэнсиса Рейно. Он наблюдал за детьми с любопытством и, как мне показалось, с осуждением во взоре. Я пришла в недоумение. Чем он недоволен? Он не заходил к нам с тех пор, как засвидетельствовал своё почтение в первый день нашего пребывания в городе, но я много слышала о нём от людей. Гийом говорил о нём с уважением, Нарсисс — с раздражением, Каролина — тем кокетливым тоном озорного лукавства, к которому, я подозреваю, она обычно прибегает, ведя речь о любом мужчине не старше пятидесяти лет. Они отзываются о нём без теплоты. Насколько я понимаю, он не местный, выпускник парижской семинарии. Весь его жизненный опыт основан только на книгах, он не знает местных обычаев, не знает нужд и потребностей людей. Это мнение Нарсисса, враждующего со священником с тех самых пор, как отказался посещать службы во время уборочной страды. Он не выносит человеческой глупости, говорит Гийом с насмешливым блеском в глазах, прячущихся за круглыми стёклами очков, то есть фактически весь род людской, поскольку у каждого из нас есть свои глупые привычки и пристрастия, от которых мы не в силах отказаться. Рассуждая, Гийом с любовью треплет Чарли по голове, и пёс, будто соглашаясь с ним, важно вторит ему коротким отрывистым лаем.

— Он осуждает меня за столь крепкую привязанность к собаке, — с

грустью жалуется Гийом. — Как человек тактичный, вслух он своего возмущения не выражает, но считает, что я веду себя *неподобающе*. В моём возрасте... — Гийом, пока не вышел на пенсию, занимал пост директора местной школы, где теперь работали всего два учителя, поскольку численность учащихся неуклонно сокращалась, однако многие жители старшего возраста до сих пор называли его *maitre d' ecole*. Глядя, как он ласково чешет у Чарли за ушами, я чувствовала, что его гложет печаль, затаённая скорбь. Я заметила это ещё во время карнавального шествия, будто он в чём-то винил себя.

— Человек в любом возрасте вправе выбирать друзей по своему усмотрению, — с жаром перебиваю его я. — Возможно, *monsieur le cure* не мешало бы и самому поучиться у Чарли. — Опять та же добрая грустная полуулыбка.

— *Monsieur le cure* старается, как может, — мягко говорит он. — Не надо требовать от него большего.

Я промолчала. Щедрые люди щедры во всём. Эту нехитрую истину быстро постигаешь, когда занимаешься моим ремеслом. Гийом покинул «Небесный миндаль» с небольшим пакетиком вафель в шоколаде в кармане. Перед тем как свернуть за угол, на улицу Вольных Граждан, он наклонился и угостил одной штучкой Чарли, потрепав его по шерсти. Пёс радостно залаял, завилял коротким куцым хвостом. Как я уже сказала, некоторые люди совершенно бездумны в своей щедрости.

Городок мне уже не кажется чужим. Его обитатели тоже. Я начинаю узнавать лица, имена; наматывается клубок первых незначительных событий с моим участием, которые постепенно связывают нас неразрывной нитью. Ланскне — более сложный организм, чем он первоначально представляется приезжему в силу своей незатейливой географии: от главной улицы расходятся, словно пальцы на руке, боковые ответвления — проспект Поэтов, улица Вольных Граждан, переулок Революционного Братства; очевидно, кто-то из устроителей города был ярым приверженцем Республики. Площадь Св. Иеронима, на которой поселилась я, — средоточие всех этих разбегающихся пальцев. Здесь гордо возвышается среди вытянутых лип белая церковь, здесь погожими вечерами старики, прямо на красных булыжниках, играют в шары. За площадью в низине лежит район с собирательным названием Марод^[1], — переплетение узких улочек, скопления глухих покосившихся деревянно-кирпичных домишек, пятящихся в сторону Танна по неровной мостовой. Это — трущобы Ланскне. Они подступают к самому болоту. Некоторые дома сооружены

прямо на реке, стоят на гниющих деревянных платформах. Десятки других теснятся вдоль каменной набережной; длинные щупальца сырого смрада тянутся от стоячей воды к их маленьким окошкам под самыми крышами. В городе вроде Ажена такой вот причудливый, по-деревенски неказистый, разлагающийся Марод стал бы местом паломничества туристов. Но в Ланскне нет туристов. Обитатели Марода — мусорщики, живущие на то, что им удаётся вытащить из реки. Здесь почти все дома бесхозные, заброшенные; из их оседающих стен торчат сучья старых деревьев.

В обед я на два часа закрыла свой магазинчик, и вместе с Анук мы отправились к реке. У самой воды барахтались в зелёной грязи двое тощих ребятишек. Здесь даже в феврале стояла сочная сладковатая вонь гнили и нечистот. День выдался холодный, но солнечный. Анук, в красном шерстяном пальто и шапке, носилась по камням, громко беседуя с Пантуфлем, скачущим за ней по пятам. Я уже настолько привыкла к Пантуфлю, — как, впрочем, и к другим сказочным бродяжкам, следующим за ней незримыми тенями, — что порой мне кажется, я почти воочию вижу его — странное существо с серыми усами и мудрыми глазами. В такие минуты мир неожиданно расцветает, словно претерпевая дивную метаморфозу, и я *превращаюсь* в Анук — смотрю на всё её глазами, хожу там, где ходит она. В такие минуты я чувствую, что могу умереть от любви к ней, моей маленькой скиталице. Моё сердце разбухает, едва не лопаюсь, и я, чтобы и впрямь не умереть от избытка чувств, тоже перехожу на быстрый бег. Мой красный плащ-накидка развевается за плечами, словно крылья, волосы струятся за спиной, как хвост кометы в клочковатом синем небе.

Дорогу мне перебегают чёрный кот. Я останавливаюсь и начинаю кружить вокруг него против часовой стрелки, напевно приговаривая:

— *Ou va-ti-i, mistigri?*

Passe sansfaire de mal id^[2].

Анук подпевает мне, кот с урчанием валится в пыль и переворачивается на спину, требуя, чтобы его погладили. Я наклоняюсь к нему и замечаю щуплую старушку, с любопытством наблюдающую за мной из-за угла дома. Чёрная юбка, чёрный плащ, заплетённые в косу седые волосы уложены на голове в аккуратный сложный узел, глаза внимательные и чёрные, как у птицы. Я киваю ей.

— Ты — хозяйка *chocolaterie*, — говорит она. Несмотря на возраст — по моей оценке, ей лет восемьдесят, если не больше — голос у неё звучный; в нём явственно слышатся резкие интонации, присущие уроженцам юга.

— Да, верно. — Я представилась.

— Арманда Вуазен, — назвалась старушка. — А вон мой дом. — Она кивком показала на один из домиков у реки — более опрятный, чем остальные, со свежей побелкой и алой геранью в ящичках за окнами. Потом улыбнулась, отчего её розовое, как у куклы, личико, собралось в миллионы морщинок, и сказала: — Я видела твой магазин. Симпатичный. Это ты молодец, постаралась. Только он не про нас, местных. Чересчур броский. — В её тоне не было неодобрения — только чуть ироничная обречённость. — Я слышала, наш *m'sieur le cure* уже ополчился против тебя, — язвительно добавила она. — Полагаю, он считает, что шоколадной *не подобает* стоять на его площади. — Она вновь бросила на меня подтрунивающий, насмешливый взгляд. — Ему известно, что ты ведьма?

Ведьма, ведьма. Это неверное определение, но я поняла, что она имеет в виду.

— Почему вы так решили?

— О, это же очевидно. Может, я и сама такая. — Она рассмеялась. Её смех прозвучал, как какофония взбесившихся скрипок. — *M'sieur le cure* не верит в чудеса, — сказала она. — По правде говоря, я подозреваю, что он и в Бога не верит. — Её голос полнится снисходительным презрением. — Хоть и имеет диплом богослова, а ему ещё учиться и учиться. И моей глупой дочери тоже. В институтах ведь *жизни* не учат, верно?

Я с ней согласилась и спросила, знаю ли я её дочь.

— Думаю, да. Каро Клэрмон. Безмозглая финтифлюшка, глупее не сыскать во всём Ланскне. Говорит, говорит, говорит, и хоть бы слово разумное сказала. — Увидев, что я улыбаюсь, она весело кивнула. — Не беспокойся, дорогая, меня в моём возрасте уже ничем не оскорбить. А она вся в отца. Великое утешение. — Старушка насмешливо посмотрела на меня. — Здесь мало чем можно поразвлечься. Особенно в старости. — Она помолчала, пристально глядя на меня. — Но, думаю, мы с тобой всё же немного позабавимся. — Её голова коснулась моей, и меня словно обдало свежим дыханием. Я пыталась уловить её мысли, пыталась понять, не издевается ли она надо мной, но ощущала лишь её доброту и весёлое настроение.

— Я просто торгую шоколадом, — с улыбкой сказала я.

Арманда Вуазен насмешливо фыркнула.

— Да ты, я вижу, и впрямь решила, будто я только вчера родилась.

— В самом деле, мадам Вуазен...

— Зови меня Армандой. — Чёрные глаза заискрились смехом. — Так я чувствую себя моложе.

— Хорошо. Только я и в самом деле не понимаю...

— Я знаю, каким ветром тебя занесло, — с хитрецей в голосе заявила она. — Сразу почувствовала. Ты пришла с карнавалом. В Мароде полно бродяг, путешествующих с карнавалом: цыгане, испанцы, бродячие ремесленники, выходцы из Алжира, прочий сброд. Когда-то я уже знала вас — тебя и твою малышку. Как теперь вы себя называете?

— Вианн Роше. — Я улыбнулась. — А это — Анук.

— Анук, — ласково повторила Арманда. — А твой серенький дружок — зрение у меня теперь не такое острое, как прежде, — кто он? Кот? Бельчонок?

Анук качнула кудрявой головкой и радостно, но не без снисхождения в голосе, доложила:

— Это кролик. И зовут его Пантуфль.

— Ах, кролик. Ну конечно же. — Арманда лукаво подмигнула мне. — Видишь, я знаю, каким ветром вас занесло. Я и сама пару раз ощущала на себе его дыхание. Может, я и стара, но одурачить меня никому не удастся. Никому.

Я кивнула:

— Может, вы и правы. Приходите как-нибудь в «Миндаль». Я знаю, кто какие лакомства любит. И вас угощу вашими любимыми. Получите большую коробку.

Арманда рассмеялась.

— О, шоколад мне нельзя. Каро и этот врач-недоумок запрещают. Как, впрочем, и всё остальное, что доставляет мне удовольствие, — иронично добавила она. — Сначала запретили курить, потом пить, теперь это... Бог знает, наверно, ещё надо бы перестать дышать, тогда, глядишь, буду жить вечно. — Она хохотнула, но как-то устало, и схватилась за грудь. Мне стало жутко: я почему-то сразу вспомнила Жозефину Мускат. — Я их не виню, — продолжала Арманда. — Они так живут. Пытаются защититься от всего. От жизни. От смерти.

Она улыбнулась, и выражением лица, несмотря на морщины, вдруг стала похожа на проказливого сорванца.

— Пожалуй, я зайду к тебе в любом случае, — сказала она. — Хотя бы для того, чтобы досадить кюре.

Она скрылась за углом своего белёного дома, а я задумалась над её последней фразой. Анук на некотором удалении швыряла камни на обнажившийся берег у самой кромки воды.

Кюре. Кажется, я только и слышу о нём. Я стала размышлять о Франсисе Рейно.

Так уж случается, что в маленьких городках вроде Ланскне тон всему обществу зачастую задаёт один человек — школьный учитель, владелец кафе или священник. Этот человек — сердцевина механизма, вращающего ход жизни. Как пружина в часах, приводящая в движение колёсики, которые крутят другие колёсики, заставляют стучать молоточки и перемещают стрелки. Если пружина соскочит или сломается, часы останавливаются. Ланскне — что сломанные часы: стрелки неизменно показывают без минуты полночь, колёсики и зубчики вхолостую вращаются за угодливым никчёмным циферблатом. Поставь на церковных часах неправильное время, если хочешь провести дьявола, говорила моя мама. Но в данном случае, я подозревала, дьявол не поддастся обману.

Ни на минуту.

Глава 7

16 февраля. Воскресенье

Моя мать была ведьмой. По крайней мере, она называла себя ведьмой, а частенько и искренне в это верила, так что в конце концов уже нельзя было определить, притворяется она или колдует по-настоящему. Арманда Вуазен чем-то напоминала её: блестящие коварные глаза, длинные волосы, некогда, должно быть, иссиня-чёрные с отливом, мечтательность вкупе с цинизмом. От матери я научилась всему, что сформировало меня как личность. Научилась искусству обращать поражение в успех, вытягивать вилкой пальцы, дабы отвратить беду, шить саше, варить зелье, верить в то, что встреча с пауком до полуночи приносит удачу, после — несчастье... Но главное, она передала мне свою любовь к перемене мест, цыганскую непоседливость, которая заставляла нас скитаться по всей Европе и за её пределами: год в Будапеште, следующий — в Праге, полгода в Риме, четыре года — в Афинах, затем через Альпы в Монако и вдоль побережья — Канны, Марсель, Барселона... К восемнадцати годам я потеряла счёт городам, в которых мы жили, и языкам, на которых говорили. На жизнь мы тоже зарабатывали по-всякому: нанимались официантками, переводчиками, ремонтировали машины. Иногда покидали дешёвые отели, в которых останавливались на одну ночь, через окно, не оплатив счёт. Ездили на поездах без билетов, подделывали разрешения на работу, нелегально пересекали границы. Нас депортировали бессчётное число раз. Мать дважды арестовывали, но отпускали без предъявления обвинения. И имена мы меняли, переиначивая их в соответствии с традициями того или иного региона, в котором ненадолго оседали: Янна, Жанна, Джоанн, Джованна, Анна, Аннушка... Гонимые ветром, мы, словно преступники, постоянно находились в бегах, переводя громоздкий жизненный багаж в франки, фунты, кроны, доллары...

Не думайте, будто я страдала; жизнь в те годы я воспринимала как чудесное приключение. Нам с матерью хорошо было вдвоём. Потребности в отце я никогда не испытывала. У меня было много друзей. И всё же, должно быть, эта неустроенность — вечные скитания, необходимость постоянно экономить — порой угнетала её. Тем не менее мы продолжали мерить дороги, год за годом только увеличивая темп, — задерживались в

одном месте на месяц, в крайнем случае на два, а потом вновь пускались в путь, словно изгнанники, гоняющиеся за последними лучами солнца. Не сразу, лишь по прошествии нескольких лет, поняла я, что убегали мы от смерти.

Ей было сорок. Она умирала от рака. Мне она призналась, что про болезнь знает давно, но в последнее время... Нет, в больницу она не ляжет. Никаких больниц, ясно? Ей осталось жить считанные годы, может, месяцы, а она ещё хочет посмотреть Америку: Нью-Йорк, флоридские Эверглейдс... Мы теперь почти каждый день проводили в дороге. Мать по ночам, думая, что я сплю, гадала на картах. В Лиссабоне мы сели на пароход — нанялись работницами на кухню. Освобождались в два-три часа ночи, поднимались с рассветом. И что ни ночь — карты. Засаленные от времени и почтительного прикосновения пальцев. Раскладывая колоду на койке перед собой, она тихо бубнила себе под нос обозначения выпадавших карт, день ото дня всё глубже погружаясь в пучину путаного бреда, в конечном итоге полностью завладевшего её сознанием. *Десятка пик, смерть. Тройка пик, смерть. Двойка пик, смерть. Колесница. Смерть.*

Колесницей оказалось нью-йоркское такси, сбившее её однажды летним вечером, когда мы закупали продукты на запруженных улочках китайского квартала. Но лучше уж погибнуть под колёсами, чем умирать мучительной смертью от рака.

Спустя девять месяцев родилась моя дочь. Я назвала её в честь себя и матери. Сочла, что для моего ребёнка это самое подходящее имя. Её отец даже не подозревал о её существовании, да я и сама точно не знаю, от кого зачала, поскольку на заре моей молодости у меня было много случайных любовников. Но это не имело значения. Можно было бы очистить яблоко и, бросив кожуру через плечо, выяснить инициалы отца моей дочери, но меня это никогда не интересовало. Лишний балласт только тормозил бы нас.

И всё же... Разве ветры не ослабли, не стали дуть реже, с тех пор как я покинула Нью-Йорк? Разве не испытываю я щемящую тоску, нечто вроде сожаления каждый раз, когда мы вновь срываемся с места? Пожалуй, испытываю. Двадцать пять лет скитаний, и вот наконец сидящая во мне пружина начала изнашиваться, я теряю былой энтузиазм, так же, как мать растеряла свой в последние годы жизни. Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на солнце и пытаюсь представить, каково мне было бы наблюдать восход над одним и тем же горизонтом на протяжении пяти — или десяти, двадцати — лет. При этой мысли я ощущаю странное головокружение, мной овладевают страх и тоска. А Анук, моя маленькая бродяжка? Теперь,

когда я сама мать, наша жизнь, полная рискованных приключений, видится мне в несколько ином свете. Я вспоминаю себя в детстве — смуглую девочку с длинными растрёпанными волосами, в обносках, приобретённых в магазинах для бедных, суровым опытным путём постигающую такие науки, как математика и география, — сколько хлеба дадут на два франка? Как далеко можно уехать на поезде, заплатив за билет пятьдесят марок? — и понимаю, что не хочу для неё такой судьбы. Может, поэтому последние пять лет мы не покидаем Франции. Впервые в жизни у меня появился счёт в банке. Появилось собственное дело.

Моя мать презрела бы меня за это. Но, наверно, и позавидовала бы. Отрешись от себя, если можешь, сказала бы она мне. Забудь, кто ты есть на самом деле. Не вспоминай, пока хватает сил. Но однажды, моя девочка, однажды ты всё-таки не выдержишь. Поверь мне.

Сегодня я открыла шоколадную в обычное время. Но только до обеда — вторую половину дня я проведу с Ануком, — утром в церкви служба, на площади будет народ. Вновь установилась присущая февралю грязная унылая погода: моросит холодный мелкий дождь, выкрасивший мостовые и небо в цвет старой оловянной посуды. Анука за прилавком читает книжку с детскими стишками, следя за дверью вместо меня, пока я готовлю на кухне партию *mendiants* — «нищих», названных так потому, что когда-то давно ими торговали на улицах бедняки и цыгане. Это моё любимое лакомство — кружочки из чёрного, молочного или белого шоколада, украшенные сверху тёртой лимонной цедрой, миндалём и пухлыми ягодами изюма сорта малага. Анука любит *mendiants* с белым основанием, а я предпочитаю чёрные, из шоколадной глазури, сваренной из лучшего порошка какао, в составе его семьдесят процентов... С привкусом приятной горечи неведомых жарких тропиков. Моя мать и на это выразила бы своё презрение. И всё же я творила волшебство.

За те два дня, что прошли с пятницы, я приобрела и поставила у прилавка высокие табуреты, и теперь интерьер «Миндаля» несколько напоминает атмосферу дешёвых кафе, в которые мы частенько наведывались в Нью-Йорке, — весёленький китч. Красные кожаные сиденья, хромированные ножи, яркие бледно-жёлтые стены, из одного угла весело подмигивает старое оранжевое кресло Пуату. Слева — меню. Анука сама написала и раскрасила его в оранжевые и красные цвета:

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД — 5 франков.

ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ — 10 франков (кусок).

Пирог я испекла вечером, горячий шоколад в котелке дожидается

первого посетителя на полочке в печи. Такое же меню я повесила в витрине, — чтобы его было видно с улицы. Я жду.

Служба в церкви началась и окончилась. Я смотрю на прихожан, угрюмо бредущих под холодным морозящим дождём. Дверь в шоколадную чуть приоткрыта, на улицу струится тёплый запах ароматной выпечки. Отдельные прохожие бросают тоскливые взгляды в сторону моего магазинчика, но тут же украдкой оглядываются на церковь, пожимают плечами, кривят губы — то ли принимая нелёгкое для себя решение, то ли просто в раздражении, и спешат мимо, сутуля на ветру понурые опущенные плечи, будто вход в шоколадную им преграждает ангел с огненным мечом.

Время, говорю я себе. На это нужно время.

И всё же нетерпение, почти что гнев раздирают меня. Что нашло на этих людей? Почему они не заходят? Часы бьют десять, одиннадцать. Я вижу, как люди исчезают в дверях булочной на противоположной стороне площади и спустя несколько минут вновь появляются на улице с батонами хлеба под мышками. Дождь прекратился, но небо по-прежнему серое. Половина двенадцатого. Последние несколько человек, задержавшиеся на площади, расходятся по домам готовить воскресный обед. Мальчик с собачкой огибает угол церкви, старательно уклоняясь от капель воды, стекающей с желобов. Он проходит мимо, едва удостоив взглядом витрину моего магазина.

Будь они все прокляты. А я ведь уже поверила, что начинаю приживаться здесь. Почему они не заходят? Ослепли, что ли? Или, может, носы у них заложило? Как ещё их привлечь?

Анук, всегда тонко чувствующая моё настроение, обнимает меня.

— Не плачь, *taman*.

Я не плачу. Я никогда не плачу. Её волосы щекочут моё лицо, и у меня неожиданно темнеет в глазах от страха, что однажды я вдруг могу потерять её.

— Ты не виновата. Мы ведь старались. Всё сделали как надо.

Совершенно верно. Мы предусмотрели всё. Вплоть до красных лент на двери и саше с ароматами кедра и лаванды, отвращающих зло. Я целую её в голову. На моём лице влага. Что-то — должно быть, горьковато-сладкие пары шоколада — жжёт мне глаза.

— Всё замечательно, *cherie*. Пусть живут как знают, нам нет до них дела. Давай лучше побалуем себя.

Мы налили себе по чашке шоколада и по примеру завсегдатаев нью-йоркских баров взгромоздились на табуреты у прилавка. Анук пьёт шоколад со взбитыми сливками и шоколадной стружкой, я — горячий,

чёрный, более крепкий, чем эспрессо. Из наших чашек поднимается ароматный дымок, мы в наслаждении закрываем глаза и видим, как они заходят — по двое, по трое, по десять человек сразу. Улыбаясь, они рассаживаются рядом с нами, выражение суровой бесстрастности стёрто с их лиц, они светятся гостеприимством и радостью. Я встрепенулась, разжала веки. Анук стоит у двери. На секунду мне почудилось, будто я вижу Пантуфля у неё на плече, он шевелит усами. Свет у неё за спиной словно смягчился, потеплел. Сияет соблазнительно, маняще.

Я соскочила с табурета.

— Не надо, прошу тебя.

Она загадочно смотрит на меня.

— Я лишь пытаюсь помочь...

— Прощу тебя.

С нестигаемым упрямством в чертах она выдержала мой взгляд. Мы обе во власти чар, окутывающих нас золотистой дымкой. Ведь это же так легко, проще простого, говорят её глаза, ласкающие, словно невидимые пальцы, увещающие, словно беззвучные голоса, зазывающие посетителей...

— Нельзя. Так не принято, — пытаюсь объяснить я ей. Мы нарушаем местные традиции. Ставим себя вне общества. Мы не должны выделяться, если хотим остаться здесь. Пантуфль — расплывчатый усатый силуэт на фоне золотистых теней — с немой мольбой взывает ко мне. Я зажмуриваюсь, чтобы заслониться от него, а когда вновь открываю глаза, он уже исчез.

— Ничего страшного не происходит, — твёрдо говорю я Анук. — У нас всё будет хорошо. Подождём ещё немного. Время у нас есть.

И наконец, в половине первого, наше терпение вознаграждено. Анук первая заметила посетителя — *Matan!* — но я уже на ногах. Это Рейно. Одна ладонь прикрывает голову от капель, падающих с навеса, вторая нерешительно берётся за дверную ручку. Его бледное лицо дышит спокойствием, однако в глазах что-то мерцает — тайное удовлетворение. Я догадываюсь, что он пришёл не за сладостями. Звякнул колокольчик. Он переступил порог, но к прилавку не идёт. Остался стоять в дверях. Под порывами ветра полы его сутаны влетели в магазин, словно крылья чёрной птицы.

— Месье? — Он с подозрением смотрит на красные ленты. — Чем могу служить? Поверьте, я знаю, что вам нужно. — Добродушно-шутливым тоном я автоматически бросаю стандартные фразы, с которых обычно начинаю разговор с покупателями, но на этот раз я лгу. Мне

неведомы вкусы этого человека. Он для меня — загадка, тёмная человекообразная брешь в воздухе. Я не нахожу точек соприкосновения с ним, моя улыбка разбивается об него, как волна о камень. Он смерил меня презрительным взглядом.

— Сомневаюсь. — Говорит он тихо, вкрадчиво, как и подобает священнику, но в его голосе я слышу неприязнь. Мне сразу вспомнились слова Арманды Вуазен: «Я слышала, наш *m'sieur le cure* уже ополчился против тебя». Интересно, почему? Инстинктивное недоверие к безбожникам? Или, может, что-то ещё? Тайком под прилавком я вытянула вилкой пальцы, защищаясь от него.

— Вообще-то я не ожидал, что вы будете работать сегодня. — Теперь, когда он думает, что разгадал нас, он увереннее в себе. Его чуть вытянутые в улыбке плотно сомкнутые губы — молочной белизны по краям, тонкие, как бритва, — напоминают мне устрицу.

— Вы имеете в виду — в воскресенье? — уточняю я, изображая невинное простодушие. — Я надеялась перехватить ваших прихожан, когда они толпой повалят из церкви.

Он не отреагировал на мою маленькую колкость.

— В первое воскресенье Великого поста? — Он удивлён, но за его удивлением кроется презрение. — Я бы на это не рассчитывал. Обитатели Ланскне — простые люди, мадам Роше. *Благочестивые*, — мягко, учтиво подчёркивает он.

— Я — *мадемуазель* Роше. — Крошечная победа, но этого достаточно, чтобы сбить с него спесь. Его взгляд метнулся к Анук. Она всё ещё сидит за прилавком с высоким бокалом шоколада в одной руке, рот испачкан шоколадной пеной. Будто ужаленная крапивой, я вдруг опять испытала безрассудный ужас, запаниковала в страхе от того, что могу потерять её. Но кто посмеет отнять у меня дочь? С нарастающим гневом в душе я отмахнулась от пугающей мысли. Может, *этот*? Пусть только попробует.

— Разумеется. — Он невозмутим. — Прошу прощения, мадемуазель Роше.

Я мило улыбнулась, догадываясь, что ещё ниже пала в его глазах, но продолжала из противоречия пестовать его негодование. Чтобы скрыть страх, говорю на тон выше, с вульгарными нотками в голосе.

— Вы даже не представляете, как я рада, что встретила в этом сельском краю понимающего человека. — Я одарила его ослепительной чарующей улыбкой. — Видите ли, в большом городе, где мы жили, до нас никому не было дела. Но здесь... — Вид у меня удручённый, но ничуть не виноватый. — Такой чудесный городок, и люди такие услужливые, такие

самобытные... Но ведь это не Париж, верно?

Рейно соглашается — с едва уловимой насмешкой в голосе.

— На мой взгляд, *абсолютно* справедливо мнение, сложившееся в отношении маленьких городков, — продолжаю я. — Здесь *каждому* есть до тебя дело. Полагаю, это от недостатка развлечений, — с любезной улыбкой объясняю я. — Всего-то три магазинчика и церковь. Я хочу сказать... — Я рассмеялась. — Впрочем, что я вам рассказываю? Вы лучше меня всё знаете.

Рейно кивнул с серьёзным видом.

— В таком случае, объясните мне, пожалуйста, мадемуазель...

— О, зовите меня Вианн, — вставляю я.

— ...почему вы решили перебраться в Ланскне? — Его елейный тон пронизан неприязнью, тонкие губы ещё больше напоминают закрытую устрицу. — Как вы верно заметили, это не Париж. — Он взглядом даёт мне понять, что Ланскне во всех отношениях, безусловно, достойнее столицы. — Вам не кажется, что такой стильный, — изящной рукой он с вялым безразличием махнул перед собой, показывая на интерьер шоколадной, — специализированный магазинчик пользовался бы большим успехом — смотрелся бы более *подобающе* — в большом городе? Уверен, в Тулузе и даже в Ажене... — Теперь я понимаю, почему никто из жителей не осмелился зайти к нам сегодня. Слово «подобающе» обдаёт ледяным холодом, как проклятие пророка.

Я опять под прилавком выкинула вилкой пальцы в его сторону — с яростью. Рейно, будто ужаленный, шлёпнул себя по шее.

— По-вашему, удовольствия — это привилегия больших городов? — вспыхнула я. — Любому необходимо иногда расслабиться, побаловать себя роскошью.

Рейно промолчал. Очевидно, он не согласен со мной. Я ему так прямо это и заявила.

— Полагаю, сегодня утром в церкви вы проповедовали строго противоположные принципы? — Не дождавшись от него ответа, я добавила: — И всё же я убеждена, в этом городе хватит места для нас обоих. У нас свобода предпринимательства, не так ли? — По его лицу вижу: он понял, что я бросила ему вызов. С минуту я смотрю ему в глаза — с наглой, злобной улыбкой. Рейно отшатнулся, будто я плюнула ему в лицо.

Произнёс тихо:

— Разумеется.

О, подобный тип людей мне хорошо знаком. Мы с мамой вдоволь насмотрелись на них за годы скитаний по Европе. Те же любезные улыбки,

презрение, равнодушие. Мелкая монета, выпавшая из пухлой руки женщины у стен переполненного Реймского собора; группа молодых монахинь, с осуждением взирающих на маленькую Вианн с голыми коленками на пыльном полу, бросившуюся подбирать её. Мужчина в чёрном одеянии, в чём-то гневно, горячо убеждающий мою мать; она выскочила из церкви бледная, как полотно, до боли сжимая мою руку... Позже я узнала, что она пыталась ему исповедаться. Что подвигло её на этот шаг? Возможно, одиночество; потребность высказаться, довериться кому-нибудь, но не любовнику. Человеку, располагающему к откровенности. Но неужели она *слепая*! Его лицо, теперь уже отнюдь не располагавшее к откровенности, сплошная гримаса гнева и негодования. Это грех, смертный грех... Ей следует оставить ребёнка на попечение добрых людей. Если она любит свою маленькую — как её зовут? Анна? — если она любит её, она должна — *обязана* — пойти на эту жертву. Он знает монастырь, где о ней могут позаботиться. Он знает... он схватил её за руку, сдавил пальцы. Разве она не любит своё дитя? Разве не мечтает о спасении? Неужели не любит? Неужели она не желает спасения?

В ту ночь мать плакала, укачивая меня на руках. А утром мы покинули Реймс, тайком, озираясь по сторонам, — хуже, чем воры. Мать крепко прижимала меня к себе, словно украденное сокровище, а у самой глаза воспалённые, взгляд как у загнанного зверя.

Я поняла, что он почти уговорил её отказаться от меня. После она часто спрашивала, счастлива ли я с ней, не страдаю ли от отсутствия друзей, собственного дома... Да нет, нет, раз за разом отвечала я, целуя и убеждая её, что я не жалею ни о чём, *ни о чём*, однако ядовитое семя уже пустило корни. Многие годы бежали мы от священника, от Чёрного человека, и, когда его лицо неожиданно всплывало в картах, — а это бывало время от времени, — мы вновь пускались в бега, пытаюсь укрыться от чёрной бездны, которую он разверз в её сердце.

И вот он здесь опять, когда я уже думала, что мы наконец-то нашли своё место под солнцем. Стоит в дверях, словно ангел у ворот.

Что ж, на этот раз, поклялась я себе, я не убегу. Что бы он ни делал. Как бы ни настраивал против меня людей. Лицо его, словно рубашка карты, предвещающей зло, — бесстрастное, категоричное. Ясно, что мы объявили друг другу войну, хоть вслух это и не было высказано.

— Я так рада, что мы нашли общий язык, — говорю я звонко и холодно.

— Я тоже.

В его глазах мерцает огонёк, которого я раньше не замечала. Я

настораживаюсь. Вон оно что. Он доволен, радуется, что мы столкнулись с ним лбами. Уверен, что он застрахован от поражения, ни на секунду не допускает, что может вдруг проиграть.

Он поворачивается, собираясь уйти. Спину держит прямо, едва заметно кивает на прощанье. Ни единого лишнего жеста. Вежливое презрение. Коллючее ядовитое оружие праведника.

— *M'sieur le cure!* — Он на секунду оборачивается, и я вкладываю ему в ладони украшенный лентами пакетик. — Это вам. За счёт заведения. — Улыбкой даю понять, что не потерплю отказа. Он смущённо принимает подарок. — Очень вам признательна.

Он чуть нахмурился, словно досадуя на то, что доставил мне удовольствие.

— Право, я не любитель...

— Чепуха, — живо перебиваю я безапелляционным тоном. — Эти вам понравятся, я просто уверена. Они напоминают мне вас. — Думаю, он мысленно вздрогнул, хотя внешне это никак не отразилось. Потом, с белым пакетиком в руке, вышел под унылые струи дождя. Я смотрела ему вслед. Он не побежал в укрытие. Зашагал под дождём свойственной ему размеренной поступью, не бесстрастно, а всем видом показывая, что это небольшое неудобство даже доставляет ему удовольствие.

Мне хочется думать, что он съест конфеты, хотя, скорее всего, он кому-нибудь отдаст мой подарок. И всё же я надеюсь, он заглянет в пакетик... Из любопытства.

Они напоминают мне вас.

Дюжина моих фирменных. Маленькие конфеты в форме закрытых устриц с начинкой пралине.

Глава 8

18 февраля. Вторник

Вчера было пятнадцать покупателей. Сегодня — тридцать четыре. В том числе Гийом. Он купил кулёк вафель в шоколаде и чашку жидкого шоколада. Чарли, как всегда, с ним, лежит покорно под табуретом, свернувшись клубочком. Гийом время от времени наклоняется и вкладывает в его ненасытную, жаждущую угощения пасть кусочек коричневого сахара.

Нужно время, говорит мне Гийом, чтобы Ланскне принял приезжего человека. В минувшее воскресенье, рассказывает он, кюре Рейно произнёс суровейшую проповедь о воздержании, и потому многие, увидев в то утро, что «Небесный миндаль» открылся как ни в чём не бывало, сочли это прямым оскорблением в адрес церкви. Особенно громко негодовала Каролина Клэрмон, в очередной раз севшая на диету. «Это так же возмутительно, мои дорогие, — во всеуслышанье верещала она, обращаясь к своим приятельницам в церкви, — как и римские оргии времён заката империи, а эта женщина бог весть что о себе возомнила, явилась в город пританцовывая, словно царица Савская, да ещё так бесстыдно щеголяет своим незаконнорожденным ребёнком, будто... О, шоколад? Ничего особенного, мои дорогие, и вовсе не стоит тех денег...» В результате дамы заключили, что «это» — интересно, что они имели в виду? — не продлится долго и через две недели меня уже не будет в городе. Но число моих покупателей по сравнению с минувшим днём удвоилось. Среди них — несколько закадычных подружек мадам Клэрмон. Немного сконфуженные, с жадным блеском в глазах, они твердят друг другу, что им просто стало любопытно, только и всего, просто захотелось увидеть всё своими глазами.

Я знаю все их любимые лакомства. Определяю их так же верно, как гадалка по линиям ладони предсказывает судьбу. Это моя маленькая хитрость, профессиональная тайна. Мать посмеялась бы надо мной, сказала бы, что я впустую растрачиваю свой талант. Но у меня нет желания выяснять их подноготную. Мне не нужны их секреты и сокровенные мысли. Не нужны их страхи и благодарность. Скучный алхимик, отозвалась бы обо мне мать со снисходительным презрением. Показывает никчёмные фокусы, когда могла бы творить чудеса. Но мне нравятся эти

люди. Нравятся их мелкие заботы и переживания. Я с лёгкостью читаю по их глазам и губам: этой, с затаённой горечью в чертах, придутся по вкусу мои пикантные апельсиновые трубочки; вон той, с милой улыбкой, — абрикосовые сердечки с мягкой начинкой; девушка с взлохмаченными волосами оценит по достоинству *mendiants*; а эта бодрая весёлая женщина — бразильский орех в шоколаде. Для Гийома — вафли в шоколаде; он их аккуратно съест над блюдцем в своём опрятном холостяцком доме. Нарсисс любит трюфели с двойным содержанием шоколада, а это значит, что за его суровой внешностью кроется доброе сердце. Каролина Клэрмон сегодня вечером будет грезить о жжёном ирисе и утром проснётся голодной и раздражённой. Адети... Шоколадные шишечки, крендельки, пряники с золочёной окантовкой, марципаны в гнёздышках из гофрированной бумаги, арахисовые леденцы, шоколадные гроздья, сухое печенье, наборы бесформенных вкусностей в коробочках на полкилограмма... Я продаю мечты, маленькие удовольствия, сладкие безвредные соблазны, низвергающие сонм святых в ворох орешков и нуги...

Разве это так уж плохо? Кюре Рейно, во всяком случае, не одобряет.

— Держи, Чарли. Ешь, старина. — Голос Гийома неизменно теплеет, когда он обращается к своему питомцу, и всегда пронизан печалью. Пса он купил сразу же после смерти отца, сообщил он мне. Восемнадцать лет назад. Однако собачий век короче людского, и они состарились одновременно.

— Это здесь. — Он показывает мне опухоль под челюстью Чарли. Она размером с куриное яйцо, торчит, как нарост на дереве. — Всё время растёт. — Он помолчал, почёсывая пса по животу. Тот с наслаждением потягивается, дрыгая лапой. — Ветеринар говорит, ничего сделать нельзя.

Теперь мне ясно, почему полнящийся любовью взгляд Гийома омрачён сознанием вины.

— Ведь *старого человека* не усыпляют? — с жаром доказывает он. — Нет, пока в нём... — он подыскивает нужные слова, — не угасло стремление к жизни. Чарли не страдает. Вовсе нет. — Я киваю, понимая, что он лишь пытается убедить самого себя. — Лекарства убивают боль.

Пока, — беззвучным эхом звенит произнесённое слово.

— Я пойму, когда настанет час. — В его добрых глазах отражается ужас. — И буду знать, как поступить. Я не испугаюсь.

Я молча наливаю для него бокал шоколада и посыпаю пену шоколадной пудрой, но Гийом, занятый своим питомцем, не видит этого. Чарли переворачивается на спину, лениво вертит головой.

— *M'sieur le cure* говорит, что у животных нет души, — тихо молвит

Гийом. — Говорит, я должен избавить Чарли от мучений.

— Душа есть у каждого существа и у каждой вещи, — возражаю я. — Так утверждала моя мать. У всего, что существует.

Гийом кивает, замкнувшись в кругу собственного страха и вины.

— Как я буду без него жить? — спрашивает он. Его взгляд по-прежнему обращён к собаке, и я понимаю, что он забыл о моём присутствии. — Что я буду делать без тебя? — Я за прилавком сжимаю кулак в немой ярости. Мне знакомо это выражение — страх, угрызения совести, неутолимая жажда, — хорошо знакомо. Такое же выражение я видела на лице матери в ночь после встречи с Чёрным человеком. И слова, произнесённые Гийомом, — «Что я буду делать без тебя?» — я тоже слышала. Их шептала мне мать на протяжении всей той ужасной ночи. Глядя на себя в зеркало перед сном, утром, когда просыпаюсь, я испытываю нарастающий страх — уверенность, — сознаю, что моя собственная дочь ускользает от меня, что я теряю её, потеряю *навверняка*, если не найду заветного Прибежища... и вижу на своём лице это же ненавистное выражение. Я обняла Гийома. Непривычный к женскому прикосновению, он на секунду застыл в напряжении. Потом начал расслабляться. Я чувствую, как из него волнами выплёскивается жгучая боль неминуемой утраты.

— Вианн, — тихо произносит он. — Вианн.

— Это совершенно естественное чувство, — твёрдо говорю я ему. — И понятное.

Чарли из-под табурета лаем выражает своё возмущение.

Сегодня мы выручили почти триста франков. Впервые смогли оправдать затраты. Я с радостью сообщила об этом Анук, когда она вернулась из школы. Однако дочь отвечала мне рассеянным взглядом. Её всегда оживлённое личико необычайно серьёзно, глаза — тёмные, мрачные, как небо перед грозой.

Я спросила у неё, почему она расстроена.

— Из-за Жанно. — Голос у неё бесцветный. — Его мама запретила ему играть со мной.

Я вспомнила Жанно в костюме Волка на карнавальном шествии. Тотский семилетний мальчик с косматой головой и подозрительным взглядом. Вчера вечером он играл с Анук на площади. Они с воинственными криками гонялись друг за другом, пока не стемнело. Его мать, Жолин Дру, одна из двух учительниц начальной школы, дружит с Каролиной Клэрмон.

— Вот как? И что же она говорит? — сдержанно любопытствовала я.

— Что я оказываю дурное влияние. — Она глянула на меня исподлобья. — Потому что мы не ходим в церковь. Потому что ты открыла магазин в воскресенье.

Ты открыла.

Я смотрю на дочь. Мне хочется обнять её, но меня настораживает её неприступный враждебный вид.

— А сам Жанно что думает? — как можно спокойнее спрашиваю я.

— А что ему остаётся? Она всегда рядом. Наблюдает. — Анук повышает голос до крика, и я догадываюсь, что она вот-вот расплчется. — Почему с нами так всегда? — требовательно вопрошает она. — Почему я никогда... — Не выдерживая внутреннего напряжения, она умолкает; её худенькая грудь сотрясается.

— У тебя есть другие друзья. — Я не преувеличиваю: вчера вечером я видела с ней человек пять детворы; площадь звенела от их визга и смеха.

— Это друзья Жанно. — Я понимаю, что она имеет в виду. Луи Клэрмон. Лиз Пуату. Они — его друзья. Без Жанно компания скоро распадётся. Мне вдруг стало невыносимо горько за дочь, выдумывающую невидимых друзей, чтобы заполнить пространство вокруг себя. Только мать-эгоистка может вообразить, будто она одна способна заполнить это пространство. Эгоистка и слепая.

— Мы могли бы посещать церковь, если ты хочешь, — говорю я ласково. — Но ты же знаешь: это ничего не изменит.

— Почему же? — Тон у неё осуждающий. — Они ведь не верят. Им плевать на Бога. Они просто ходят в церковь. — Я улыбнулась, не без горечи. Ей ещё только шесть, но порой она поражает меня глубиной своей проницательности.

— Может, это и так, — отвечаю я, — но разве ты хочешь быть как они?

Она пожимает плечами — циничное равнодушное телодвижение. Переминается с ноги на ногу, словно боится, что я начну читать лекцию. Я ищу подходящие слова, чтобы объяснить ей, а в мыслях — только образ матери с обезумевшим лицом: она укачивает меня, нащёптывая почти с яростью: «Что я буду делать без тебя? Что буду делать?»

Вообще-то я давно уже объяснила всё дочери — втолковала и про лицемерие церкви, и про охоту на ведьм, про преследование бродяг и людей иной веры. Она понимает. Только вот усвоенные понятия плохо переносятся в каждодневную жизнь, не примиряют с одиночеством, с

утратой друга.

— Это несправедливо. — В её голосе всё ещё слышны бунтарские нотки; она уже настроена менее враждебно, но по-прежнему агрессивна.

Равно как и разграбление Святой земли, сожжение Жанны д'Арк, испанская инквизиция. Но я не напоминаю ей об этом. Её лицо напряжено, в чертах застыла терзающая боль. Стоит мне выказать слабину, и она отвернётся от меня.

— Найдёшь других друзей. — Неубедительный, неутешительный ответ. Анук взглянула на меня с презрением.

— А мне нужен этот. — Это произнесено пугающе взрослым, пугающе усталым тоном. Она отводит взгляд. Её веки набухли слезами, но она не кидается ко мне за утешением. Неожиданно я с ужасающей ясностью вижу её, ребёнка, подростка, взрослой, совершенно незнакомой мне, какой она однажды станет, и едва не плачу от растерянности и страха. Словно мы с ней поменялись местами: она — взрослая, я — ребёнок...

Не уходи, пожалуйста! Что я буду делать без тебя?

Но я отпускаю её без единого слова, как ни велико во мне желание привлечь её к себе: я слишком остро сознаю, что она отгородилась от меня стеной отчуждения. Люди рождаются дикарями. Самое большее, на что я могу надеяться, — это немного ласки и видимость послушания. Потому что в существе своём моя дочь, как и все дети, маленький варвар с первобытными инстинктами — необузданная, неприрученная, непредсказуемая.

Весь вечер она хранила молчание. Когда я стала укладывать её спать, она отказалась от сказки, но заснула лишь спустя несколько часов после того, как я погасила свет в своей спальне. Лёжа в темноте, я слышала, как она меряет шагами комнату, время от времени раздражаясь яростными отрывистыми тирадами, обращёнными то ли к самой себе, то ли к Пантуфлю. Слов я не могла разобрать: она говорила слишком тихо. Позже, когда я была уверена, что она спит, я на цыпочках пробралась в её комнату, чтобы выключить свет. Свернувшись клубочком, она лежала на краю кровати, выкинув в сторону руку и так трогательно вывернув голову под неестественным углом, что у меня от жалости защемило сердце. В одной ладони она сжимала маленькую пластилиновую фигурку. Расправляя простыни, я забрала у дочери эту фигурку, намереваясь положить её в коробку для игрушек. Она ещё хранила тепло детской ручки и источала характерный запах начальной школы, нашёптанных секретов, типографской краски и полузабытых друзей.

Липкая шестидюймовая фигурка, старательно вылепленная детскими

пальчиками. Глаза и рот процарапаны булавкой, вокруг пояса — красная нитка и что-то — палки либо сухая трава — воткнуто в голову, обозначая косматые каштановые волосы... На туловище пластилинового мальчика выцарапаны буквы: прямо над сердцем — аккуратная заглавная «Ж», чуть ниже, почти залезая на неё, — «А».

Я осторожно положила фигурку на подушку рядом с головкой дочери и вышла, потушив в её спальне свет. Незадолго до рассвета она забралась ко мне в постель, как она это часто делала, когда была ещё совсем малышкой, и я сквозь дремоту услышала её шёпот: «Не сердись, *tatan*. Я никогда тебя не оставлю». От неё пахло солью и детским мылом. В темноте она крепко сжимала меня в своих тёплых объятиях. Счастливая, я укачивала её, укачивала себя, обнимала нас обоих, испытывая почти боль от невероятного облегчения.

— Я люблю тебя, *tatan*. И всегда буду любить. Не плачь.

Я не плакала. Я никогда не плачу.

Весь остаток ночи меня преследовали тяжёлые видения. Я плохо спала и пробудилась на рассвете, ощущая на своём лице руку Анук, а на душе — отвратительное паническое желание схватить дочь в охапку и вновь пуститься в бег. Как нам здесь жить? Какие же мы глупцы, что решили, будто он не настигнет нас даже в этом городе? У Чёрного человека множество лиц, и все они неумолимые, суровые и необычайно завистливые. *Беги, Вианн. Беги, Анук. Забудьте про свою маленькую сладостную мечту и бегите.*

Но нет, на этот раз мы не убежим. Мы и так уже слишком отдалились от самих себя. Анук и я. Мама и я. Слишком далеко.

На этот раз я не отступлюсь от своей мечты.

Глава 9

19 февраля. Среда

Сегодня у нас выходной. Школа закрыта, и пока Анук играет возле Марода, я намерена получить заказанный товар и приготовить партию лакомств на текущую неделю.

Стряпнёй я занимаюсь с удовольствием. Кулинарное искусство сродни волшебству. Я словно ворожу, выбирая ингредиенты, смешивая их, измельчая, заваривая, настаивая, приправляя специями по рецептам из древних кулинарных книг. Традиционные предметы утвари — ступа и пест, которые мать использовала для приготовления благовоний, — теперь служат более обыденным целям, впитавшиеся в них ароматы её излюбленных пряностей и душистых веществ освящают своими изысканными запахами более низменные, плотские чудеса. Мимолётность — вот что отчасти привлекает меня в них. Столько труда, любви, искусного мастерства вкладывается в создание удовольствия, которое длится всего-то мгновение и которое лишь единицы способны оценить по-настоящему. Моя мать всегда относилась к этому моему увлечению со снисходительным презрением. Она не умела наслаждаться едой, воспринимала её как утомительную необходимость, которую нужно добывать, как дополнительную плату за свободу. Я краля меню из ресторанов и с тоской смотрела на витрины кондитерских, а настоящий шоколад впервые попробовала, когда, наверно, мне было лет десять, может, больше. Мой интерес к кулинарии не угасал. Рецепты я помнила наизусть, хранила их в голове, как дорожные маршруты. Рецепты самых разных блюд — выданные из брошенных журналов на переполненных железнодорожных вокзалах, выведенные у случайных попутчиков, необычные произведения моего собственного сочинения. Мать ворожкой и гаданием на картах прокладывала маршрут нашей безрассудной гонки по Европе. Я же ориентировалась по вкусовым ощущениям — характерным вехам унылых границ. Париж полнился ароматами свежего хлеба и рогаликов, Марсель — запахами буйабесса и жареного чеснока. Берлин мне запомнился ледяной кашей с квашеной капустой и картофельным салатом, Рим — бесплатным мороженым, которое я съела в крошечном ресторанчике у реки. Мать, пребывавшая в состоянии вечной спешки, не замечала особенностей, все

города, края для неё были одинаковыми, — она жила своими собственными символами. Уже тогда мы по-разному смотрели на жизнь. Разумеется, она научила меня всему, что умела сама. Как проникать в суть вещей, разбираться в людях, читать их мысли и сокровенные желания. Водитель, согласившийся подвезти нас, а потом отклонившийся на десять километров в сторону от своего маршрута, чтобы доставить нас в Лион; торговцы, отказывавшиеся брать с нас плату; полицейский, не обративший на нас внимания. Конечно, нам везло не всегда. Порой удача отворачивалась от нас по непонятным причинам. Некоторых людей невозможно понять, до них не достучаться. Как, например, до Фрэнсиса Рейно. Правда, мне всегда становилось немного не по себе, когда нам удавалось сыграть на струнах человеческой души. Слишком уж легко это получалось. А вот шоколад — другое дело. Безусловно, чтобы приготовить его, необходимы определённые навыки. Лёгкая рука, сноровка, терпение, которым никогда не обладала моя мать. Но процесс остаётся неизменным. Это надёжное дело. Мне не приходится заглядывать в людские сердца, чтобы получить то, что я хочу. Я просто исполняю чужие желания, делаю то, что меня просят.

Ги, мой кондитер, знает меня с давних времён. Мы работали вместе, когда родилась Анук, и он же помог мне организовать моё первое предприятие — маленькую кондитерскую на окраине Ниццы. Теперь он живёт в Марселе — импортирует натуральное тёртое какао напрямую из Южной Америки и на своей фабрике перерабатывает его в различные сорта шоколада.

Я использую сырьё самого высокого качества — брикеты шоколадной глазури размером чуть больше обычного кирпича всех трёх видов: чёрной, молочной и белой. С одной доставкой я получаю по ящику каждого из этих видов. Шоколад следует довести до кристаллического состояния. Некоторые кондитеры покупают не брикеты, а шоколадную массу, но я люблю готовить смесь своими руками. Возня с необработанными тусклыми блоками шоколадной глазури доставляет мне беспредельное наслаждение. Мне нравится дробить их вручную — я никогда не пользуюсь электрическими миксерами, — ссыпая измельчённую массу в большие керамические чаны, потом плавить её, помешивая и старательно измеряя температуру специальным термометром по завершении очередной фазы трудоёмкой работы, пока не становится ясно, что смесь получила достаточно тепла.

Есть нечто магическое в процессе преобразования шоколадного сырья в лакомое «золото дураков», волнующее воображение обывателя. Возможно, даже моя мать оценила бы мой труд. Работая, я дышу полной

грудью и ни о чём не думаю. Окна распахнуты настежь, гуляют сквозняки. На кухне было бы холодно, если бы не жар, поднимающийся от печей и медных чанов, если бы не горячие пары тающей шоколадной глазури. В нос бьёт одуряющая, пьянящая смесь запахов шоколада, ванили, раскалённых котлов и корицы — терпкий грубоватый дух Америки, острый смолистый аромат тропических лесов. Вот так я теперь путешествую. Как ацтеки в своих священных ритуалах. Мексика, Венесуэла, Колумбия. Двор Монтесумы. Кортес и Колумб. Пища богов, пузырящаяся и пенящаяся в ритуальных чашах. Горький эликсир жизни.

Возможно, именно это чувствует Рейно в моём магазинчике — дух далёких времён, когда мир был обителью варваров, дикарей. Какао-бобам поклонялись ещё до пришествия Христа — до того, как родился в Вифлееме Адонис и принесён был в жертву на Пасху Осирис. Им приписывались магические свойства. Напиток из них потягивали на ступеньках жертвенных храмов; они даровали исступлённое блаженство, повергали в неистовый экстаз. Так вот чего он боится! Растления через удовольствие, незаметного пресуществления плоти в сосуд разгула. Оргии ацтекского жречества не для него. И всё же в парах тающего шоколада начинает что-то проступать — некое видение, как сказала бы моя мать, — дымчатый палец постижения, указующий... указующий...

Есть! На секунду я почти ухватила его. Гладкая дымящаяся поверхность зарябила, образуя какой-то узор. Потом ещё один — неясный, тонкий, как паутинка, проявившийся лишь частично... На мгновение я почти увидела ответ, тайну, которую он скрывает — даже от себя — тщательно, с пугающей расчётливостью, ключ, который даст ход всем нам, запустит в движение весь механизм.

Гадать на шоколаде трудно. Видения расплываются, клубятся в туманящих мозг парах. И я — не моя мать, до самой смерти сохранявшая столь могучий дар прорицания, что мы с ней в панике бежали, словно безумные, ещё до того, как её предчувствия обретали законченную форму. И всё же, прежде чем видение рассеялось, мне кажется, я успела кое-что рассмотреть — комнату, кровать, лежащего на ней старика с воспалёнными запавшими глазами на белом лице... И огонь. Огонь.

Это то, что я должна была увидеть?

Это и есть тайна Чёрного человека?

Я должна знать его секрет, если мы хотим здесь остаться. А я намерена остаться. Чего бы мне это ни стоило.

Глава 10

19 февраля. Среда

Неделя, *mon pere*. Только и всего. Прошла одна неделя. А кажется, гораздо больше. И сам не понимаю, почему она так тревожит мой покой, ведь мне абсолютно ясно, что это за женщина. Я заходил к ней на днях, пытался убедить, что не стоит открывать магазин в воскресное утро. Бывшая пекарня преобразилась, воздух насыщен необычайными ароматами имбиря и специй. Я старался не смотреть на полки со сладостями — коробочки, ленточки, бантики пастельных тонов, золотисто-серебристые горки засахаренного миндаля, сахарные фиалки, шоколадные лепестки роз. Здесь всё напоминает будуар — интимная атмосфера, запах роз и ванили. Точно так выглядела комната моей матери — сплошь креп и кисея, хрусталь, мерцающий в приглушённом свете, ряды флакончиков и склянок на туалетном столике — сонм джиннов, ожидающих избавления из плена. Есть что-то нездоровое в таком обильном средоточии изысканности. Обещание, отчасти исполненное запретного наслаждения.

Она вежливо поприветствовала меня. Теперь я разглядел её поподробнее. Длинные чёрные волосы собраны в узел, глаза невероятно тёмные, как будто без зрачков. Идеально прямые брови придают её облику суровость, смягчённую ироничным изгибом губ. Ладони квадратные, ногти коротко острижены — руки профессионала. Она не пользуется косметикой, и всё равно в её лице сквозит что-то непристойное. Возможно, это открытый оценивающий взгляд, неизменная ирония на губах. К тому же она высока ростом, слишком высока для женщины, она ростом с меня. Смотрит мне прямо в глаза — плечи расправлены, подбородок дерзко вскинут. На ней длинная расклешённая юбка огненного цвета и облегающий чёрный свитер — пугающее сочетание. Как змея, ядовитое насекомое, предостережение врагам.

А она — *мой враг*. Я сразу это почувствовал. Её тихий приятный голос меня не обманывает. Я ощущаю её враждебность и подозрительность. Она специально привлекает меня в свою лавку, чтобы посмеяться надо мной. Кажется, будто ей известно нечто такое, что даже я... Впрочем, это чепуха. Что она может знать? Что может *сделать*? Просто я возмущён тем, что нарушен естественный порядок, как добросовестный садовник

вознегодовал бы при виде одуванчиков в своём саду. Семена разброда всюду дают всходы, *mon pere*. Занимают всё новые площади. Распространяются.

Я, должно быть, чего-то не понимаю. Но мы, ты и я, всё равно не должны терять бдительности. Помнишь Марод и цыган, которых мы изгнали с берегов Танна? Помнишь, сколько времени и сил ушло на это, сколько месяцев впустую было потрачено на жалобы и письменные обращения, пока мы не взяли дело в свои руки? Помнишь мои проповеди?! Одна за другой закрывались перед ними двери. Некоторые лавочники сразу проявили сознательность, сразу встали на нашу сторону, поскольку не забыли последнего нашествия цыган, принёсших в город болезни, воровство, проституцию. А вот на Нарсисса пришлось надавить: он, по своему обыкновению, готов был предложить бродягам работу на своих полях на время летней страды. Но мы в конце концов выселили весь табор — угрюмых мужчин, их неряшливых потаскушек с наглыми глазами, их босоногих детей-сквернословов, их тощих собак. После ухода цыган люди бесплатно убрали оставленные ими мусор и грязь. Одно семечко одуванчика, *mon pere*, и они вернутся. Ты это понимаешь не хуже меня. И если она является этим семечком...

Вчера я разговаривал с Жолин Дру. Анук Роше поступила в начальную школу. Развязная девчонка с такими же чёрными волосами, как у её матери, и радужной нахальной улыбкой. Судя по всему, Жолин заметила, что её сын Жан в числе других детей играет с этой девочкой в какую-то непотребную игру на школьном дворе. Они вытряхивали в грязь из мешочка кости и бусины. Полагаю, гадали или ещё какой ерундой занимались. Дурное влияние... Я ведь говорил тебе, что знаю эту породу. Жолин запретила Жану играть с ней, но парень упрям, тут же надулся. Дети в этом возрасте понимают только язык строгой дисциплины. Я вызвался серьёзно поговорить с мальчиком, но мать не согласилась. Вот что это за люди, *mon pere*. Слабые. Бесхарактерные. Интересно, сколько из них уже нарушили Великий пост? Сколько вообще намеревались соблюдать его? Что до меня, я чувствую, как благодаря постной диете очищаюсь от скверны. Витрина лавки мясника приводит меня в ужас; любые пищевые запахи воспринимаю так остро, что даже голова кружится. Вдруг совершенно перестал выносить аромат свежей выпечки, доносящийся по утрам из пекарни Пуату, харчевня на площади Изыщных Искусств смердит жареным жиром, будто адское пекло. Сам я вот уже больше недели не прикасаюсь ни к мясу, ни к рыбе, ни к яйцам. Живу на хлебе, супах, салатах, да в воскресенье позволяю себе бокал вина. И я очистился, *pere*, очистился...

Жаль только, что не могу сделать больше. Для меня *это* — не мука, не наказание. Порой я думаю: вот если бы *стать* для них примером, если бы это я страдал, истекая кровью на кресте... Эта ведьма Вуазен насмехается надо мной, шагая мимо с корзиной продуктов из магазина. Она единственная в семье благочестивых прихожан презирует церковь, ухмыляется мне, ковыляя мимо в соломенной шляпке с красным шарфом на голове, идёт, стучит палкой по плитам перед собой и слабится... Я терплю её только из уважения к её возрасту, *mon pere*, и из жалости к её родным. Упрямо отказывается от лечения, от утешения и поддержки, думает, что будет жить вечно. Но в один прекрасный день она сломается. Когда-нибудь они все не выдерживают. И я безропотно отпущу ей все её грехи. Буду скорбеть о ней, несмотря на все её заблуждения, гордыню, заносчивость. В итоге она падёт к моим ногам, *mon pere*. В конечном счёте все они будут в моей власти, разве нет?

Глава 11

20 февраля. Четверг

Я ждала её. Клетчатый плащ, волосы туго зачёсаны назад, руки проворные и нервные, как у опытного стрелка. Жозефина Мускат, женщина с карнавального шествия. Она дождалась, когда мои завсегдатаи — Гийом, Жорж и Нарсисс — покинули шоколадную, и вошла, держа руки глубоко в карманах.

— Горячий шоколад, пожалуйста, — заказала она, уткнувшись взглядом в пустые бокалы, которые я ещё не успела убрать, и неловко села на табурет за прилавком.

— Сию минуту. — Я не стала уточнять, как приготовить для неё напиток, — налила на своё усмотрение и подала с шоколадной стружкой и сбитыми сливками, положив на край блюда две кофейные помадки. С минуту она, прищурившись, смотрела на бокал, потом робко прикоснулась к нему.

— На днях, — заговорила она неестественно беспечным тоном, — я была у вас и забыла заплатить. — Пальцы у неё длинные и, как ни странно, изящные, несмотря на мозолистые подушечки. В непринуждённой обстановке её лицо несколько утратило тревожное затравленное выражение и кажется почти красивым. Волосы у неё мягкого каштанового оттенка, глаза золотистые. — Прошу прощения. — Она почти с вызовом бросила на прилавок монету в десять франков.

— Ничего страшного, — с беззаботным равнодушием ответила я. — С кем не бывает.

Жозефина подозрительно взглянула на меня и, убедившись, что я не рассержена, чуть расслабилась.

— Вкусно, — похвалила она, глотнув из бокала шоколад. — Очень вкусно.

— Я сама готовлю, — объяснила я. — Из какао тёртого, ещё не разбавленного какао-маслом, которое добавляют для того, чтобы масса затвердела. Именно так столетия назад пили шоколад ацтеки.

Жозефина вновь подозрительно покосилась на меня.

— Спасибо за подарок, — произнесла она наконец. — Миндаль в шоколаде. Мои любимые конфеты. — И вдруг заговорила быстро,

отчаянно, захлёбываясь словами: — Я не хотела. Просто они обсуждали меня, я знаю. Но я не воровка. Это всё из-за *них*... — тон презрительный, уголки губ опущены в гнев и самобичевании, — ...из-за стервы Клэрмон и её подружек. Лгуньи. — Она опять посмотрела на меня, дерзко, словно бросая вызов. — Говорят, ты не ходишь в церковь. — Голос у неё звенящий, слишком громкий для маленького помещения шоколадной, оглушает нас обеих.

Я улыбнулась.

— Совершенно верно. Не хожу.

— Значит, долго здесь не протянешь, — заявила Жозефина всё тем же ломким, срывающимся голосом. — Они выживут тебя отсюда, прогонят, как прогоняют всех, кто им не нравится. Вот увидишь. Всё это... — нервным жестом она показала на полки, коробочки, сооружения в витрине. — Ничего тебя не спасёт. Я слышала их болтовню. Слышала, что они говорили.

— Я тоже. — Из серебряного чайника я налила себе маленькую чашку шоколада — чёрного, как «эспрессо», — и помешала маленькой ложкой. — Но я не слушаю, — спокойно сказала я и, отпив из чашки, добавила: — И тебе не советую.

Жозефина рассмеялась.

Мы обе замолчали. Прошло пять секунд. Десять.

— Говорят, ты ведьма. — Опять это слово. Она с вызовом посмотрела мне в лицо. — Это так?

Я пожала плечами, глотнула шоколада из чашки.

— Кто говорит-то?

— Жолин Дру. Каролина Клэрмон. Приспешницы кюре Рейно. Я слышала, как они болтали возле церкви. И дочь твоя что-то рассказывала детям. Что-то про духов. — В голосе её слышались любопытство и скрытая, неприятная ей самой враждебность, природы которой я не понимала. — Надо же, духи! — воскликнула она.

Я провела пальцем по золотому ободку своей чашки.

— Я думала, тебе плевать на то, что болтают все эти люди.

— Мне просто любопытно. — Это опять сказано с вызовом, будто она боится пробудить к себе симпатию. — К тому же ты на днях беседовала с Армандой. А с Армандой никто не разговаривает. Кроме меня. Арманда Вуазен. Старушка из Марода.

— Она мне нравится, — просто сказала я. — Почему я должна чураться её?

Жозефина стиснула кулаки на прилавке. Она была возбуждена, голос

её трещал, как схваченное морозом стекло.

— Потому что она сумасшедшая, вот почему! — В подтверждение своих слов она неопределённо покрутила пальцем у виска. — Сумасшедшая, сумасшедшая, *сумасшедшая*. — Она понизила голос. — Я вот что тебе скажу. В Ланскне существует понятие грани, — мозолистым пальцем она провела на прилавке черту, — и если ты переступаешь её, если *не* исповедуешься, *не* уважаешь мужа, *не* готовишь три раза в день, *не* ждёшь возвращения мужа домой, сидя у камина с пристойными мыслями в голове, если у тебя нет... *детей*... и ты не ходишь с цветами на похороны друзей и не пылесосишь гостиную в своём доме и... *не... вскапываешь... цветочные грядки!* — Жозефина покраснела от напряжения, от клокотавшего внутри её безудержного гнева. — *Значит, ты — чокнутая!* — выпалила она. — Чокнутая, ненормальная. И люди... шепчутся... за... твоей спиной и... и... и...

Она резко замолчала, терзающая боль больше не искажала её черты. Я заметила, что её взгляд устремлён мимо меня на что-то за окном, но из-за слепящего блеска стекла я не могла разглядеть то, на что она смотрела. Казалось, словно занавес опустился на её лицо — плотный, непроницаемый, безнадёжно глухой.

— Извини! Меня чуть-чуть занесло. — Она допила шоколад. — Мне нельзя с тобой общаться. Да и тебе со мной не следует. И так уже не жди ничего хорошего.

— Это мнение Арманды? — невозмутимо любопытствовала я.

— Мне пора. — Словно казня себя, она опять в свойственной ей манере вдавила в грудь стиснутые кулаки. — Мне пора. — В её чертах вновь сквозило смятение, а опущенные в страхе уголки губ придавали лицу выражение тупоумия... Однако та разгневанная, возмущённая женщина, что говорила со мной минуту назад, была далеко не глупа. Что — кого — она увидела, что так резко изменилась в лице? Едва она ступила за порог шоколадной и, горбясь под порывами воображаемого ураганного ветра, зашагала прочь, я двинулась к окну, провожая её взглядом. К ней никто не подошёл. Никто, как мне показалось, даже и не смотрел в её сторону. И тут я заметила Рейно. Он стоял у входа в церковь, в арочном проёме. Рядом с ним — незнакомый мне лысеющий мужчина. Взгляды обоих прикованы к витрине «Небесного миндаля».

Рейно? Неужели это он источник её страха? При мысли о том, что священник, возможно, настраивает Жозефину против меня, я испытала острое раздражение. Помнится, она говорила о нём скорее с пренебрежением, чем со страхом. Собеседник Рейно — невысокий

мужчина плотного телосложения. Завёрнутые рукава его клетчатой рубашки обнажают лоснящиеся красные руки, маленькие интеллигентские очки смотрятся несуразно на крупном мясистом лице. Во всём его облике сквозит враждебность, направленная неизвестно на кого, и я наконец узнаю его. Я уже встречала его прежде — с белой бородой, в красном халате. Он бросал сладости в толпу. На карнавале. Санта-Клаус. Швырял конфеты в толпу с такой злостью, будто надеялся выбить кому-нибудь глаз. В этот момент у витрины остановилась группа детей. Мужчин у церкви я теперь не видела, но, думаю, разгадала причину поспешного бегства Жозефины.

— Люси, видишь того человека на площади? В красной рубашке? Кто это?

Девочка скорчила рожицу. Её любимое лакомство — мышки из белого шоколада, пять штук за десять франков. Я добавила ей в бумажный кулёк ещё две.

— Ты ведь знаешь его, верно?

Люси кивает.

— Месье Мускат. Хозяин кафе. — Я знаю это заведение — невзрачное маленькое местечко в конце улицы Вольных Граждан. С полдесятка металлических столиков на тротуаре, выцветший навес с эмблемой «оранжины». Старая вывеска — «Кафе „Республика“». Сжимая в руке кулёк со сладостями, девочка отходит от прилавка, собираясь выскочить на улицу, но потом, передумав, вновь поворачивается. — А вот какие его любимые лакомства, вы никогда не догадаетесь, — заявляет она. — Потому что он ничего не любит.

— В это трудно поверить, — улыбаюсь я. — Каждый человек что-нибудь да любит.

Люси поразмыслила с минуту.

— Ну, может, только то, что он забирает у других, — звонко говорит она и уходит, махнув мне на прощание через витрину. — Передайте Анук, что после школы мы идём в Марод!

— Обязательно.

Марод. Интересно, чем прельщает их этот район. Речка с вонючими коричневыми берегами. Узкие улочки, по которым гуляет мусор. Оазис для детей. Укрытия, плоские камешки, которые хорошо скачут по стоячей воде. Нашёптывание секретов, мечи из палок, щиты из листьев ревеня. Военные действия в зарослях ежевики, туннели, первопроходцы, бродячие собаки, слухи, похищенные сокровища... Вчера Анук вернулась из школы, вышагивая по-особому бодрой походкой, и сразу показала мне свой новый рисунок.

— Это я. — Фигурка в красном комбинезоне с взъерошенными чёрными волосами. — Пантуфль. — На её плече сидит, как попугай, кролик с наострѣнными ушами. — И Жанно. — Мальчик в зелёном с вытянутой рукой. Оба ребёнка улыбаются. Судя по всему, матерям — даже матерям-учительницам — вход в Марод заказан. Анук повесила рисунок на стену над пластилиновой фигуркой, которая до сих пор сидит у её кровати.

— Пантуфль сказал мне, что делать. — Она сгребла его в объятия. В этом свете я довольно отчётливо вижу его. Он похож на усатого ребёнка. Порой я спрашиваю себя, может, мне следует как-то запретить ей этот самообман, но я знаю, что у меня не хватит мужества обречь своё дитя на одиночество. Возможно, если мы останемся здесь, Пантуфль со временем уступит место более реальным друзьям.

— Я рада, что вам удалось остаться друзьями, — говорю я, целуя её в кудрявую макушку. — Скажи Жанно, если хочет, пусть приходит сюда на днях. Поможете мне разобрать витрину. Других своих приятелей и подруг тоже можешь позвать.

— Пряничный домик? — Её глаза засияли, как вода на солнце. — *Ура!* — В приливе радости она заплясала по комнате, едва не опрокинула табурет, в огромном прыжке обогнула воображаемое препятствие и кинулась на лестницу, перескакивая сразу через три ступеньки. — Пантуфль, догоняй! — Раздался грохот — *бам-бам!* Анук хлопнула дверью о стену. Меня, как всегда неожиданно, захлестнула волна любви к дочери. Моя маленькая странница. Вечно в движении, ни минуты не молчит.

Я налила себе ещё одну чашку шоколада и обернулась, услышав трезвон колокольчиков у двери. На секунду я застаю его врасплох: он не контролирует выражение своего лица — взгляд оценивающий, подбородок выпячен вперѣд. Плечи расправлены, на лоснящихся оголѣнных руках вздулись вены. Потом он улыбнулся — не тепло, одними губами.

— Месье Мускат, если не ошибаюсь? — Интересно, что ему здесь нужно? Кажется, здесь он совсем не к месту. Набывчившись, он исподлобья рассматривает выставленный товар, его взгляд подкрадывается к моему лицу, опускается к моей груди — один раз, второй.

— Что ей здесь понадобилось? — отчеканил он, не повышая голоса, и мотнул головой, словно в недоумении. — Что, чёрт побери, ей может быть нужно в этой лавке? — Он показал на поднос с засахаренным миндалѣм стоимостью пятьдесят франков за пакетик. — Это что ли, хе? — обращается он ко мне, разводя руками. — Подарки по случаю свадеб и крещений. На что ей такие подарки? — Он опять улыбнулся, на этот раз льстиво, пытаясь очаровать меня. — Что она купила?

— Насколько я понимаю, речь идёт о Жозефине?

— Да, это моя жена. — Он произнёс это со странной интонацией — будто отрубил. — Вот они, женщины. Пашешь, как проклятый, чтобы заработать на прожитьё, а они что делают, хе? Тратят всё на... — Он вновь обвёл рукой ряды шоколадных жемчужин, марципановых гирлянд, серебряной фольги, шёлковых цветов. — Так она подарок купила? — В голосе его зазвучала подозрительность. — Для кого это она подарки покупает? Для себя, что ли? — Он хохотнул, словно счёл эту мысль нелепой.

Я не могла понять, чего он добивается, но меня настораживали его агрессивный тон, нездоровый блеск в глазах, нервная жестикуляция. Я боялась не за себя — за годы, проведённые с матерью, я освоила много разных способов самозащиты. Мне стало страшно за Жозефину. Прежде чем я успела воздвигнуть между нами незримую стену, мне от него передался образ: окровавленный палец в дыму. Я сжала под прилавком кулаки, ибо изнанку души этого человека я видеть вовсе не хотела.

— Думаю, вы что-то не так поняли, — сказала я. — Я сама пригласила Жозефину на чашку шоколада. По дружбе.

— О! — Он оторопел на мгновение. Потом вновь издал лающий смешок — почти искренний. В его презрении теперь сквозит неподдельное удивление. — Вы хотите подружиться с Жозефиной? — Вновь оценивающий взгляд. Я вижу, что он сравнивает нас, то и дело стреляя похотливыми глазками в сторону моей груди, и, когда он вновь заговорил, я услышала в его голосе вкрадчивые мурлыкающие нотки. Очевидно, в его представлении, это тон обольстителя.

— Ты ведь здесь новенькая, верно?

Я киваю.

— Пожалуй, мы могли бы встречаться иногда. Познакомились бы, лучше узнали друг друга.

— Пожалуй, — беспечно бросила я и добавила невозмутимо: — Может, вы заодно и жену пригласите?

Он растерялся, вновь смерил меня взглядом, подозрительно покосился.

— Надеюсь, она не сболтнула чего лишнего?

— Чего, например? — уточнила я.

Он мотнул головой:

— Ничего. Ничего. Просто у неё язык как помело, вот и всё. Рот не закрывается. Ничего не делает, хе! Только болтает и болтает сутки напролёт. — Опять короткий невесёлый смешок. — Впрочем, ты и сама в этом скоро убедишься, — добавил он с мрачным удовлетворением в голосе.

Я пробормотала что-то уклончивое. Потом, поддавшись порыву, достала из-под прилавка маленький пакетик миндаля в шоколаде и протянула ему. Говорю непринуждённо:

— Будьте добры, передайте это от меня Жозефине. Эти конфеты я приготовила для неё, а отдать забыла.

Он в оцепенении смотрит на меня. Повторяет тупо:

— Передать ей?

— Бесплатно. За счёт магазина. — Я одарила его обворожительной улыбкой. — Это подарок.

Он широко улыбнулся, взял у меня симпатичный серебряный мешочек с шоколадом и, смяв, сунул в карман джинсов.

— Конечно, передам. Не сомневайся.

— Это её любимые конфеты, — объясняю я.

— Много ты не наработаешь, если будешь угощать всех подряд, — снисходительно заявляет он. — Месяца не пройдёт, как обанкротишься. — И опять пристальный голодный взгляд, будто я — шоколадная конфета, которую ему не терпится развернуть.

— Поживём — увидим, — елеино протянула я. Он вышел на улицу и, сутулясь, зашагал домой развязной походкой Джеймса Дина. Я провожала его взглядом и вскоре увидела, как он вытащил из кармана конфеты, предназначенные для Жозефины, и вскрыл пакетик. Даже не потрудился отойти подальше. Возможно, догадывался, что я наблюдаю за ним. Одна, вторая, третья. Его рука с ленивой методичностью поднималась ко рту, и не успел он перейти площадь, как пакетик уже был опустошён, а шоколад съеден. Он скомкал в руке серебряную упаковку. Я представила, как он запихивает в рот конфеты, словно прожорливый пёс, стремящийся поскорее вылизать собственную миску, чтобы стащить кусок мяса из чужой тарелки. Минуя пекарню, он швырнул серебряный комок в стоявшую у входа урну, но промахнулся: бумажный шарик поплясал на ободке и упал на камни. А он, не оглядываясь, продолжал путь — прошёл мимо церкви и зашагал по улице Вольных Граждан, грубыми башмаками выбивая искры из гладких булыжников мостовой.

Глава 12

21 февраля. Пятница

С вечера опять похолодало. Флюгер на церкви Святого Иеронима всю ночь крутился и вертелся в беспокойной нерешительности, визгливо поскрипывая на ржавых креплениях, словно отгонял незваных гостей. К утру на город лёг туман, да такой густой, что даже церковная башня, высившаяся всего в двадцати шагах от витрины шоколадной, казалась далёким призрачным силуэтом. Сквозь ватную толщу тумана пробивался глухой бой колокола, призывающего к обедне прихожан, но на его звон отозвались лишь несколько человек. Подняв воротники плащей и курток, они спешат в церковь за отпущением грехов.

Когда Анук допила молоко, я укутала дочь в её красное пальто и, не обращая внимания на её протесты, натянула ей на голову пушистую шапку.

— Хочешь что-нибудь на завтрак?

Она решительно мотнула головой и схватила яблоко с блюда у прилавка.

— А меня ты разве не поцелуешь?

Это наш утренний ритуал.

Ловко обхватив меня руками за шею, она облизала моё лицо, со смехом отпрыгнула, послала от двери воздушный поцелуй и выбежала на площадь. Я охаю в притворном ужасе, вытираю лицо. Она радостно смеётся, показывает мне свой маленький острый язычок, кричит: «Я люблю тебя!» — и красной змейкой уносится в туман, волоча за собой портфель. Я знаю, что через полминуты пушистая шапка перекоцует в её школьную сумку, где уже лежат учебники, тетради и прочие неугодные напоминания о взрослом мире. На секунду я вновь увидела Пантуфля, скачущего за ней по пятам, и поспешила заслониться от нежеланного образа. Горькое чувство утраты и одиночества охватило меня. Как я буду жить целый день без неё? Усилием воли я подавила в себе неодолимый порыв окликнуть её.

За утро шесть покупателей. Один из них — Гийом. Он зашёл по пути домой, возвращаясь из лавки мясника с куском кровяной колбасы, завернутой в бумагу.

— Чарли любит кровяную колбасу, — серьёзно говорит он мне. — В последнее время у него плохой аппетит, но я уверен, колбасу он съест с

удовольствием.

— Вы и о себе не должны забывать, — мягко напоминаю я ему. — Вам тоже нужно питаться.

— Конечно. — Он виновато улыбается. — Я ем, как лошадь. Честное слово. — Он вдруг встревожился. — Правда, сейчас Великий пост. Но ведь животным не обязательно поститься, как вы считаете?

В ответ на его обеспокоенный взгляд я качаю головой. Черты лица у него мелкие, тонкие. Он принадлежит к тому типу людей, которые разламывают печенье на две половинки и одну оставляют на потом.

— Я считаю, вам обоим следует лучше заботиться о себе.

Гийом чешет у Чарли за ухом. Пёс реагирует вяло и почти не проявляет интереса к пакету из мясной лавки в стоящей возле него корзине.

— Мы справляемся. — Губы Гийома раздвигаются в улыбке так же автоматически, как с его языка слетает ложь. — Правда, справляемся. — Он допил свой *chocolat espresso*.

— Отличный шоколад, — как всегда, говорит он. — Мои комплименты, мадам Роше. — Я уже давно не настаиваю на том, чтобы он обращался ко мне по имени. Укоренившиеся в нём правила приличия не допускают фамильярности. Он оставляет деньги на прилавке, приподнимает шляпу на прощание и открывает дверь. Чарли неуклюже поднимается с пола и, чуть кренясь на один бок, ковыляет за хозяином. Дверь за ними затворяется, а в следующую минуту я уже вижу, как Гийом наклоняется и берёт своего питомца на руки.

В обед в шоколадную заходит ещё одна посетительница. На ней бесформенное мужское пальто, но я всё равно мгновенно признала её. Умное морщинистое лицо под чёрной соломенной шляпой, длинная чёрная юбка, из-под которой выглядывают тяжёлые башмаки.

— Мадам Вуазен! Пришли, как и обещали? Позвольте, я налью вам что-нибудь. — Блестящие глаза внимательно рассматривают шоколадную, замечают каждую деталь. Она останавливает взгляд на меню, написанном Анук:

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД — 10 франков

ШОКОЛАД-ЭСПРЕССО — 15 франков

ШОКОЛАДНЫЙ КАПУЧИНО — 12 франков

КОФЕЙНЫЙ ШОКОЛАД — 12 франков

Старушка одобрительно кивнула.

— Сто лет ничего подобного не видела. Уже и забыла, что существуют такие заведения. — Голос у неё звучный, движения энергичные, что никак

не вяжется с её возрастом. Губы насмешливо изогнуты, как у моей матери. — Когда-то я любила шоколад, — признается она.

Пока я наливала для неё в высокий бокал кофейный шоколад и добавляла в пену кофейный ликёр «Калуа», она подозрительно разглядывала табуреты у прилавка.

— Надеюсь, ты не заставишь меня лезть на этот стул?

Я рассмеялась.

— Если бы я знала, что вы придёте, заранее приготовила бы лестницу. Подождите минутку.

Я вытащила из кухни старое оранжевое кресло Пуату.

— Попробуйте-ка сюда.

Арманда тяжело опустилась в кресло и взяла в обе руки свой бокал. Глаза у неё горят нетерпением и восторгом, как у ребёнка.

— Мммм. — Это больше, чем восхищение. Почти благоговение. — Мммммм. — Она закрыла глаза, смакуя на языке напиток. Я едва ли не со страхом созерцала её блаженство. — Настоящий шоколад, да? — Она помолчала, испытующе глядя на меня блестящими глазами из-под полуопущенных век. — Сливки, корица, наверно, и... что ещё? «Тиа Мария»?

— Почти угадали.

— Запретный плод всегда сладок, — сказала Арманда, с удовлетворением вытирая со рта пену. — Но это... — она опять с жадностью глотнула из бокала, — ничего вкуснее не пробовала, даже в детстве. Держу пари, здесь тысяч десять калорий, а то и больше.

— Почему вы думаете, что вам это повредит? — любопытствовала я. Маленькая и круглая, как куропатка, она, в отличие от своей дочери, не производила впечатления женщины, страдающей от несовершенства своей фигуры.

— О, это врачи так думают, — небрежно отпустила Арманда. — Знаешь ведь, какие они. Всё готовы запретить. — Она опять втянула через соломинку шоколад. — Ох как вкусно. *Здорово!* Каро уже на протяжении многих лет пытается упрятать меня в какой-нибудь приют. Не нравится ей, что я живу по соседству. Не любит вспоминать о своём происхождении. — Она смачно хмыкнула. — Говорит, я больна. Не способна заботиться о себе. Присылает ко мне своего докторишку, и тот начинает мне прописывать: это можно, то нельзя. Можно подумать, они *хотят*, чтобы я жила вечно.

Я улыбнулась.

— Каролина, я уверена, очень любит вас.

Арманда бросила на меня насмешливый взгляд.

— Прямо-таки уверена? — Вульгарный кудахтающий смешок. — Не рассказывай мне сказки, девушка. Ты прекрасно знаешь, что моя дочь любит только себя. Я ведь не дура, всё понимаю. — Её блестящие глаза смотрят на меня в пристальном прищуре. — Я по мальчику скучаю.

— По мальчику?

— Его зовут Люк. Это мой внук. В апреле ему исполнится четырнадцать. Ты, наверно, видела его на площади.

Мне смутно припомнился бесцветный мальчик в отглаженных фланелевых брюках и твидовой куртке. У него неестественно прямая осанка и холодные серо-зелёные глаза в обрамлении длинных ресниц. Я кивнула.

— Я завещала ему всё своё состояние, — говорит Арманда. — Полмиллиона франков. Он их получит, когда ему исполнится восемнадцать лет; до тех пор деньги будут находиться в доверительной собственности. — Она пожала плечами и добавила отрывисто: — Мы с ним не видимся. Каро не разрешает.

Теперь я вспомнила, что видела их вместе: они шли в церковь, мальчик поддерживал мать за руку. Он единственный из всех детей в Ланскне никогда не покупает шоколад в «Миндале», хотя, мне кажется, я пару раз замечала, что он смотрел на мою витрину.

— Последний раз он навещал меня, когда ему было десять лет. — Голос у Арманды непривычно блеклый. — По его меркам, лет сто назад. — Она допила шоколад и со стуком поставила бокал на прилавок. — Насколько я помню, это был день его рождения. Я подарила ему томик стихов Рембо. Он держался со мной очень... вежливо. — В её тоне сквозит горечь. — Конечно, с тех пор я встречала его несколько раз на улице. Да я и не жалею.

— А почему вы сами к ним не зайдёте? — с любопытством спросила я. — Пошли бы с ним погуляли, поговорили, узнали его лучше.

Арманда покачала головой.

— Мы с Каро не общаемся. — В её голосе неожиданно зазвучали брюзгливые нотки. Без улыбки, так молодившей её, она вдруг показалась мне невообразимо старой, дряхлой. — Она меня стыдится. Одному богу известно, что она говорит обо мне мальчику. — Арманда тряхнула головой. — Нет. Теперь уже слишком поздно. Я это вижу по его лицу. Он весь такой *учтивый*. Присылает мне на Рождество вежливые бессодержательные открытки. На редкость воспитанный мальчик. — Она невесело рассмеялась. — Вежливый, воспитанный мальчик.

Она глянула на меня с дерзкой лучезарной улыбкой.

— Если бы знать, чем он занимается, — продолжала она, — что читает, за какую команду болеет, кто его друзья, как он учится в школе. Если бы знать всё это... Можно было бы *убедить* себя... — Я вижу, что она вот-вот расплечется. Последовала короткая пауза, пока она боролась со слезами. — А знаешь, пожалуй, я не отказалась бы ещё отведать твоего фирменного шоколада. Нальёшь?

Она храбрилась, но её бравада вызывала искреннее восхищение. Будучи, по сути, несчастной женщиной, она с успехом играла роль мятежницы. Вот и сейчас, отхлёбывая из бокала, положила локти на прилавок с неким подобием щёгольства.

— Прямо-таки Содом и Гоморра через соломинку. Ммм. Такое ощущение, будто я умерла и вознеслась на небеса. Во всяком случае, рай где-то рядом.

— Я могла бы узнать что-нибудь о Люке, если хотите. И передать вам.

Арманда задумалась. Я видела, что она наблюдает за мной из-под опущенных век. Оценивает.

— Все мальчишки любят сладости, верно? — наконец промолвила она. Я согласилась с её замечанием, сделанным как бы вскользь. — Полагаю, его друзья здесь тоже бывают?

Я сказала, что не знаю, кого он считает своими друзьями, но, верно, почти все дети регулярно навещают в шоколадную.

— Пожалуй, я тоже зайду как-нибудь ещё, — решила Арманда. — Мне нравится твой шоколад, хотя стулья у тебя ужасные. Может, даже и в постоянные посетительницы запишусь.

— Я вам всегда буду рада.

Арманда опять замолчала. Я догадывалась, что она привыкла всё делать по-своему, в намеченное ею самой время, и не терпит, чтобы кто-то торопил её или давал ей советы. Я не стала мешать её раздумьям.

— Вот. Держи. — Решение принято. Не колеблясь, она выкладывает на прилавок стофранковую купюру.

— Но я...

— Если увидишь его, купи ему коробочку сладостей. Какую он пожелает. Только не говори, что это от меня.

Я взяла деньги.

— И не поддавайся его матери. Она уже развернула кампанию — это более чем вероятно. Распространяет сплетни, демонстрирует своё пренебрежение. Кто бы мог подумать, что моё единственное дитя станет одной из сестёр Армии спасения Рейно? — Она озорно прищурилась, отчего на её круглых щеках образовались морщинистые ямочки. — О тебе

уже слухи всякие ходят. Наверно, догадываешься, какие. А будешь якшаться со мной, только подольёшь масла в огонь.

Я рассмеялась.

— Как-нибудь справлюсь.

— Не сомневаюсь. — Она вдруг остановила на мне пристальный взгляд. Поддразнивающие нотки исчезли из её голоса. — Что-то есть в тебе такое, — тихо произнесла она. — Что-то знакомое. Но всё-таки, наверно, мы не встречались до знакомства в Мароде, да?

В Лиссабоне, Париже, Флоренции, Риме. Кого я только не встречала, с кем только не пересекались наши пути за время наших безумных скитаний по запутанным маршрутам. Но нет, её я раньше не видела.

— И этот запах. Как будто что-то горит. Как спустя десять секунд после удара молнии в летнюю грозу. Запах июльских гроз и поливаемых дождём пшеничных полей. — Её лицо светилось восторгом, глаза пытливо выискивали что-то в моих глазах. — Это правда, верно? То, что я говорила? О том, кто ты есть?

Ну вот, опять.

Арманда радостно рассмеялась и взяла меня за руку. Кожа у неё прохладная — листва, а не плоть. Она перевернула мою руку ладонью вверх.

— Так и знала! — Она провела пальцем по линии жизни, по линии сердца. — Поняла в ту же минуту, как увидела тебя! — Нагнув голову, она тихо забормотала себе под нос, дыханием обдавая мою руку. — Я знала это. Знала. Но даже подумать не могла, что когда-нибудь встречу тебя здесь, в этом городе. — Она вдруг тревожно взглянула на меня. — А Рейно знает?

— Не могу сказать. — Мой ответ не содержал лжи, поскольку я понятия не имела, о чём она говорит. Но я тоже что-то чувствовала — ветер перемен, дух откровения. Запах пожара и озона. Скрежет долго не работавших механизмов, запустивших адскую машину мистической взаимосвязи. Или всё-таки Жозефина права, и Арманда в самом деле сумасшедшая? В конце концов, сумела же она разглядеть Пантуфля.

— Постарайся скрыть от него это, — сказала она мне с безумным блеском в серьёзных глазах. — Ты ведь знаешь, кто *он* такой, верно?

Я смотрела на неё. Её следующая фраза, должно быть, просто прозвучала в моём воображении. Или, возможно, наши сны соприкоснулись на мгновение в одну из ночей, когда мы находились в бегах.

— *Он и есть Чёрный человек.*

Рейно. Как плохая карта. Вновь и вновь. Смех из-за кулис.

Анук уже давно спит, и я достаю карты матери, впервые после её смерти. Я храню их в шкатулке из сандалового дерева. Мягкие, они пахнут воспоминаниями о ней. Я едва не кладу их на место, ошеломлённая наплывом ассоциаций, вызванных этим запахом. Нью-Йорк, дымящиеся лотки с горячими сосисками. «Кафе де ля Пэ», безупречные официанты. Монахиня с мороженым у собора Парижской Богоматери. Гостиничные номера на одну ночь, неприветливые привратники, подозрительные жандармы, любопытные туристы. И над всем этим тень чего-то безымянного и безжалостного — некоей угрозы, от которой мы бежали.

Я — не моя мать. Я — не беглянка. И всё же потребность видеть, *знать* столь велика, что я, помимо своей воли, достаю карты из шкатулки и начинаю их раскладывать, так же, как она, на краю кровати. Бросая взгляд из-за плеча, удостоверяюсь, что Анук по-прежнему спит. Я не хочу, чтобы она почувствовала мою тревогу. Тасую, снимаю, тасую, снимаю, пока на руках не остаётся четыре карты. *Десятка пик, смерть. Тройка пик, смерть. Двойка пик, смерть. Колесница. Смерть.*

Отшельник. Башня. Колесница. Смерть.

Карты принадлежат моей матери. Ко мне это не имеет никакого отношения, убеждаю я себя, хотя не трудно догадаться, кто скрывается под Отшельником. Но вот что означает Башня? И Колесница? И Смерть?

Карта со знаком «Смерть», говорит мне внутренний голос — голос матери, не всегда предвещает физическую смерть. Она может символизировать завершение определённого образа жизни. Некий перелом. Смену ветров. Так, может, *это* и предсказали мне карты?

Я не верю в гадание. Если и верю, то по-другому, не так, как моя мать, по картам вычерчивавшая беспорядочный узор траектории нашей жизни. Я не ищу в картах оправдания за бездействие, не ищу в них поддержки, когда становится тяжело, или разумного объяснения внутреннему хаосу. Сейчас я слышу её голос и слышу в нём те же интонации, что звучали на корабле, когда вся её сила духа обратилась в обычное упрямство, а чувство юмора — в безысходное отчаяние.

А Диснейленд посмотрим? Как ты думаешь? И Флорида-Кис? И Эверглейдс? В Новом Свете столько всего интересного, столько чудес, о которых мы даже и мечтать не могли. Думаешь, это оно? Именно это и предсказывают карты? К тому времени уже каждая выпавшая карта символизировала Смерть. Смерть и Чёрного человека, который теперь означал то же самое. Мы бежали от него, а он следовал за нами в шкатулке из сандалового дерева.

В качестве противоядия я прочитала Юнга и Германа Гессе и узнала о «коллективном подсознательном». Гадание — это всего лишь способ открыть для себя то, что нам уже известно. То, чего мы боимся. Демонов не существует. Есть совокупность архетипов, общих для всех этапов цивилизации. Боязнь потери — Смерть. Боязнь перемен — Башня. Боязнь быстротечности — Колесница.

И всё же мама умерла.

Я бережно убрала карты в душистую шкатулку. Прощай, мама. Это конец нашего путешествия. Мы останемся здесь и встретим лицом к лицу всё, что бы ни принёс нам ветер. Гадать на картах я больше не буду.

Глава 13

23 февраля. Воскресенье

Благослови меня, отец, ибо грешен я. Я знаю, ты слышишь меня, *mon pere*, а, кроме как тебе, я никому не желал бы исповедаться. Меньше всего епископу, отгородившемуся от забот и тревог в своей далёкой епархии Бордо. А в церкви так пустынно. И я чувствую себя идиотом, стоя на коленях у алтаря и глядя на страждущего Господа нашего в позолоте, поблекшей от дыма свечей. Тёмные пятна придают его облику выражение замкнутости и коварства, и молитва, прежде срывавшаяся с моих уст, как благодарность, как источник радости, теперь вязнет на языке, звучит, словно крик на суровом горном утёсе, который в любую минуту может сбросить на меня лавину.

Неужели я теряю веру, *mon pere*? Это безмолвие во мне, отсутствие смирения, неспособность молиться, очиститься от скверны... это всё по моей вине? Эта церковь — средоточие всей моей жизни, и я, оглядываясь вокруг, пытаюсь пробудить в себе любовь к ней. Хочу любить так же сильно, как ты любил, эти статуи — святого Иеронима с шербатым носом, улыбающуюся Мадонну, Жанну д'Арк с хоругвью, святого Франциска с раскрашенными голубями. Сам я птиц не люблю. Возможно, это грех по отношению к моему тёзке, но ничего поделать с собой не могу. Я испытываю омерзение, слыша их клёкот, видя, как они гадят — даже у входа в церковь. Они загадили зеленоватым помётом белёные стены храма, пронзительно кричат во время службы... Я потравил крыс, портивших в ризнице облачения и утварь. Разве не следует также потравить и голубей, мешающих проведению церковных служб? И я пытался избавиться от них, *mon pere*, но безрезультатно. Наверно, их охраняет святой Франциск.

Я хотел бы жить более достойно. Собственная никчёмность вселяет в меня страх. Я — умный человек, гораздо умнее и образованнее любого из своей паствы, но какая польза от моего ума, если он лишь подчёркивает, сколь слаба и ничтожна брэнная оболочка, в которую Господь облёк своего слугу. Неужели это и есть моё предназначение? Я мечтал о более великих свершениях, мечтал о самопожертвовании и мученичестве. А вместо этого растрачиваю себя на пустые тревоги, не достойные ни меня самого, ни тебя.

Суетность — мой грех, *mon pere*. Вот почему Господь безмолвствует в своём доме. Я это понимаю, но не знаю, как излечиться от своей болезни. Я стал строже поститься, не даю себе поблажки даже в те дни, когда дозволено расслабиться. Сегодня, например, я вылил на гортензии свою воскресную дозу возлияния и тотчас же воспрял духом. Отныне я намерен потреблять за трапезой только воду и кофе, причём кофе чёрный, без сахара, чтобы в полной мере ощущать его горечь. Сегодня пищей мне служили морковный салат и оливки — корни и ягоды в пустыне. Верно, теперь я испытываю лёгкое головокружение, но меня это не беспокоит, и мне совестно оттого, что я нахожу удовольствие даже в собственных лишениях. Потому я буду подвергать себя искушению. Я намерен пять минут простоять у витрины лавки, где торгуют жареным мясом, глядя, как подрумяниваются на вертелах цыплята, и, если Арнольд начнёт поддразнивать меня, тем лучше. В любом случае ему следовало бы закрыть лавку на время Великого поста.

Что касается Вианн Роше... Я почти и не вспоминаю о ней в последние дни. Даже взглядом не достаиваю её магазинчик, проходя мимо. Как ни странно, она вполне преуспевает, — несмотря на неурочную для торговли пору и осуждение со стороны благомыслящих элементов Ланскне. Я отношу это за счёт необычности нового заведения. Но прелесть новизны постепенно исчезнет. Нашим прихожанам едва хватает денег на насущные нужды. Они не смогут постоянно субсидировать столь роскошную лавку, которая была бы более уместна в большом городе.

«Небесный миндаль». Уже само название звучит как преднамеренное оскорбление. Наверно, я съезжу на автобусе в Ажен, в агентство по сдаче жилья, и выскажу своё недовольство. С ней вообще нельзя было заключать договор на это помещение. Оно находится в самом центре города, что обеспечивает процветание её магазину, торгующему соблазнами. И епископа должно поставить в известность. Он обладает большей властью, чем я, и, возможно, сумеет оказать влияние. Сегодня же напишу ему.

Иногда я вижу её на улице. Она ходит в жёлтом плаще с зелёными маргаритками. Наряд девочки, даром что длинный, и на взрослой женщине смотрится несколько непристойно. Голову она не прикрывает даже в дождь, и её мокрые волосы блестят, как тюленья кожа. Заходя под навес, она отжимает их, скручивая в длинную верёвку. Под навесом её магазинчика часто толпятся люди. Пережидая нескончаемый дождь, они рассматривают витрину. Теперь у неё в шоколадной электрокамин, стоит не далеко и не близко от прилавка: обогревает помещение, но продукции не портит. Табуреты, пирожные и пироги под стеклянными колпаками, серебряные

кувшины с шоколадом на полочке в плите. Не магазин, а самое настоящее кафе. В отдельные дни я вижу там по десять человек, а то и больше. Они о чём-то разговаривают — кто стоя, кто облокотившись на прилавок. По воскресеньям и средам после обеда влажный воздух пропитывается запахом выпечки, а она сама стоит в дверях, руки по локоть в муке, и отпускает дерзкие замечания прохожим. Просто удивительно, скольких горожан она уже знает по имени. Сам я целых полгода знакомился со своей паствой. А у неё всегда наготове вопрос или комментарий относительно их житейских забот и проблем. У Блэро спросит про артрит, у Ламбера — про сына-солдата, у Нарсисса — про его знаменитые орхидеи. Она даже знает кличку пса Дюплесси. Лукавая женщина. Её нельзя не заметить. Любой, кто не хочет показаться грубым, обязательно отвечает ей. Даже я... даже я вынужден улыбнуться или кивнуть ей, хотя внутри у меня всё кипит. Её дочь — вся в мать, носится как угорелая в Мароде с оравой ребятишек, причём все они старше её — кому восемь, кому девять лет. И они относятся к ней с любовью, опекают, как младшую сестрёнку, как некий талисман. Всегда вместе — бегают, кричат, изображают руками бомбардировщики и обстреливают друг друга со свистом и гудением. И Жан Дру с ними, вопреки запретам матери. Пару раз она пыталась не пустить его гулять, но он день ото дня становится непокорнее и сбегает через окно, если она запирает его в комнате.

Однако у меня появились и более серьёзные заботы, *mon pere*, в сравнении с которыми непослушание нескольких своенравных сопляков — сущие пустяки. Сегодня, проходя мимо Марода перед службой, я увидел пришвартованный у берега Танна плавучий дом — мы с тобой на такие насмотрелись. Отвратительное сооружение: зелёная краска нещадно шелушится, из жестяной трубы вырываются клубы чёрного ядовитого дыма, гофрированная крыша, как на картонных лачугах в марсельских трущобах. Мы с тобой знаем, что это означает. Чем это грозит. Первые весенние одуванчики показали свои головки из сырого дёрна на обочинах дороги. Каждый год они испытывают наше терпение, приплывая по реке из больших городов, бидонвилей или, того хуже, из более далёких краёв — из Алжира и Марокко. Ищут работу. Ищут, где осесть, расплодиться... Утром я выступил с проповедью против них, но знаю, что, несмотря на моё осуждение, многие прихожане — Нарсисс в том числе — окажут им радушный приём, в пику мне.

Эти люди — бродяги. Непочтительные, беспринципные. Речные цыгане, разносчики болезней, воры, лжецы, убийцы, пользующиеся своей безнаказанностью. Позволь им остаться, и они испоганят все наши труды,

pere. Испортят воспитание. Их дети станут бегать с нашими, отвращая их от нас. Развращая их умы. Научат их ненависти и неуважению к церкви. Приучат к лени и безответственности. Сделают из них преступников и наркоманов. Неужели люди забыли то лето? Или настолько глупы, что полагают, будто подобное не повторится?

После обеда я ходил к плавучему дому. Рядом с ним уже швартовались ещё два — красный и чёрный. Дождь прекратился, и между двумя последними была натянута бельевая верёвка, на которой болтались детские вещи. На палубе чёрного судна спиной ко мне сидел мужчина, удил рыбу. Длинные рыжие волосы перетянуты лоскутом материи, оголённые руки до самых плеч разрисованы красно-коричневой татуировкой. Я смотрел на плавучие дома, дивясь на их мерзость и вопиющую бедность. На что эти люди обрекают себя? Мы — процветающая страна. Европейская держава. Наверняка для таких людей есть работа, полезная работа, приличное жильё... Почему они предпочитают пристойной жизни бродяжничество, безделье, невзгоды? Или они настолько ленивы? Рыжий на палубе чёрного судна выкинул вилкой пальцы в мою сторону, как бы защищаясь от меня, и вновь принялся рыбачить.

— Здесь нельзя находиться! — крикнул я. — Это частное владение. Плывите отсюда.

С лодок мне отвечали смехом и презрительным свистом. У меня от гнева застучало в висках, но я не утратил самообладания.

— Давайте поговорим по-хорошему! — вновь крикнул я. — Я — священник. Мы наверняка сумеем найти какое-то решение.

В окнах и дверях всех трёх плавучих домов появились лица. Я заметил четверых детей, молодую женщину с младенцем и трёх-четырёх человек постарше. Все в каком-то сером бесцветном рванье — ничего другого эти люди не носят, лица у всех насторожённые и подозрительные. Они смотрели на рыжего, ожидая, что тот ответит за всех, и тогда я обратился к нему:

— Эй, ты!

Его поза — образчик предупредительности и насмешливого почтения.

— Иди сюда, поговорим. Мне легче объяснять, когда я не кричу на всю реку, — сказал я.

— Объясняй. Я отлично тебя слышу. — У него сильный марсельский акцент, так что я едва разобрал слова. Его люди на других судах захихикали, подталкивая друг друга локтями. Я терпеливо ждал, пока они успокоятся.

— Это частное владение, — повторил я. — Боюсь, вам здесь нельзя

оставаться. Тут живут люди. — Я показал на прибрежные дома вдоль Болотной улицы. Верно, многие из них теперь пустуют, разваливаются от сырости и небрежения, но некоторые по-прежнему заселены.

Рыжий наградил меня презрительным взглядом.

— Это тоже люди, — сказал он, кивая на обитателей плавучих домов.

— Я понимаю, и тем не менее...

— Не волнуйтесь, — перебил он меня. — Мы долго не задержимся. — Тон у него категоричный. — Нам нужно устранить поломки, кое-что подкупить. В чистом поле мы сделать это не можем. Пробудем у вас недели две, может, три. Надеюсь, потерпите немного, хе?

— Возможно, в более крупном городе... — Его наглость бесила меня, но я сохранял спокойствие. — В Ажене, например...

— Не пойдёт. Мы только что оттуда.

Разумеется. В Ажене с бродягами разговор короткий. Жаль, что у нас в Ланскне нет своей полиции.

— У меня барахлит мотор. И так уже всю реку загрязнил бензином. Пока не починю его, не смогу плыть дальше.

Я приосанился.

— Не думаю, что здесь вы найдёте то, что ищете.

— Каждый волен думать, как хочет. — Он даёт мне понять, что разговор окончен. И почти забавляется. Одна из старух насмешливо фыркнула. — Даже священник. — Теперь и другие засмеялись. Я не срываюсь. Эти люди не достойны моего гнева.

Я поворачиваюсь, чтобы уйти.

— Ба, никак сам месье кюре пожаловал. — Голос раздался у меня за спиной, и я от неожиданности невольно вздрогнул. Арманда Вуазен издала каркающий смешок. — Нервничаешь, хе? — язвительно спрашивает она. — И правильно делаешь. Здесь-то ведь не твоя территория, верно? Что на этот раз тебя привело? Язычников обращаешь в христианство?

— Мадам. — Несмотря на оскорбительные речи, я приветствую её учтивым кивком. — Надеюсь, вы в добром здравии?

— Прямо-таки надеешься? — Её чёрные глаза искрятся смехом. — А у меня сложилось впечатление, что тебе не терпится проводить меня в последний путь.

— Вовсе нет, — холодно, с чувством собственного достоинства отвечаю я.

— Вот и хорошо. Потому что эта старая овечка в лоно церкви никогда не вернётся, — заявляет она. — Как бы то ни было, этот орешек не по твоим зубам. Помнится, твоя мать говорила...

— Боюсь, сегодня я не располагаю временем для праздных бесед, — резче, чем намеревался, обрываю я её. — Эти люди... — я жестом показываю на речных цыган, — с этими людьми должно срочно разобраться, пока ситуация не вышла из-под контроля. Я обязан оберегать интересы вверенной мне паствы.

— Ох и пустозвон же ты стал, — лениво бросает Арманда. — *Интересы вверенной тебе паствы.* Я ведь помню тебя ещё мальчишкой, помню, как ты играл в индейцев в Мароде. Неужели в большом городе тебя учили только напыщенности и сознанию собственной важности?

Я сердито смотрю на неё. Она единственная во всём Ланскне стремится всегда напомнить мне о том, что уже давно забыто. Сдаётся мне, что, когда она умрёт, вместе с ней умрёт и память о тех давно минувших днях. И я почти рад этому.

— А вы, должно быть, мечтаете о том, чтобы Марод был отдан на откуп бродягам, — резко говорю я ей. — Однако другие горожане — в том числе и ваша дочь, между прочим, — понимают, что если позволить им переступить порог...

Арманда фыркнула.

— Она даже говорит, как ты. Сыплет штампами из проповедей и пошлостями в националистическом духе. Эти люди никому не причиняют вреда. Зачем идти на них крестовым походом, когда они и сами скоро уйдут?

Я пожимаю плечами. Говорю строго:

— Мне очевидно, что вы даже не хотите понимать всей серьёзности положения.

— Вообще-то я уже сказала Ру... — она махнула исподволь в сторону мужчины на чёрном судне, — сказала ему, что он и его друзья могут оставаться здесь, пока он не починит свой мотор и не запасётся провизией. — Она смотрела на меня с выражением коварного торжества на лице. — Так что ничего они не нарушили. Они здесь, перед моим домом, с моего благословения. — Последнее слово она выделила голосом, словно поддразнивая меня. — И их друзья, когда придут, тоже станут желанными гостями. — Она бросила на меня дерзкий взгляд. — *Все их друзья.*

Что ж, этого следовало ожидать. Она поступила так лишь из желания досадить мне. Ей нравится скандализировать общество, поскольку она знает, что ей, как самой старой жительнице нашего города, позволительны определённые вольности. Спорить с ней бесполезно, *mon pere*. Мы в том уже не раз убеждались. Споры её вдохновляют не меньше, чем общение с

бродягами, их байки и рассказы о приключениях. Неудивительно, что она уже успела познакомиться с ними, узнала, как кого зовут. Я не стану перед ней унижаться, не доставлю ей такого удовлетворения. Улажу дело другим способом.

По крайней мере, одно я выяснил у Арманды наверняка. Будут ещё и другие. Сколько, проживём — увидим. Однако мои опасения оправдываются. Сегодня три судна. Сколько же ждать завтра?

По дороге сюда я зашёл к Клэрмону. Он проинформирует жителей. Со стороны некоторых я ожидаю сопротивления — у Арманды ещё остались друзья. Нарсисса, возможно, придётся убеждать. Но в целом я надеюсь на поддержку горожан. В конце концов, со мной пока ещё считаются, и моё мнение что-то да значит. Муската я тоже повидал. К нему в кафе заходит много народу. Он — глава городского совета. Да, у него есть свои недостатки, но он — здравомыслящий человек, добрый прихожанин. И если возникнет необходимость в суровых мерах, — разумеется, к насилию не хотелось бы прибегать, но с этими людьми и такой возможности нельзя исключать, — я убеждён, Мускат не откажет в содействии.

Арманда назвала это крестовым походом. Знаю, она хотела оскорбить меня, и тем не менее... При мысли о разворачивающемся конфликте меня охватывает возбуждение. Возможно ли, что я действую по велению самого Господа?

Вот зачем я приехал в Ланскне, *mon pere*. Чтобы защитить свой народ. Спасти его от искушения. И когда Вианн Роше увидит, сколь велика власть церкви — сколь велико моё влияние в этом городе, где каждая душа покорна мне, — она поймёт, что проиграла. На что бы она ни надеялась, к чему бы ни стремилась. Она поймёт, что ей нельзя здесь оставаться. Что у неё нет шансов на победу.

И я восторжествую.

Глава 14

24 февраля. Понедельник

Сразу после церковной службы пришла Каролина Клэрмон. С ней её сын — высокий мальчик с бледным невыразительным лицом, на спине — ранец. У Каролины в руках стопка объявлений, написанных от руки на жёлтой бумаге. Я улыбнулась обоим. Магазинчик почти пуст. Своих первых завсегдатаев я жду к девяти часам, а сейчас ещё только половина девятого. За прилавком сидит одна Анук. Перед ней недопитая чашка с молоком и *rain au chocolat*. Она весело глянула на мальчика, неопределённо взмахнула пирогом, будто приветствуя его, и продолжала завтракать.

— Вам помочь?

Каролина огляделась с выражением зависти и неодобрения на лице. Мальчик смотрит прямо перед собой, но я вижу, что ему хочется скосить глаза в сторону Анук. Вид у него учтивый и угрюмый, блестящие глаза в обрамлении длинных ресниц непроницаемы.

— Да, — неестественно бодрым тоном произносит она, обнажая зубы в ослепительной, приторной, как сахарная глазурь, улыбке. — Я распространяю вот это... — она махнула стопкой объявлений, — и хотела бы попросить вас повесить одно в витрине вашей лавки. — Она протянула мне объявление. — Их все вешают, — добавила она, будто это как-то могло повлиять на моё решение.

Я взяла объявление. На жёлтой бумаге жирно выведено чёрными прописными буквами:

БРОДЯЧИМ ТОРГОВЦАМ, ЛОТОЧНИКАМ И ЛИЦАМ

БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ВХОД ВОСПРЕЩЁН.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ

ПРАВО ОТКАЗАТЬ

В ОБСЛУЖИВАНИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ.

— Зачем мне это? — Я озадаченно нахмурилась. — С какой стати я должна отказывать кому-то в обслуживании?

Каролина бросила на меня взгляд, полный жалости и презрения.

— Вы в нашем городе *новенькая* и ещё многого не понимаете, — с сахарной улыбкой говорит она. — Одно время у нас были проблемы. Это просто мера предосторожности. Я сомневаюсь, что кто-то из этих типов нанесёт вам визит. Но лучше уж заранее побеспокоиться о безопасности, чем потом сожалеть, как вы считаете?

— О чём сожалеть? — Я по-прежнему ничего не понимала.

— У нас появились цыгане. Речные бродяги, — с нетерпеливыми нотками в голосе объясняет она. — Они опять вернулись и намерены... — она изящно наморщила носик, изображая отвращение, — заниматься здесь всем, чем им вздумается.

— И что же? — мягко допытываюсь я.

— А мы должны дать им понять, что не потерпим этого! — Каролина начинала волноваться. — Договоримся всем миром, что не станем обслуживать этих людей. Пусть убираются восвояси.

— Вон оно что. — Я раздумывала над её словами. — А как мы можем им отказать? — с любопытством поинтересовалась я. — Если эти люди располагают деньгами, которые они хотят потратить, разве можем мы им отказать?

— Разумеется, — раздражённо отвечает она. — Кто нам запретит?

Я поразмыслила с минуту и вернула ей объявление. Каролина недоумённо уставилась на меня.

— Вы не станете вешать объявление? — Её голос вознёсся на пол-октавы, при этом лишившись интеллигентного звучания.

Я пожала плечами:

— Мне кажется, если кто-то желает потратить здесь деньги, я не вправе отнимать у него такую возможность.

— Но ведь местное общество... — настаивала Каролина. — Разве вы хотите, чтобы типы вроде этих — бродяги, воры, *арабы*, в конце концов...

В памяти всплыли угрюмые нью-йоркские привратники, парижские дамы, туристы с фотоаппаратами у базилики Сакре-Кер, воротящие лица от длинноногой девочки-нищенки в коротком платьице, из которого она

выросла... Каролина Клэрмон воспитывалась вдали от больших городов, но цену модным дорогим вещам знает: скромный шарфик у неё на шее помечен ярлыком фирмы «Гермес», и благоухает она духами от «Коко Шанель». Грубить я не хотела, но не сдержалась.

— Сдаётся мне, — язвительно отвечаю я, — что обществу негоже совать свой нос в чужие дела. Эти люди живут, как считают нужным, и ни я, ни кто другой им не указ.

Каролина одарила меня злобным взглядом.

— Что ж, если это ваша позиция, — с надменным видом она повернулась к выходу, — я не стану больше отрывать вас от дел. — Она сделала ударение на последнем слове и пренебрежительно глянула на пустые табуреты. — Дай бог, чтобы вы не пожалели о своём решении.

— А с чего вдруг я должна пожалеть?

Она раздражённо передёрнула плечами.

— Ну, если возникнут неприятности и тому подобное. — По её тону я поняла, что разговор окончен. — Эти люди способны на всё. Наркотики, хулиганство... — Она ехидно улыбнулась, из чего я сделала вывод, что она была бы рада увидеть меня жертвой беспорядков. Её сын смотрел на меня с недоумением. Я улыбнулась ему и сказала:

— На днях я видела твою бабушку. Она много рассказывала о тебе. — Мальчик покраснел и пробормотал что-то нечленораздельное.

Каролина напряглась.

— Я слышала, что она была здесь. — Она выдавила улыбку и добавила с притворным лукавством: — Зря вы потворствуете моей маме. У неё и без того скверный характер.

— А я от неё в восторге, — ответила я, не отрывая взгляда от мальчика. — Интересная женщина. И *очень* умна.

— Для своего возраста, — заметила Каролина.

— Для любого возраста, — парировала я.

— Возможно, так кажется тем, кто её не знает, — сдержанно отвечала Каролина. — Но родные... — Она сверкнула в мою сторону холодной улыбкой. — Поймите правильно: моей маме очень много лет, — стала объяснять она. — Ум её уже не тот, что прежде. Она воспринимает действительность... — Она нервно взмахнула рукой. — Впрочем, что я вам объясняю?

— Вы правы, — вежливо согласилась я. — В конце концов, это не моё дело. — Я увидела, как Каролина прищурилась, уловив колкость в моей реплике. Пусть она и была ханжой, но от отсутствия ума не страдала.

— Я хотела сказать... — Она замешкалась. На секунду мне

показалось, что я заметила иронию в глазах её сына, но не исключено, что мне это просто почудилось. — Дело в том, что моя мама не всегда понимает, что для неё хорошо, а что плохо. — Она быстро овладела собой, на её губах вновь заиграла безукоризненная улыбка, столь же ослепительная, как и её накрашенные волосы. — Ваш магазин, например.

Я кивком попросила её продолжать.

— У мамы диабет, — объяснила Каролина. — Врач постоянно предупреждает её, чтобы она придерживалась бессолевой диеты. Но она не слушает. И лечиться не желает. — Она торжествующе взглянула на сына. — Вот скажите, мадам Роше, разве это нормально? Разве это поведение нормального человека? — Она опять повысила голос, в нём слышались визгливые вздорные нотки.

Её сын смущённо глянул на часы.

— *Matan*, я о-опаздываю. — Голос у него учтивый и бесстрастный. — Извините, мадам, — обратился он ко мне. — Мне пора в школу.

— Вот, возьми. Это мои фирменные пралине. За счёт магазина. — Я протянула ему скрученный целлофановый пакетик.

— Мой сын не ест шоколад, — сердито заявила Каролина. — У него слабое здоровье. Гиперфункция. Он знает, что сладкое ему вредно.

Я смотрела на мальчика. Внешне абсолютно здоровый ребёнок. Просто скучный и немного застенчивый.

— Она очень скучает по тебе, — сказала я ему. — Твоя бабушка. Зашёл бы сюда как-нибудь, повидался с ней. Она здесь часто бывает.

Блестящие глаза под длинными коричневыми ресницами на мгновение вспыхнули.

— Может, и зайду, — сдержанно отозвался он.

— У моего сына нет времени расхаживать по шоколадным, — надменно произнесла Каролина. — Мой сын — одарённый мальчик. Он знает, чем обязан своим родителям. — В её словах слышались угроза и хвастливая категоричность. Она повернулась и прошествовала мимо Люка. Тот уже стоял в дверях, покачивая ранцем.

— Люк, — тихо, но настойчиво окликнула я его. Мальчик нехотя обернулся. Не отдавая себе отчёта, я быстро шагнула к нему, мой взгляд проник под маску бесстрастной учтивости на его лице, и я увидела... увидела...

— Тебе понравился Рембо? — не раздумывая спросила я, поскольку голова шла кругом от мелькавших в воображении образов.

Он виновато потупился:

— Что?

— Рембо. Она подарила тебе на день рождения томик его стихов, верно?

— Д-да, — едва слышно ответил он, поднимая к моему лицу свои блестящие зеленовато-серые глаза. Едва заметно мотнул головой, будто предупреждая. — Правда, я н-не читал их, — громче сказал он. — Я — не л-любитель поэзии.

Книжка с загнутыми страницами, спрятанная на дне одёжного шкафа. Мальчик, с пафосом нашёптывающий себе восхитительные строчки. Приди, пожалуйста, молю я про себя. Ради Арманды, прошу тебя.

Что-то дрогнуло в его глазах.

— Мне пора.

Каролина нетерпеливо ждала его у выхода.

— Возьми, пожалуйста. — Я опять протянула ему маленький пакетик с пралине. У мальчика есть тайны. Они просятся наружу. Незаметно для матери он забрал пакетик и улыбнулся.

— Скажите ей, я приду, — произнёс он одними губами, так что мне показалось, будто я выдумала его слова. — С-скажите, что в среду, когда *т-татап* пойдёт в парикмахерскую. — И он ушёл.

Позже явилась Арманда, и я поведала ей о визите её дочери и внука. Она качала головой и тряслась от смеха, когда я пересказывала ей свой диалог с Каролиной.

— Хе-хе-хе! — Сидя в продавленном кресле с чашкой кофейного шоколада в маленькой старческой ручке, она как никогда была похожа на куколку с яблочным личиком. — Бедняжка Каро. Ишь как не любит, чтобы ей напоминали о матери. — Она с наслаждением глотнула из чашки. — Когда же она отстанет? — бурчала Арманда. — Рассказывает тебе, что мне можно, что нельзя. Диабет у меня, видите ли. Это всё её доктора напридумывали. — Она крикнула. — А я-то ведь до сих пор жива, разве нет? Я соблюдаю осторожность, ан нет, *им* этого мало. Хотят, чтобы все жили по их указке. — Она покачала головой. — Бедный мальчик. Он заикается, ты заметила?

Я кивнула.

— Заслуга его матери, — презрительно бросила Арманда. — Оставила бы его в покое — так ведь нет. Вечно его поправляет. Вечно чем-то недовольна. Только портит ребёнка. Внушила себе, что у него слабое здоровье. — Она насмешливо фыркнула. — Дала бы пожить ему в полную силу, сразу бы все болячки прошли, — решительно заявила она. — Пусть бы бегал, не думая о том, что произойдёт, если он упадёт. Ему не хватает

свободы. Не хватает воздуха.

Я сказала, что все матери опекают своих детей и это вполне естественно.

Арманда бросила на меня ироничный взгляд.

— *Это ты называешь опекой? Как омела «опекает» яблони?* — Она усмехнулась. — У меня в саду росли яблони. Так вот, омела задушила их все, одну за одной. Мерзкое растение. И ведь ничего собой не представляет — просто красивые ягодки. Слабенькое, но — боже! — до чего пронырливое! — Она глотнула из чашки. — И отравляет всё, к чему ни прикоснётся. — Арманда многозначительно кивнула. — Это и есть моя Каро. В чистом виде.

После обеда я вновь встретила Гийома. Он заглянул в шоколадную только для того, чтобы поздороваться. Задерживаться он не стал, объяснив, что направляется к киоскёру за своей подпиской. Гийом любит читать о кино, хотя кинотеатры никогда не посещает. Каждую неделю ему присылают целую кипу журналов: «Видео», «Синеклуб», «Телерама», «Фильм-экспресс». Ему принадлежит единственная в городке спутниковая антенна, и в его маленьком одиноком домике есть телевизор с большим экраном, а на стене над полками с бесчисленными видеокассетами висит видеоманитфон фирмы «Тошиба». Я отметила, что Чарли, смурной и вялый, опять сидит у хозяина на руках. Каждые несколько секунд тот ласково поглаживал пса по голове. Этот жест мне уже хорошо знаком. Гийом будто прощался со своим питомцем.

— Как он? — наконец спросила я.

— Держится молодцом, — ответил Гийом. — Ещё полон жизненных сил. — И они продолжили путь. Щуплый франтоватый мужчина крепко прижимал к себе печального пса коричневого окраса, будто от этого зависела его судьба.

Мимо прошагала Жозефина Мускат. В шоколадную она не зашла. Я была чуть разочарована, ибо надеялась ещё раз побеседовать с ней. Но она лишь на ходу бросила в мою сторону безумный взгляд и поспешила дальше, держа руки глубоко в карманах плаща. Я заметила, что лицо у неё опухшее, губы плотно сжаты, вместо глаз узкие щёлки, хотя, возможно, она просто щурилась от морозящего дождя, голова обмотана, словно бинтами, бесцветным шарфом. Я окликнула её, но она, не отвечая, прибавила шаг, будто убегала от грозящей ей опасности.

Я пожала плечами, оставив попытки задержать её. Нужно время, чтобы тот или иной человек признал тебя. А порой признания приходится добиваться всю жизнь.

Тем не менее позже, когда Анук играла в Мароде, я закрыла магазин до следующего утра и, не отдавая себе отчёта, зашагала по улице Вольных Граждан в сторону кафе «Республика» — маленького убогого заведения с мыльными разводами на окнах и начёрканным в них от руки неизменным *specialite du jour*. Неряшливый навес ещё больше затемнял его и без того сумрачное помещение, где с двух сторон от круглых столиков стояли два притихших игровых автомата. Несколько посетителей за столиками, потягивая кто кофе со сливками, кто пиво, угрюмо беседовали о разных пустяках. Пахло жирноватой пищей, приготовленной в микроволновой печи, в воздухе висела пелена сального сигаретного дыма, хотя я не заметила, чтобы в кафе кто-то курил. У открытой двери на самом видном месте желтело одно из рукописных объявлений Каролины Клэрмон. Над ним — чёрное распятие.

Я заглянула в кафе и, помедлив на пороге, вошла. Мускат находился за стойкой бара. При виде меня он расплылся в улыбке. Его взгляд почти незаметно упал на мои ноги, поднялся к груди — *хлоп, хлоп*. Глаза вспыхнули, как лампочки на внезапно заработавшем игровом автомате. Он положил ладонь на насос пивной бочки, согнув в локте одну мясистую руку.

— Что желаете?

— Кофе с коньяком, пожалуйста.

Кофе он подал мне в маленькой коричневой чашечке с двумя кубиками сахара в обёртке. Я села за столик у окна. Два старика — один с орденом Почётного легиона на потёртом лацкане — подозрительно косились на меня.

— Может, компанию тебе составить? — крикнул Мускат из-за стойки бара с самодовольной ухмылкой. — А то вид у тебя немного... *тоскливый*. Сидишь там одна, скучаешь.

— Спасибо, не надо, — вежливо отказалась я. — Вообще-то я хотела бы увидеть Жозефину. Она здесь?

Мускат глянул на меня раздражённо, настроение у него резко испортилось.

— Ах да, это ж твоя подружка, — неприветливо произнёс он. — Чуть-чуть ты опоздала. Она только что поднялась наверх, легла отдыхать. Очередная мигрень. — Он принялся с яростью начищать бокал. — Полдня шляется по магазинам, а потом весь вечер, чтоб ему пусто было, в постели валяется, когда я тут один кручусь как проклятый.

— Надеюсь, она здорова?

Он посмотрел на меня и ответил сердито:

— Разумеется. С чего ей болеть? Если б только ещё Её Чёртова Светлость почаще отрывала от кровати свою толстую задницу, тогда, пожалуй, нам удавалось бы как-то сводить концы с концами. — Кряхтя от напряжения, он запихнул в бокал обёрнутый в салфетку кулак. — Я хочу сказать... — Он энергично потрянул рукой. — Вот, посмотри вокруг. — Он глянул на меня, словно собираясь сказать что-то ещё, и вдруг устремил взгляд на дверь.

— Хе. — Я предположила, что он обращается к кому-то вне поля моего зрения. — Оглохли, что ли? Закрыто!

Мужской голос у меня за спиной ответил что-то невнятное. Мускат широко раздвинул губы в безрадостной улыбке.

— Читать, что ли, не умеете, идиоты? — Из-за стойки бара он показал на жёлтое объявление у двери. — Давайте отсюда, живо!

Желая посмотреть, что происходит, я поднялась из-за столика. У входа в кафе стояли в нерешительности пять человек — двое мужчин и три женщины. Все пятеро были мне незнакомы. Люди как люди, ничем не примечательные, просто в чём-то непохожие на местных жителей. Штаны в заплатках, грубые башмаки и выцветшие футболки безошибочно выдают в них чужаков. Мне следовало бы тотчас же признать их. Когда-то я сама была такой. В переговоры с Мускатом вступил рыжий мужчина, перетянувший лоб зелёным платком, чтобы волосы не лезли в лицо. Взгляд у него настороженный, голос демонстративно ровный.

— Мы ничего не продаём, — объясняет он. — Просто хотим купить пару бокалов пива и кофе. Мы не причиним вам неудобств.

Мускат презрительно глянул на него.

— Я же сказал: закрыто.

Одна из женщин, худенькая невзрачная девушка с проколотой бровью, потянула рыжего за рукав:

— Не надо, Ру. Давай лучше...

— Подожди. — Тот нетерпеливо стряхнул с себя её ладонь. — Ничего не понимаю. Мадам, что была здесь минуту назад... ваша жена... она намеревалась...

— *Плевать* на мою жену! — взвизгнул Мускат. — Она при фонаре двумя руками задницы своей отыскать не может! Над дверью *моё* имя, и я говорю: ка-фе за-кры-то! — Он сделал три шага вперёд из-за стойки бара и, подбоченившись, встал в проходе, словно тучный ковбой из вестерна. Я увидела желтоватый блеск костяшек его пальцев, впившихся в ремень, услышала его свистящее дыхание. Его лицо исказилось от гнева.

— Ясно. — Лицо Ру оставалось бесстрастным. Враждебным взглядом

он обвёл неспешно немногочисленных посетителей кафе. — Значит, закрыто. — Ещё один взгляд вокруг. На мгновение я встретила с ним глазами. — *Для нас* закрыто, — тихо добавил он.

— А ты не так глуп, как кажешься, — с недоброй усмешкой заметил Мускат. — Мы с прошлого раза сыты вами по горло. Больше терпеть не станем!

— Что ж, ладно. — Ру повернулся и зашагал прочь.

Мускат проводил его взглядом, расхаживая на негнувшихся ногах с напыщенным видом, словно пёс, учуявший драку.

Оставив на столике недопитый кофе, я молча прошла мимо него на улицу. Чаевых, надеюсь, он от меня не ждал.

Речных цыган я нагнала на середине улицы Вольных Граждан. Опять начал моросить мелкий дождь. Все пятеро, понурые и мрачные, плелись в сторону Марода, где стояли их суда. Теперь и я их увидела. Десять, двадцать, целая флотилия зелено-жёлто-сине-бело-красных плавучих домов. На некоторых развешивается мокрое бельё, другие разукрашены картинами на сюжеты арабских сказок, коврами-самолётами и единорогами, отражающимися в мутной зелёной воде.

— Мне жаль, что так получилось, — обратилась я к ним. — Обитатели Ланскне-су-Танн не отличаются гостеприимством.

Ру смерил меня невыразительным взглядом.

— Меня зовут Вианн, — представилась я. — Я держу *chocolaterie*. Прямо напротив церкви. «Небесный миндаль».

Он выжидающе смотрел на меня, старательно демонстрируя равнодушие, чем мгновенно напомнил мне саму себя в недалёком прошлом. Я хотела сказать ему — им всем, — что мне понятны их гнев и обида, что я тоже прошла через унижение, что они не одиноки в своём злосчастье. Но я также знала, что в этих людях глубоко укоренилось чувство собственного достоинства, и они до последнего, даже если лишатся всего, что имеют, будут выказывать никчёмный дух противоречия. В сочувствии они нуждались меньше всего.

— Заглянули бы ко мне завтра, — ненавязчиво предложила я. — Пивом я не торгую, но, думаю, мой кофе вам понравится.

Он взглянул на меня пристально, словно пытался определить, не издеваюсь ли я над ним.

— Приходите, прошу вас, — настаивала я. — Отведаете кофе с пирогом за счёт заведения. Приглашаю всех.

Худенькая девушка глянула на своих друзей и пожала плечами. Ру отвечал ей таким же телодвижением.

— Может быть, — уклончиво сказал он.

— У нас весь день расписан по минутам, — развязно пискнула девушка.

— Найдите окошко, — улынулась я.

Опять тот же оценивающий подозрительный взгляд.

— Может быть.

Они зашагали в Марод, а я смотрела им вслед. С холма ко мне бежала Анук. Полы её красного плаща развевались, словно крылья экзотической птицы.

— *Matan, tatan!* Смотри, корабли!

Какое-то время мы созерцали их с восхищением — плоские баржи, высокие плавучие дома с рифлёными крышами, железные дымовые трубы, фрески, многоцветные флаги, лозунги, нарисованные амулеты, охраняющие от несчастных случаев и кораблекрушений, маленькие барки, удочки, прикреплённые к сваям на ночь верши на речных раков, драные зонтики на палубах, загорающиеся костры в стальных цилиндрах на берегу реки. Запахло горелым деревом, бензином, жареной рыбой. Над водой понеслись звуки музыки — наигрываемый саксофоном жуткий мелодичный вой, похожий на заунывный плач. На середине Танна я различила фигуру рыжеволосого мужчины, стоящего одиноко на палубе незатейливого чёрного плавучего дома. Заметив, что я смотрю на него, он поднял руку. Я помахала в ответ.

Уже почти стемнело, когда мы отправились домой. В Мароде саксофону стал аккомпанировать барабан; его бой отражался от воды глухим эхом. Кафе «Республика» я миновала, даже не взглянув в его сторону.

Почти у вершины холма я вдруг ощутила возле себя присутствие какого-то человека. Я повернула голову и увидела Жозефину Мускат — без плаща, но в шарфе на голове, закрывавшем половину её лица. В полумраке она казалась мёртвенно-бледной. Призрачная тень, да и только.

— Беги домой, Анук. Жди меня там.

Анук с любопытством взглянула на меня, затем повернулась и послушно помчалась вниз по склону. Полы её плаща неистово трепыхались в такт её бегу.

— Я слышала про твой поступок. — Голос у Жозефины сиплый и тихий. — Ты ушла из-за речных бродяг.

— Разумеется, — кивнула я.

— Поль-Мари был в бешенстве. — Яростные нотки в её голосе сродни восхищению. — Слышала бы ты, как он тебя честил.

Я рассмеялась и сказала спокойно:

— К счастью, *мне* не приходится выслушивать бредни Поля-Мари.

— Мне теперь тоже запрещено с тобой общаться, — доложила Жозефина. — Он считает, что ты оказываешь на меня дурное влияние. — Она помолчала, глядя на меня с нервным любопытством, и добавила: — Он не хочет, чтобы у меня были друзья.

— Сдаётся мне, у Поля-Мари слишком много желаний, я только и слышу о них, — мягко заметила я. — Он меня вовсе не интересуется. А вот ты... — Я коснулась её руки. — Ты, на мой взгляд, очень интересная личность.

Жозефина покраснела и глянула в сторону, словно ожидала увидеть кого-то возле себя.

— Ничего ты не понимаешь, — пробормотала она.

— Думаю, понимаю. — Кончиками пальцев я тронула шарф, скрывающий её лицо. — Зачем ты это носишь? — внезапно спросила я. — Может, объяснишь?

Она посмотрела на меня с надеждой и страхом. Тряхнула головой. Я осторожно потянула за шарф.

— Ты ведь недурна собой, — сказала я, обнажая её лицо. — Могла бы стать красавицей.

Под нижней губой у неё я увидела свежий кровоподтёк, казавшийся синеватым в сумеречном свете. Она открыла рот, собираясь солгать. Я остановила её.

— Неправда.

— Откуда ты знаешь? — резко спросила она. — Я ведь даже не сказала...

— А тебе и не нужно ничего говорить.

Молчание. Над рекой вместе с барабанным боем разносились звонкие звуки скрипки.

— Глупо, да? — наконец заговорила она с отвращением к себе. На месте глаз у неё зияли крошечные полукруглые щёлки. — Его я никогда не виню. Разве что так, немного. Порой даже забываю, что произошло на самом деле. — Жозефина набрала полные лёгкие воздуха, словно собиралась нырнуть в воду. — Натыкаюсь на двери. Падаю с лестницы. Наступаю на грабли. — В ней клокотал истеричный смех, она захлёбывалась словами. — Он говорит, что я невезучая. Невезучая.

— А в этот раз за что? — ласково спросила я. — Из-за речных цыган? Она кивнула.

— Они не представляли никакой угрозы. Я собиралась их

обслужить. — На мгновение она повысила голос до визга. — Не понимаю, почему я всегда должна делать так, как хочет эта стерва Клэрмон! «Мы должны держаться вместе, — зло передразнила она. — Ради всеобщего спокойствия. Ради наших *детей*, мадам Мускат...» — Судорожно вздохнув, она вновь заговорила своим голосом: — Хотя обычно она даже *не здоровается со мной, встречая на улице...* воротит от меня нос, как от чумной!

Жозефина опять глубоко вздохнула, с трудом подавляя в себе вспышку ярости.

— Только и слышу: Каро то, Каро это. Я же вижу, как он смотрит на неё в церкви. Почему ты не берёшь пример с Каро Клэрмон? — Теперь она имитировала мужа, придав голосу гневные интонации подвыпившего мужчины. Ей даже удалось изобразить его манеры — выпяченный подбородок, агрессивную чванливую позу. — В сравнении с ней ты неуклюжая свинья. Она — элегантная женщина. Стильная. У неё хороший сын, лучший ученик в школе. А *ты* чем можешь похвастать, *хе?*

— Жозефина.

С истерзанным выражением на лице она повернулась ко мне.

— Извини. На мгновение я почти забыла, где...

— Знаю. — Подушечки больших пальцев на моих руках зудели от гнева.

— Ты, должно быть, считаешь меня дурой, думаешь, зачем же я живу с ним столько лет? — Голос у неё унылый, взгляд тёмный, в глазах — обида.

— Нет, я так не думаю.

— Да, я дура, — заявила Жозефина, будто и не слышала меня. — Бесхарактерная дура. Я его не люблю... даже не помню, любила ли когда-нибудь... но как подумаю, чтобы оставить его... — Она растерянно замолчала. — По-настоящему *оставить...* — повторила она тихо, с недоумением в голосе. — Нет. Это бесполезно. — Она вновь посмотрела на меня, теперь уже с непроницаемым выражением на лице, окончательно замкнувшись в себе. — Вот почему я не могу больше общаться с тобой, — произнесла она тоном безысходного смирения. — Я не могла допустить, чтобы ты мучилась догадками... ты заслуживаешь лучшего. Но дела обстоят именно так.

— Нет, — возразила я. — Ничего ещё не потеряно.

— Потеряно. — Она отчаянно, с ожесточением отбивалась от всего, что могло даровать ей поддержку и утешение. — Неужели ты не понимаешь? Я — дрянь. Воровка. Я лгала тебе. Я — воровка. Я всё время ворую!

— Да, знаю, — ласково сказала я. Открывшись друг другу, мы обрели полное взаимопонимание, засиявшее между нами, как рождественская игрушка. — Жить можно гораздо лучше, — наконец промолвила я. — Миром правит не Поль-Мари.

— Для меня как раз он — владыка мира, — упрямо заявила Жозефина.

Я улыбнулась. С таким-то упрямством, если направить его в нужное русло, она могла бы горы свернуть. И это в моих силах. Я чувствую, о чём она думает, почти физически ощущаю её мысли, вызывающие к моей помощи. Мне ничего не стоит навести в них порядок... Я нетерпеливо отмахнулась от этой идеи. Никто не дал мне права склонять её к тому или иному решению.

— Прежде тебе не к кому было податься, — сказала я. — Теперь есть.

— Правда? — В её устах это прозвучало почти как признание своего поражения.

Я не ответила. Пусть решает сама.

Несколько минут она смотрела на меня в молчании. В её глазах отражались речные огни Марода. И опять мне подумалось, что достаточно чуть-чуть преобразить её жизнь, и она бы расцвела, стала красавицей.

— Спокойной ночи, Жозефина.

Не оглядываясь, я зашагала вверх по холму, зная, что она смотрит мне вслед. Я свернула за угол и скрылась из виду, а она ещё долго стояла и смотрела туда, где я исчезла.

Глава 15

25 февраля. Вторник

Опять нескончаемый дождь. Льёт так, будто кусок неба опрокинулся, чтобы потопить в стихии лежащий внизу аквариум жизни. На площади галдят дети. В плащах и ботах, они похожи на ярких пластмассовых утят; их крики отражаются от низких облаков звонким эхом. Я работаю на кухне, вполглаза наблюдая за снующей на улице ребятнёй. Утром я разобрала витрину — убрала из-за стекла колдунью, пряничный домик и всех шоколадных зверушек, сидевших вокруг него с выражением ожидания на гладких глянцевых мордочках, а потом Анук и её друзья жевали сладкие украшения в перерывах между походами в затопленный дождём Марод.

Жанно Дру — в каждой руке по коврижке, глаза сияют — жадно наблюдает за моей вознёй на кухне. У него за спиной стоит Анук, за ней — остальные. Стена детских глаз и шёпота.

— А дальше что? — спрашивает он по-взрослому, всем своим обликом демонстрируя невозмутимость, хотя подбородок у самого измазан в шоколаде. — Что вы теперь будете делать? Что поставите в витрину?

— Это секрет, — ответила я, пожимая плечами, и продолжала, помешивая, вливать *crime de sacao* в эмалированный таз с расплавленной шоколадной глазурью.

— Нет, правда, — не унимался он. — Вы же должны что-то приготовить на Пасху. Ну, знаете. Яйца и прочее. Шоколадных курочек, кроликов, всё такое. Как в магазинах Ажена.

Я помню их из детства — парижские *chocolateries* с корзинами завёрнутых в фольгу яиц, полками, уставленными кроликами, курочками, бубенчиками, марципановыми фруктами, засахаренными каштанами, чёрным паслёном и филигранными гнёздами с печеньем и карамелью, а также сотнями разновидностей восточных миниатюр из сахарных волокон, которые скорее были бы к месту в арабских гаремах, чем на торжествах по случаю страстей Господних.

— Да, мама рассказывала мне про пасхальные сладости.

У нас никогда не хватало денег на то, чтобы купить что-нибудь из тех изящных лакомств, но у меня всегда был свой *cornet surprise* — бумажный пакет с моими собственными пасхальными подарками: монетками,

бумажными цветами, раскрашенными яркой эмалью варёными яйцами, коробочкой из папье-маше, разрисованной цветными цыплятами, зайчиками и смеющимися детьми среди лютиков, одной и той же коробочкой каждый год, в которой я старательно копила на следующий праздник крошечные шоколадки в целлофане, чтобы потом подолгу с наслаждением смаковать их одну за одной тёмными незнакомыми ночами, заставлявшими нас на пути между большими городами, смаковать, глядя на мерцающие блики неоновых вывесок, просачивающиеся сквозь щели жалюзи, и слушая в тёмной тиши медленное и, как мне казалось, вечное дыхание матери.

— А ещё она говорила, что в канун Великой пятницы колокола тайком ночью покидают свои колокольни и церковные башни и на волшебных крыльях летят в Рим.

Мальчик кивнул, скривив губы в присущей подросткам циничной усмешке, свидетельствующей о том, что он сомневается в правдивости моих слов.

— Их встречает папа римский в бело-золотых одеждах, в митре, с золочёным жезлом. И они выстраиваются перед ним в ряд — большие колокола и маленькие, *clochettes*, и *bourdons*, колокольчики и куранты, *carrillons* и *chimes*, *do-si-do-mi-sols* — и терпеливо ждут, когда он дарует им своё благословение.

Моя мать знала множество нелепых детских сказок, от которых у неё самой глаза загорались восторгом. Ей доставляли удовольствие любые выдумки и предания — про Иисуса, про Остару, про Али-Бабу, и в её сознании грубая ткань народных поверий всякий раз превращалась в сверкающую парчу занимательных историй, которые сама она принимала за непреложную истину. Исцеление с помощью магического кристалла, путешествия в астрал, похищения людей инопланетянами, самовозгорания — моя мать во всё это верила или притворялась, что верит.

— И папа до глубокой ночи благословляет их одного за другим, а тысячи опустевших колоколен Франции в ожидании их возвращения молчат до самого пасхального утра.

И я, её дочь, с вытаращенными глазёнками, внимала её пленительным апокрифам о Митре, о Бальдре Прекрасном и Осирисе, о Кецалькоатле, о летающем шоколаде и коврах-самолётах, о трёхликой богине и полной чудес хрустальной пещере Аладдина, и о пещере, в которой на третий день воскрес Иисус Христос. Аминь, абракадабра, аминь.

— И слова благословения превращаются в шоколадки самых разных форм и видов, и колокола переворачиваются, чтобы принять их в себя и

отнести домой, а потом всю ночь летят и, когда достигают своих башен и колоколен — в пасхальное воскресенье, — вновь переворачиваются и начинают звонить, делясь своей радостью...

Колокола Парижа, Рима, Кёльна, Праги. Утренний перезвон и траурный набат. Боем колоколов сопровождались любые перемены на протяжении всего периода наших скитаний. Пронзительный трезвон пасхальных колоколов до сих пор болью отзывается у меня в ушах.

— И шоколадки летят над полями и городами, а потом вываливаются из звонящих колоколов. Некоторые разбиваются при падении на землю. Но дети высоко на деревьях строят гнёзда и ловят в них падающие яйца, пралине, шоколадных курочек и кроликов, зефир и миндаль...

Жанно поворачивается ко мне. Он возбуждён, широко улыбается.

— *Клёво!*

— Вот почему на Пасху вы едите шоколад.

— *Сделайте* это! Пожалуйста, сделайте! — неожиданно с силой и благоговением в голосе произносит он.

— Что сделать? — спрашиваю я, ловко обваливая трюфели в какао-порошке.

— Ну *это!* Пасхальную сказку. Это же будет так здорово... колокола, папа римский и всё такое... Вы могли бы устроить праздник шоколада... на целую неделю... И у нас тоже были бы гнёзда... и мы ловили бы пасхальные яйца... и... — Он взволнованно умолкает и настойчиво тянет меня за рукав. — Мадам Роше... *пожалуйста...*

Анук за его спиной пристально смотрит на меня. За ней десять чумазых мордочек шевелят губами в беззвучной мольбе.

— *Grand Festival du Chocolat.* — Я раздумываю. Через месяц зацветёт сирень. Я всегда делаю для Анук гнёздышко с яйцом, на котором серебряной глазурью пишу её имя. Этот праздник мог бы стать нашим личным триумфом, наглядным свидетельством того, что городок принял нас. Идея для меня не нова, но в устах этого мальчика она звучит почти как свершившийся факт.

— Нужны афиши, — говорю я будто бы с сомнением.

— *Мы* их напишем! — первой предлагает Анук. Её лицо пылает возбуждением.

— И флаги... знамёна...

— Вымпелы...

— И Иисус из шоколада на кресте с...

— Папа римский из *белого* шоколада...

— Шоколадные барашки...

— Будем катать с горки крашеные яйца, искать сокровища...

— Пригласим всех, это будет...

— Круто!

— Так круто...

Я со смехом машу руками, призывая к молчанию. С моих ладоней летит едкая шоколадная пудра.

— Афиши за вами, — говорю я. — Остальное предоставьте мне.

Анук бросается ко мне, раскинув руки. От неё разит солью, дождём, кисловатым запахом почвы и тины, в спутанных волосах блестят капельки воды.

— Пойдёмте в мою комнату! — кричит она мне в ухо. — Можно, *tatan*, да? Скажи, что можно! Мы начнём прямо сейчас. У меня есть бумага, карандаши...

— Можно, — разрешаю я.

Спустя час витрину украшает огромный плакат — эскиз Анук в исполнении Жанно. На нём крупными неровными зелёными буквами выведено:

«НЕБЕСНЫЙ МИНДАЛЬ» ОРГАНИЗУЕТ

GRAND FESTIVAL DU CHOCOLAT.

ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ

В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ!!!

НАЛЕТАЙ, ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ!!!

Вокруг текста резвятся причудливые существа. Фигура в сутане и высокой короне, очевидно, папа римский. У ног его неряшливо наклеены вырезанные из бумаги колокола. Все они улыбаются.

Почти всю вторую половину дня я обрабатываю новую партию брикетов шоколадной глазури и украшаю витрину. Трава — толстый слой зелёной папиросной бумаги. Цветы — бумажные нарциссы и маргаритки. К оконной раме припилены поделки Анук. Скалистый склон горы сооружён из наставленных одна на другую жестяных банок из-под какао-порошка, покрашенных в зелёный цвет. Склон покрыт мятым целлофаном, изображающим наледь. Мимо въётся змейкой, убегая в долину, синяя шёлковая лента реки, на которой мирно восседают, не отражаясь в воде, плавучие дома. А внизу процессия шоколадных фигурок: кошки, собаки, кролики, кто с глазами-изюминами, кто с розовыми марципановыми ушками, хвосты из лакричника, в зубах сахарные цветочки... И мыши. Всюду, где только можно. На косогорах, в укромных уголках, даже на

палубах плавучих домов. Розовые и белые мышки из засахаренного арахиса, из шоколада всех цветов, пёстрые, отлитые под мрамор мышки из трюфелей и вишнёвого ликёра-крема, изящно подкрашенные мышки, пятнистые мышки в сахарной глазури. А над ними возвышается во всём своём великолепии Крысолов. На нём красно-жёлтый наряд, в одной руке дудочка из ячменного сахара, в другой — шляпа. У меня на кухне сотни формочек: тонкие пластмассовые — для яиц и фигурок, керамические — для рельефных изображений и шоколадных конфет с ликёром. Благодаря им я могу воссоздать любое выражение лица на полой шоколадной скорлупке, на которой потом узкой трубочкой выдавливаю волосы и прочие детали. Туловище и конечности я делаю из отдельных кусочков и скрепляю их в цельный силуэт с помощью проволоки и расплавленного шоколада... Осталось только приодеть фигурку: красный плащ из марципана, из этого же материала рубаха с поясом и шляпа с длинным пером, подметающим землю у его ног в сапогах. Мой Крысолов немного похож на Ру — такой же рыжий, в таком же нелепом наряде.

Витрина получилась привлекательной, но мне хочется ещё подзолотить её, и я, не в силах устоять перед искушением, закрываю глаза, озаряя своё творение радушным золотистым теплом. Воображаемая вывеска сверкает призывно, как огонь маяка: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Что в этом плохого? Я хочу подарить людям счастье. И я сознаю, что этим гостеприимным кличем бросаю вызов Каролине Клэрмон, стремящейся изгнать из городка скитальцев, но, довольная своим успехом, я не нахожу в том никакого вреда. Я хочу, чтобы они пришли. Со дня нашего разговора я порой мельком видела их на улице, но они вели себя, как бродячие собаки в больших городах, роющиеся в мусоре и не подпускающие к себе никого, — держались всё время настороже, ловко уклоняясь от столкновений с кем бы то ни было. Чаще мне попадался на глаза их Крысолов, или Дудочник из Гамельна, — Ру, — обычно, с коробками или пакетами продуктов, — иногда Зезет, худенькая девушка с проколотой бровью. Накануне вечером двое ребятишек пытались торговать лавандой у церкви, но Рейно их прогнал. Я окликнула детей, намереваясь позвать их к себе, но они были слишком недоверчивы, — лишь настороженно покосились на меня и со всех ног помчались с холма в Марод.

Поглощённая своими планами и украшением витрины, я потеряла счёт времени. Анук сделала на кухне бутерброды своим друзьям, и они всей гурьбой вновь исчезли в направлении реки. Я включила радио и стала напевать себе под нос, аккуратно укладывая шоколад в пирамиды. В пещере волшебной горы мерцают, словно жемчужины, несметные

сокровища: разноцветные горки кристаллического сахара, засахаренные фрукты, конфеты. За горой, укрытые от света её невидимым склоном, лежат сладости на продажу. В сущности, мне уже сегодня следует приступить к приготовлению пасхальной продукции, ведь на Пасху покупателей у меня должно прибавиться. Хорошо, что в холодном подвале есть место для хранения припасов. Нужно ещё заказать подарочные упаковки, ленты, целлофан и сопутствующие аксессуары.

В пылу работы я не сразу заметила Арманду, вошедшую в полуоткрытую дверь.

— Ну-ну, привет, — с присущей ей бесцеремонностью поздоровалась она. — Вот, захотелось опять отведать твоего фирменного шоколада, но ты, вижу, занята.

Я осторожно выбралась из витрины.

— Вовсе нет. Я ждала вас. К тому же я почти закончила, да и спина у меня разламывается.

— Что ж, если не помешаю... — Сегодня она держится иначе. Голос по-особенному бодрый, в манерах — напускная беспечность, чтобы скрыть напряжение. На ней чёрная соломенная шляпка, украшенная лентой, и плащ, тоже чёрный, но менее поношенный.

— Сегодня вы выглядите на редкость элегантно, — заметила я.

Арманда отрывисто хохотнула.

— *Такого* о себе я давненько не слышала. — Она ткнула пальцем на один из табуретов. — Как думаешь, сумею я взобраться на него, не сломав ногу?

— Давайте я вам лучше кресло из кухни принесу, — предложила я, но старушка остановила меня властным жестом.

— Чепуха! — Её взгляд был прикован к табурету. — В молодости я очень даже ловко лазила. — Она задрала длинные юбки, открыв моему взору тяжёлые ботинки и плотные серые чулки. — В основном по деревьям. Обычно залезала на них и швыряла сверху ветки на головы прохожим. Ха! — Опираясь на прилавок, она взобралась на табурет и удовлетворённо крикнула. Из-под чёрной юбки на мгновение взметнулось что-то пугающе алое.

Довольная собой, Арманда удобнее устроилась на табурете и разгладила на коленях платье, из-под которого выглядывал краешек красной нижней юбки.

— Исподнее из красного шёлка, — усмехнулась она, заметив мой удивлённый взгляд. — Наверно, думаешь, что я — старая дура. А мне нравится это бельё. Я уже так долго хожу в трауре... как только надену что-

нибудь приличное, сразу кто-то да умирает. Поэтому я, кроме чёрного, ничего теперь и не ношу. — Она посмотрела на меня со смехом. — А вот *нижнее бельё* — другое дело. — Она заговорщицки понизила голос. — По почте выписала из самого Парижа. Заплатила целое состояние. — Арманда затряслась в беззвучном смехе. — Ну что, шоколад-то будет?

Я приготовила крепкий чёрный шоколадный напиток и, памятуя о её диабете, лишь самую малость сдобрила его сахаром. Арманда, видя мою нерешительность, недовольно ткнула пальцем в предназначенную для неё чашку.

— Никаких ограничений! — распорядилась она. — Готовь, как полагается. Чтоб шоколадная стружка была, и ложечка для помешивания сахара, в общем, всё. Или ты тоже, как и все остальные, считаешь, что я выжила из ума? Разве я похожа на дряхлую старуху?

Я поспешила уверить её в обратном.

— Тогда ладно. — Она с видимым наслаждением глотнула крепкий подслащённый напиток. — Вкусно. Очень вкусно. Должно быть, бодрящий напиток, да? Так называемый стимулятор.

Я кивнула.

— Говорят, также усиливает половое влечение, — добавила Арманда, проказливо поглядывая на меня из-за чашки. — Мужчинам, что сидят в кафе, я посоветовала бы не терять бдительности. Любви все возрасты покорны! — Она пронзительно рассмеялась. Чувствовалось, что она взвинчена; её когтистые руки дрожали. Несколько раз она хваталась за свою шляпку, якобы поправляя её.

Я украдкой глянула на свои наручные часы под прилавком, но Арманда заметила моё движение.

— Не надейся, что он объявится, — бросила она. — Мой внук. Я так и так его не жду. — Но вид её свидетельствовал об обратном. Сухожилия на её горле вздулись, как у старой танцовщицы.

Мы немного посудачили о пустяках, обсудили ребячью идею о празднике шоколада — Арманда закатывалась смехом, когда я рассказывала ей об Иисусе и папе римском из белого шоколада, — поговорили о речных цыганах. Судя по всему, Арманда сама, на своё имя, заказала для них провизию. К великому негодованию Рейно. Ру предложил заплатить наличными, но она предпочла, чтобы он в благодарность залатал ей течь в крыше. Жорж Клэрмон будет в бешенстве, с озорной усмешкой доложила она.

— Он думает, будто, кроме него, мне не на кого положиться, — злорадствовала Арманда. — Такой же противный, как она, тоже вечно

скулит об упадке, о сырости. На пару хотят выжить меня из моего дома, вот к чему клонят. Хотят, чтобы я променяла свой чудесный домик на какой-нибудь мерзкий приют для престарелых, где даже в туалет нужно отпрашиваться! — возмущалась она, гневно сверкая глазами. — Ничего, я им покажу. Ру прежде был строителем, до того, как стал речным бродягой. Со своими друзьями он из моего дома конфетку сделает. И я уж лучше честно заплачу чужим, чем позволю этому недоумку чинить мою крышу бесплатно.

Дрожащими руками она опять поправила поля шляпы.

— Я вовсе его не жду.

Её слова относились отнюдь не к зятю. Я глянула на часы. Двадцать минут пятого. Уже начинало темнеть. А ведь я была так уверена... Вот к чему приводит вмешательство в чужие дела, ругала я себя. Как же просто причинить боль — себе и другим.

— Я и не думала, что он придёт, — продолжала Арманда всё тем же бодрым безапелляционным тоном. — Она уж об этом позаботилась. Растолковала ему, что к чему. — Старушка начала слезать с табурета. — Я отняла у тебя слишком много времени. Должно быть...

— М-м-мне.

Арманда резко обернулась, чудом не опрокинувшись с табурета. В дверях стоял её внук. На нём джинсы и синяя спортивная фуфайка, на голове — мокрая бейсболка. В одной руке он держит маленькую потрёпанную книжку в твёрдом переплёте. Голос тихий и робкий.

— Мне пришлось д-дождаться, когда м-мама уйдёт. Она в парикмахерской. Вернётся не раньше шести.

Арманда впилась в него взглядом. Они не коснулись друг друга, но мне показалось, будто между ними сверкнул электрический разряд. Обоими владели сложные чувства, которые мне было трудно анализировать, но я ощущала исходящие от них душевное тепло, гнев, смущение, угрызения совести... и за всем этим — притаившуюся нежность.

— Ты же вымок до нитки, — нарушила молчание я. — Пойду приготовлю тебе горячее питьё. — Я направилась на кухню. Едва я удалилась, голос мальчика вновь зазвучал — тихо и нерешительно.

— Спасибо за к-книгу, — сказал он. — Я принёс её с собой. — Он вытянул её в руке, словно белый флаг. Потрёпанный томик, как и всякая книга, которую читают и перечитывают с любовью по многу раз. Это не укрылось от внимания Арманды, и черты её смягчились.

— Прочти своё любимое стихотворение, — попросила она.

Я возилась на кухне, наливая шоколад в два высоких бокала, мешая в них сливки и ликёр «Калуа», гремя горшками и бутылками, чтобы у бабушки с внуком создалась иллюзия уединения, и слушала, как мальчик декламирует. Поначалу он читал скованно, но постепенно его голос обрёл силу и ритмичность. Слов я не различала, издалека казалось, будто он произносит то ли молитву, то ли обличительную речь.

Я отметила, что, читая стихотворение, мальчик не заикается.

Я осторожно поставила на прилавок два бокала. При моём появлении Люк умолк на полуслове, глядя на меня с вежливым недоверием из-под падающей на глаза чёлки, словно пугливый пони, прикрывающийся гривой. Он церемонно поблагодарил меня и пригубил бокал, — больше с опаской, чем с удовольствием.

— Вообще-то, мне это н-нельзя, — неуверенно произнёс он. — Мама г-говорит, у меня от ш-шоколада высыпают п-прыщи.

— А я от него, того и гляди, подохну, — сострила Арманда.

При виде выражения лица внука она рассмеялась.

— Да будет тебе, парень. Неужели ты веришь всему, что говорит твоя мать? Или она настолько промыла тебе мозги, что у тебя не осталось и крупинцы здравого смысла, унаследованного от меня?

Люк растерялся.

— Я... просто это о-она так г-говорит, — запинаясь, повторил он.

Арманда покачала головой.

— Если мне захочется послушать Каро, я попрошу её о встрече, — заявила она. — А вот тебе-то самому есть что сказать? Ты ведь умный парень, — во всяком случае, был не глуп когда-то. Ты сам что думаешь?

Люк глотнул из бокала.

— Думаю, она, возможно, преувеличивает. — Он едва заметно улыбнулся. — Ты з-здорово выглядишь.

— И, как видишь, без прыщей, — сказала Арманда.

Мальчик от неожиданности рассмеялся. Мне он так нравился больше. Его глаза выразительно зазеленели, на губах заиграла озорная улыбка, как ни странно, такая же, как у его бабушки. Он продолжал держаться скованно, но под его чопорностью я стала видеть живой ум и отточенное чувство юмора.

Люк допил шоколад, но от пирога отказался, хотя Арманда съела аж целых два куска. Следующие полчаса они мило беседовали, а я, чтобы не смущать их, сосредоточенно занималась своими делами. Раз или два я ловила на себе его взгляд, наблюдавший за мной с настороженным

любопытством, но едва я перехватывала его, мальчик тут же отводил глаза. Я предоставила их самим себе.

В половине шестого они попрощались. О следующем свидании разговора не было, но, судя по их непринуждённой манере расставания, чувствовалось, что оба подумывают об очередной встрече. Меня несколько удивило, что в них так много общего. Они вели себя одинаково, кружа друг возле друга с осторожностью друзей, воссоединившихся после долгих лет разлуки, демонстрировали одни и те же повадки, обоим был присущ прямой взгляд, оба были наделены схожестью черт — скошенными скулами и заострённым подбородком. Когда черты мальчика застывали в неподвижности, это сходство не так бросалось в глаза, но, оживляясь, он становился поразительно похож на бабушку, и главное — с его лица исчезало столь ненавистное ей выражение холодной учтивости. Глаза Арманды сияли из-под полей шляпы. Люк теперь был менее напряжён и почти не заикался; казалось, он просто чуть растягивает слова. Я заметила, что мальчик замешкался на выходе, очевидно, решая, должен ли он поцеловать бабушку. Возобладала свойственная подросткам нелюбовь к физическому выражению чувств. Он нерешительно махнул на прощание и вышел на улицу.

Арманда, покрасневшая от радости, повернулась ко мне. Мгновение её лицо светится любовью, надеждой, гордостью. Но в следующую секунду она уже овладела собой, к ней вернулась сдержанность, характерная и для её внука. Напустив на себя беспечность, она грубовато произнесла:

— Мне было очень приятно, Вианн. Пожалуй, ещё как-нибудь зайду. — Потом, глядя на меня прямо, она коснулась моей руки. — Мы встретились только благодаря тебе. Сама я никогда не придумала бы, как это сделать.

Я пожала плечами.

— Рано или поздно вы встретились бы и без моей помощи. Люк уже не ребёнок. Пора ему принимать самостоятельные решения.

— Нет, это твоя заслуга, — упрямо заявила она, качая головой. Я стояла довольно близко от Арманды и ощущала аромат её духов с запахом ландыша. — Ветер стал дуть иначе с тех пор, как ты поселилась здесь. Я и теперь ещё это чувствую. И не только я. Весь город пришёл в движение, жужжит, как улей. *Вжих!* — Она довольно хохотнула.

— Но ведь я ничего особенного не делаю, — возразила я, тоже рассмеявшись. — Живу, никого не трогаю. Продаю шоколад. Просто живу. — Я испытывала неловкость, хоть и смеялась вместе с ней.

— Это не имеет значения, — отвечала Арманда. — Твоё влияние заметно во всём. Посмотри, сколько всего изменилось: я, Люк, Каро, люди на реке... — она дёрнула головой в направлении Марода, — даже этот в своей башне из слоновой кости на той стороне площади. Все мы начали меняться. Ожили. Как старые часы, долгие годы показывавшие одно и то же время.

Её рассуждения почти в точности повторяли мои собственные мысли недельной давности. Я энергично помотала головой и сказала:

— Я тут ни при чём. Это его работа. Рейно. Не моя.

На задворках сознания внезапно, будто перевернули карту, всплыл образ: Чёрный человек в часовой башне раскручивает часовой механизм, боем извещая о переменах и выдворяя нас из города... И вместе с этой тревожной картиной возникло другое видение: старик в кровати с трубочками в носу и руках, рядом стоит Чёрный человек, то ли горя, то ли торжествуя, а у него за спиной пылает огонь...

— Это его отец? — спросила я первое, что пришло в голову. — Тот старик, которого он навещает. В больнице. Кто он?

Арманда удивлённо посмотрела на меня:

— Откуда тебе это известно?

— Иногда у меня возникают... предчувствия... в отношении некоторых людей. — Почему-то мне не хотелось признаваться, что я гадаю на шоколаде, не хотелось использовать терминологию, с которой познакомила меня мать.

— Предчувствия. — Я видела, что Арманду распирает любопытство, но она не стала пытаться меня.

— Значит, старик всё-таки *существует*? — Мне не давала покоя мысль, что я коснулась чего-то очень важного. Возможно, это нечто и есть моё оружие в моей тайной борьбе против Рейно. — Кто он? — не сдавалась я.

Арманда пожала плечами.

— Да так, тоже священник, — только и ответила она презрительно, кладя конец дальнейшим расспросам.

Глава 16

26 февраля. Среда

Утром, как всегда, я открыла магазин и увидела у входа Ру. На нём джинсовый комбинезон, волосы на затылке стянуты в хвостик. Должно быть, он ждал уже некоторое время, потому что на его волосах и плечах блестят капельки осевшего утреннего тумана. Он изобразил некое подобие улыбки и через моё плечо заглянул в шоколадную, где играла Анук.

— Привет, маленькая незнакомка, — поздоровался он с ней и улыбнулся, на этот раз по-настоящему, отчего его недоверчивое лицо на мгновение просияло.

— Входи. — Я поманила его внутрь. — Нужно было постучать. Я ведь не видела, что ты стоишь здесь.

Ру буркнул что-то с сильным марсельским акцентом и, тушуясь, нерешительно переступил порог. Двигался он с некоей странной грациозной неуклюжестью, будто стены стесняли его.

Я налила ему в высокий бокал горький шоколад, приправленный ликёром «Калуа».

— Мог бы и друзей своих привести, — беззаботно бросила я.

В ответ он пожал плечами. Я видела, что он осматривается — подозрительно, но с интересом, — отмечая каждую деталь окружающей обстановки.

— Присаживайся, — предложила я, показывая на один из табуретов у прилавка. Ру мотнул головой.

— Спасибо. — Он глотнул из бокала. — Вообще-то, я пришёл спросить, не согласитесь ли вы помочь мне. Нам. — Голос у него смущённый и одновременно сердитый. — Речь не о деньгах, — быстро добавил он, словно предупреждая мой отказ. — Мы бы за всё заплатили. У нас трудности... *организационные*.

Он бросил на меня негодующий взгляд, но было ясно, что гнев его направлен не на меня.

— Арманда... мадам Вуазен... сказала, что вы поможете.

Он стал объяснять сложившуюся ситуацию. Я слушала, не перебивая, время от времени подбадривая его кивком. Как оказалось, я ошибалась, считая его косноязычным: просто ему была глубоко ненавистна роль

просителя. Говорил Ру с сильным акцентом, но грамотно, как образованный человек. Он пообещал Арманде, что починит ей крышу, рассказывал он. Работа эта несложная, займёт дня два, не больше, однако, к несчастью, доски, краску и прочие материалы для ремонта в городе можно приобрести только у одного продавца — Жоржа Клэрмона, а тот наотрез отказался предоставить их как Ру, так и самой Арманде. Если маме нужно починить крышу, она должна обратиться за помощью к нему, а не к кучке нечистых на руку проходимцев. Ведь сам он годами просит — *умоляет*, — чтобы она позволила ему отремонтировать её дом бесплатно. Пустишь в дом цыган, и бог весть что может произойти. Исчезнут и ценности, и деньги... Уж сколько раз бывало, что пожилых женщин избивали, а то и убивали ради их скудных пожитков. Нет, это полный абсурд, как человек совестливый, он не может допустить...

— Лицемерный козёл, — зло выругался Ру. — Ведь он ничего о нас не знает, ничего! Послушать его, так все мы воры и убийцы. Я всегда плачу за себя. В жизни не попрошайничал. Всегда работаю...

— Выпей ещё шоколада, — мягко предложила я, наливая ему ещё один бокал. — Не все мыслят так, как Жорж и Каролина Клэрмон.

— Знаю. — Он стоял в агрессивной позе, скрестив на груди руки, будто защищался.

— Я иногда прошу Клэрмона починить мне что-нибудь, — продолжала я. — Скажу ему, что намерена произвести ещё кое-какие ремонтные работы в доме. Если дашь мне список необходимых материалов, я всё достану.

— Я заплачу, — вновь подчеркнул Ру, словно боялся, что его заподозрят в бесчестности. — Деньги — не проблема.

— Разумеется.

Он немного успокоился и отхлебнул шоколад, пожалуй, впервые оценив по достоинству вкус напитка. Неожиданно лицо его озарила обаятельная улыбка.

— Она очень добра к нам. Арманда, — уточнил он. — Заказала для нас провизию, лекарства для малыша Зезет. Вступилась за нас перед вашим каменнолицым священником, когда тот вновь попытался прогнать нас.

— Он не мой священник, — быстро вставила я. — В его представлении, я, как и вы, являю собой опасное зло для Ланскне. — На лице Ру отразилось удивление. — Серьёзно, — заверила я его. — Думаю, он считает, что я оказываю разлагающее влияние. Каждую ночь устраиваю шоколадные оргии, проповедуя неумеренность плоти, когда каждый порядочный человек должен находиться в постели, в одиночестве.

Его глаза такого же неопределённого оттенка, как городское небо в

дождливую погоду. Когда он смеётся, в них мерцают коварные искорки. Анук, доселе сидевшая тихо, как мышка, что было ей отнюдь не свойственно, мгновенно подхватила его смех.

— А ты разве завтракать не хочешь? — пропищала она. — У нас есть *rain au chocolat*. Круассаны у нас тоже есть, но *rain au chocolat* вкуснее.

Ру мотнул головой:

— Нет, спасибо.

Я положила на тарелочку кусок пирога и поставила перед ним.

— За счёт заведения, — сказала я. — Попробуй. Я сама пеку.

Очевидно, с моей стороны это было неосмотрительное высказывание, ибо он опять замкнулся, улыбка сошла с его лица, сменившись уже знакомым выражением напускного безразличия.

— Я в состоянии заплатить, — с вызовом отвечал он. — У меня есть деньги. — Он вытащил из кармана комбинезона горсть монет, покатавшихся по прилавку.

— Убери, — распорядилась я.

— Я же сказал: я могу заплатить, — вспыхнул он. — Я не нуждаюсь...

Я накрыла его ладонь своей. Он попытался отдёргнуть руку, но потом встретился со мной взглядом.

— Тебя никто ни к чему *не принуждает*, — ласково произнесла я, сообразив, что задела его гордость. — Я ведь сама пригласила тебя. — Он по-прежнему смотрел на меня враждебно. — Я всех угощала. Каро Клэрмон. Гийома Дюплесси. Даже Поля-Мари Муската, который выдворил тебя из своего кафе. — Я помолчала, давая ему возможность осмыслить мои слова. — И никто из них не отказался. Почему же ты считаешь себя вправе отвергнуть моё гостеприимство? Или ты какой-то особенный?

И тогда он устыдился своей вспышки. Промямлил что-то невнятно себе под нос. Потом вновь посмотрел мне в глаза и улыбнулся.

— Извини, — сказал он. — Я просто не так понял. — Помедлив сконфуженно несколько секунд, он наконец взял пирог. — Но в следующий раз я жду *тебя* в своём доме, — решительно заявил он. — И я буду глубоко оскорблён, если ты не придёшь.

Потом Ру держался дружелюбно и гораздо свободнее. Какое-то время мы говорили на нейтральные темы, но постепенно наша беседа приняла более откровенный характер. Я узнала, что Ру жил на воде вот уже шесть лет, поначалу один, потом нашёл себе спутников. Раньше он был строителем и теперь зарабатывал на жизнь, выполняя ремонтные работы, а летом и осенью убирая урожай с полей. Очевидно, к бродячему образу жизни его вынудили какие-то неприятности, но я понимала, что пытаться его

об этом не следует.

С появлением моих первых завсегдатаев он тут же собрался уходить. Гийом вежливо поприветствовал его, Нарсисс дружелюбно кивнул, но всё же мне не удалось убедить Ру остаться и поговорить с ними. Он запихнул в рот остатки своего пирога и, приняв вид надменного равнодушия, который, как ему казалось, наиболее уместен в присутствии чужих людей, покинул шоколадную.

У двери он, словно опомнившись, внезапно обернулся и сказал:

— Не забудь про приглашение. В субботу, в семь часов вечера. И маленькую незнакомку не забудь привести. — С этими словами он вышел прежде, чем я успела поблагодарить его.

Гийом дольше обычного пил свой бокал шоколада. Нарсисса сменил Жорж, затем Арнольд пришёл купить три трюфеля, пропитанные шампанским, — он всегда покупал три трюфеля со вкусом шампанского и при этом виновато тупился, скрывая собственное нетерпение, — а Гийом всё сидел и сидел на своём обычном месте, и с лица его не сходило тревожное выражение. Несколько раз я пыталась разговорить его, но он вежливо отделялся односложными фразами, думая о чём-то своём. Под его табуретом неподвижно лежал вялый Чарли.

— Вчера я беседовал с кюре Рейно, — наконец произнёс Гийом, да так неожиданно, что я вздрогнула. — Спросил его, как поступить с Чарли.

Я вопросительно взглянула на него.

— Ему это трудно понять, — продолжает Гийом, как всегда, негромко, но внятно. — Он думает, я упрямлюсь, отказываясь слушать ветеринара. Хуже того, он считает меня глупцом. В конце концов, Чарли ведь не человек. — Он замолчал. Я слышу, как он тяжело сглатывает, пытаясь совладать со своим горем.

— Что, он совсем плох?

Ответ я уже знаю. Гийом смотрит на меня печально:

— Да.

— Понятно.

Гийом машинально нагнулся и почесал у Чарли за ухом. Пёс безучастно взмахнул хвостом и тихо заскулил.

— Хороший пёс. — Гийом смущённо улыбнулся мне. — Кюре Рейно неплохой человек. Он не хотел быть жестоким со мной. Но сказать так... в таких выражениях...

— Что он сказал?

Гийом пожал плечами.

— Что я из-за своего пса стал всеобщим посмешищем. Что ему всё равно, как я живу, но нужно быть круглым идиотом, чтобы нянчиться с собакой, будто это дитя малое, и тратить деньги на бесполезное лечение.

Во мне заклокотал гнев.

— Какая мерзость!

Гийом покачал головой.

— Просто ему трудно это понять, — повторил он. — Он не любит животных. А мы с Чарли уже так давно вместе...

У него на глаза навернулись слёзы, и он, чтобы скрыть их, резко потряхнул головой.

— Я иду к ветеринару. Вот только допью шоколад. — Его бокал уже двадцать минут как пуст. — Ведь это не обязательно делать сегодня, правда? — В его голосе слышится отчаяние. — Он ещё довольно энергичен. И ест лучше в последнее время, я же вижу. Кто может меня заставить?

Теперь он говорит, как капризный ребёнок.

— Я пойму, когда придёт время. Пойму.

У меня нет слов, которые облегчили бы его страдания. И всё же я попыталась помочь. Я нагнулась и стада гладить Чарли. Под моими подвижными пальцами только кожа да кости. Некоторые смертельные болезни поддаются лечению. Разогревая пальцы, я осторожно ощупываю больное место, мысленно *рассматриваю* его. Опухоль увеличилась. Я понимаю, что Чарли обречён.

— Это твой пёс, Гийом, — говорю я. — Тебе виднее.

— Совершенно верно. — Его лицо на мгновение просветлело. — Лекарства снимают боль. Он больше не скулит по ночам.

Я вспомнила мать в последние месяцы её жизни. Мёртвенно-бледное лицо, обесцвеченная кожа, плоть тает с каждым днём, обнажая хрупкую красоту выпирающей кости. Лихорадочный блеск в глазах — *Флорида, дорогая, Нью-Йорк, Чикаго, Большой каньон... мы столько всего ещё не видели!* — слёзы украдкой по ночам. «Когда-то нужно остановиться, — уговаривала я её. — Это бессмысленно. Ищешь себе оправдание, ставишь перед собой краткосрочные цели, лишь бы дожить до конца недели. Потом понимаешь, что страдаешь-то прежде всего от того, что уже окончательно утратила чувство собственного достоинства. И понимаешь, что нужно сделать передышку».

Её кремировали в Нью-Йорке, пепел развеяли над гаванью. Почему-то нам всегда кажется, что мы умрём в собственной постели, в окружении близких нам людей. Забавно. Ведь зачастую случается нечто неожиданное

— и ты вдруг осознаешь, что жизнь кончена, и в панике пытаешься умчаться от смерти, хотя на самом деле едва шевелишь руками и ногами, а солнце, раскачиваясь, словно маятник, неумолимо опускается на тебя, как ты ни стараешься улизнуть из-под него.

— Будь у меня выбор, я предпочла бы такую смерть. Безболезненный укол. В присутствии доброго друга. Всё лучше, чем скончаться ночью в одиночестве или под колёсами такси на улице, где никому до тебя нет дела. — Тут я сообразила, что говорю вслух. — Прости, Гийом, — сказала я, заметив боль на его лице. — Я думала о своём.

— Ничего страшного, — тихо ответил он, выкладывая перед собой на прилавок монеты. — Я уже ухожу. — Одной рукой он взял свою шляпу, другой подобрал Чарли и вышел, горбясь больше обычного. Щуплый невзрачный человечек, несущий то ли пакет с продуктами, то ли старый плащ, а может, что-то ещё.

Глава 17

1 марта. Суббота

Я слежу за её магазином. И вынужден признаться себе, что веду наблюдение со дня её приезда. Смотрю, кто заходит туда, кто выходит, кто посещает устраиваемые там тайные сборища. Наблюдаю, как в детстве наблюдал за осиными гнёздами, — с глубоким интересом и отвращением. Поначалу они наведывались туда украдкой — в сумерках либо рано утром. Под видом обычных покупателей. Выпьют чашечку кофе, купят пакетик изюма в шоколаде для своих ребятишек. А теперь уже и не притворяются. И цыгане всюду ходят в открытую, бросая дерзкие взгляды на моё зашторенное окно. Рыжий с нахальными глазами, тощая девушка, женщина с обесцвеченными волосами, бритый араб. Она зовёт их по именам — Ру, Зезет, Бланш, Ахмед. Вчера в десять подъехал фургон Клэрмона со стройматериалами — досками, краской, смолой. Водитель молча сгрузил товар у её порога, она выписала ему чек. А потом я видел, как её приятели, ухмыляясь во весь рот, взвалили себе на плечи ящики, доски и коробки и со смехом потащили их в Марод. Одно слово, мошенница. Лгунья. Зачем-то подстрекает их. Наверняка, чтобы унизить меня. Мне ничего не остаётся, как хранить горделивое молчание и молиться о её падении. Но как же она мне мешает! Мне уже пришлось разбираться с Армандой Вуазен, закупавшей для них продукты. Но я спохватился слишком поздно. Речные цыгане успели запастись провизией на две недели. Из Ажена, стоящего выше по реке, они привозят себе хлеб, молоко. Я исхожу желчью при мысли, что они могут задержаться здесь надолго. Но как тут быть, когда в приятелях у них такие люди? Ты бы нашёл выход, *pere*. Если б только ты мог дать мне совет. Я знаю, ты не стал бы уклоняться от исполнения своего долга, даже самого неприятного.

Если б только ты сказал мне, как поступить. Хотя бы пальцами шевельнул. Или подмигнул. Хоть как-то дал знать. Дал понять, что я прощён. Нет? Ты лежишь неподвижно. Слышно лишь тяжеловесное *виш-памп* дышащего за тебя прибора, наполняющего воздухом твои атрофированные лёгкие. Я знаю, что однажды ты очнёшься, исцелённый и безгрешный, и моё имя будет первым словом, которое ты произнесёшь. Как видишь, я верю в чудеса. Я, прошедший огонь. Искренне верю.

Сегодня я решил поговорить с ней. Разумно, без взаимных упрёков, как отец с дочерью. Мне казалось, она должна понять. Наше знакомство началось не очень удачно, и я надеялся, что мы всё-таки сможем найти общий язык. Видишь, *pere*, я был готов проявить великодушие. Был готов понять. Однако, приблизившись к шоколадной, я увидел в окно, что у прилавка стоит бродяга, Ру. Его светлые глаза воззрились на меня с насмешливым презрением, типы подобные ему иначе и не смотрят. В руке бокал с каким-то питьём. Грязный комбинезон, длинные распущенные волосы. У него — вид опасного громилы, и меня на секунду охватывает тревога за эту женщину. Неужели она не сознаёт, какую угрозу навлекает на себя, общаясь с такими людьми? Неужели ей не страшно за себя, за своё дитя? Я уже хотел было пойти прочь, но тут моё внимание привлёк плакат в витрине. С минуту я делаю вид, будто рассматриваю его, а сам тайком с улицы наблюдаю за ней, за ними обоими. На ней платье из какой-то материи сочного тёмно-красного цвета, волосы распущены. До меня доносится её смех.

Я опять обратил взгляд на плакат. Он написан неровным детским почерком.

«НЕБЕСНЫЙ МИНДАЛЬ» ОРГАНИЗУЕТ
GRAND FESTIVAL DU CHOCOLAT.
ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ
В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ!

Я перечитываю текст, во мне закипает возмущение. До меня по-прежнему доносится её голос, сопровождаемый звоном стекла. Увлечённая разговором, она всё ещё не замечает меня, стоит спиной к двери, вывернув одну ступню, словно танцовщица. На ней лодочки без каблучков с маленькими бантиками, надетые на босу ногу.

ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ
В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Теперь мне всё ясно.

Должно быть, она изначально планировала это, этот праздник шоколада. Подумывала устроить его одновременно с самой священной из церковных церемоний. Наверно, вынашивала свою идею со дня карнавала, когда появилась в нашем городе, — чтобы подточить мой авторитет, высмеять проповедуемые мною каноны. Вместе со своими друзьями с реки.

Мне следовало бы тотчас же удалиться, но я был слишком зол и,

толкнув дверь, переступил порог шоколадной. Насмешливо звякнул колокольчик, объявляя о моём приходе. Она с улыбкой повернулась ко мне. Если бы минуту назад я не получил неопровержимых доказательств подлости её натуры, я мог бы поклясться, что она искренне рада мне.

— Месье Рейно.

Воздух пропитан густым возбуждающим запахом шоколада. В отличие от безвкусного порошкового шоколада, который я пробовал в детстве, этот источает сочную тёрпкость, как душистые бобы на кофейных лотках на рынке, благоухание «Амаретто» и тирамису, приятный жжёный аромат, который проникает мне в рот, вызывая обильное слюноотделение. На прилавке дымится серебряный кувшин. Я вспомнил, что не завтракал.

— Мадемуазель.

Я стараюсь говорить повелительным тоном, но гнев сжимает мне горло, и вместо праведного рёва я лишь возмущённо квакаю, как воспитанная лягушка.

— Мадемуазель Роше. — Она смотрит на меня вопросительно. — Я только что ознакомился с вашим объявлением!

— Благодарю, — говорит она. — Вам что-нибудь налить?

— Нет!

— У меня восхитительный *chococcino*, — соблазняет она, — как раз для вашего слабого горла.

— У меня не слабое горло!

— Разве? — Голос у неё притворно заботливый. — А мне показалось, вы немного хрипите. Тогда, может, *grand crime*? Или кофейный шоколад?

Усилием воли я беру себя в руки.

— Я не стану вас беспокоить, спасибо.

Рыжий возле неё тихо хохотнул и сказал что-то на своём мерзком наречии. Мой взгляд упал на его руки. На них следы краски, вьёвшейся в трещинки и линии на его ладонях и костяшках пальцев. Я встревожился. Значит, он работает? На кого? Будь это Марсель, полиция немедленно арестовала бы его за нелегальную деятельность. При обыске его судна наверняка можно обнаружить достаточно вещественных доказательств — наркотики, краденые вещи, порнографию, оружие, — чтобы надолго упрятать его за решётку. Но это Ланскне. Только очень серьёзное преступление вынудит полицию приехать сюда.

— Я ознакомился с вашим объявлением, — начал я опять, стараясь держаться с достоинством. Она смотрит на меня с выражением вежливого интереса, а в глазах искрится смех. — И должен сказать... — тут я кашлянул, поскольку в горле опять скопилась желчь, — ...должен сказать,

что вы выбрали... вы выбрали весьма неподходящее время для своего... праздника.

— Я выбрала? — невинно переспрашивает она. — Вы имеете в виду празднование Пасхи? — Она озорно улыбнулась. — Если не ошибаюсь, церковные праздники в вашей компетенции. Вам следует урегулировать этот вопрос с папой римским.

Я остановил на ней холодный взгляд.

— Думаю, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду.

Опять тот же вежливый вопросительный взгляд.

— Праздник шоколада. Приглашаются все. — Во мне, словно кипящее молоко, поднимается неукротимый гнев. Я ослеплён яростью, на мгновение теряю контроль над собой. С осуждением тыкаю в неё пальцем. — Я догадываюсь, зачем вы всё это затеяли.

— Позвольте предположить. — Голос у неё мягкий, заинтересованный. — Это враждебный выпад против вас лично. Злостная попытка расшатать устои католической церкви. — Она вдруг визгливо рассмеялась. — Боже упаси, чтобы шоколадная на Пасху торговала пасхальными яйцами. — Голос у неё дрожащий, почти испуганный, хотя мне не ясно, чего она боится. Рыжий пялится на меня свирепым взглядом. Она перевела дух, страх, как мне показалось, мимолётно отразившийся на её лице, исчез под маской невозмутимости. — Я уверена, здесь достаточно места для нас обоих, — ровно произносит она. — А вы ещё не передумали? Может, всё-таки выпьете чашку шоколада? Я могла бы объяснить, что...

Я остервенело тряхнул головой, будто пёс, которого донимают осы. Её спокойствие бесит меня. Я слышу в голове какое-то гудение, помещение закачалось перед глазами. Сливочный запах шоколада сводит меня с ума. Все мои чувства вдруг обострились до предела: я ощущаю аромат её духов, ласкающий аромат лаванды, тёплое пряное благоухание её кожи. Мне также бьют в нос смрад болот, одуряющая смесь мускуса, моторного масла, пота и краски, исходящие от её рыжего приятеля, стоящего чуть поодаль.

— Я... нет... я...

Как это ни ужасно, я забыл всё, что намеревался сказать. Что-то об уважении, кажется, об обществе. О том, что мы должны действовать заодно, о добродетельности, порядочности, о нравственных принципах. Но у меня кружилась голова, и я просто хватал ртом воздух.

— Я... я...

Мне не даёт покоя мысль, что это она наслала на меня порчу, проникла в моё сознание и по ниточке выдёргивает из меня разум... Она наклоняется

ко мне, изображая участие. Её запах вновь бьёт мне в нос.

— Вам плохо? — Я слышу её голос будто издалека. — Месье Рейно, вам плохо?

Дрожащими руками я отталкиваю её.

— Это ничего. — Наконец-то ко мне вернулся дар речи. — Просто... дурно стало. Ничего. Всего хорошего. — Нетвёрдой походкой я слепо иду к выходу. По лицу мне полоснуло красное саше, свисающее с дверного косяка. Ещё одно свидетельство её идолопоклонства. Я не могу избавиться от мысли, что именно эта нелепая вещичка — связанные воедино травы и кости — вызвала у меня недомогание, помутила мой рассудок. Шатаюсь, я вываливаюсь на улицу, набираю полные лёгкие воздуха.

Едва на голову мне упали капли дождя, разум сразу просветлел, но я продолжаю идти. Всё иду и иду.

Я шёл не останавливаясь, пока не добрался до тебя, *mon pere*. Сердце гулко колотилось, по лицу струился пот, но теперь я наконец-то чувствую, что очистился от неё. Ты чувствовал то же самое, *mon pere*, в тот день в старой канцелярии? У твоего соблазна было такое же лицо?

Одуванчики распространяются, их горькие стебли пробиваются сквозь чёрнозём, белые корни уходят вглубь, укрепляются. Скоро они зацветут. Возвращаться домой я иду берегом реки, *pere*, понаблюдаю за плавучим посёлком, который растёт с каждым днём, заполняя разлившийся Танн. Со времени нашей с тобой последней встречи лодок прибавилось. Река буквально вымощена ими; и мост не нужен, чтобы перебраться на другой берег.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ.

Так вот что она замышляет? Хочет собрать здесь бродяг, устроить вакханалию излишеств? Сколько сил мы положили на то, чтобы истребить те последние языческие традиции, *pere*, и проповедовали против них, и увещевали. Объяснили всем, что значат яйцо и заяц — живучие символы трудноискоренимого язычества. И какое-то время у нас был порядок. Но с её появлением нужно снова браться за метлу. На это раз нам бросил вызов более коварный враг. И моя паства — доверчивые глупцы — приняла её, *внимает* ей... Арманда Вуазен. Жюльен Нарсисс. Гийом Дюплесси. Жозефина Мускат. Жорж Клэрмон. В завтрашней проповеди я назову их имена и имена всех тех, кто *внимает* ей. Праздник шоколада, скажу я им, это только часть одной огромной болячки. Она водит дружбу с речными цыганами. Злостно пренебрегает нашими обычаями и ритуалами. Развращает наших детей. Налицо все признаки, скажу я им, все признаки

её коварства.

Этот её праздник обречён на провал. Даже подумать смешно, что он может состояться при наличии столь сильной оппозиции. Я буду читать проповеди против него каждое воскресенье. Буду называть имена её помощников и молиться об их спасении. Цыгане уже посеяли смуту в городе. Мускат жалуется, что своим присутствием они распугали его клиентуру. Из их становища постоянно несутся шум, музыка. Марод превратился в плавучие трущобы. Река загрязнена бензином и мусором. А его жена, я слышал, приветила их. К счастью, Мускат не робкого десятка. Клэрмон рассказывал, на прошлой неделе он живо отправил их восвояси, когда те посмели переступить порог его кафе. Видишь, *pere*, при всей их бравате они обычные трусы. Мускат перекрыл тропинку, ведущую из Марода, чтобы они не шастали мимо. При мысли о том, что они могут учинить насилие, меня пробирает дрожь ужаса, *pere*, но, с другой стороны, это было бы и к лучшему. Тогда я смог бы вызвать сюда полицию из Ажена. Пожалуй, переговорю ещё раз с Мускатом. Он придумает, как поступить.

Глава 18

1 марта. Суббота

Судно Ру — ближайшее к берегу, пришвартовано чуть поодаль от остальных, напротив дома Арманды. На носу развешены бумажные фонарики, похожие на светящиеся фрукты. Марод встретил нас острым запахом жареной пищи, готовящейся на берегу реки. Окна Арманды с видом на реку распахнуты настежь, на воду неровными бликами падает льющийся из дома свет. Меня поразило отсутствие мусора, поразило, с какой тщательностью все отходы сгребаются в металлические контейнеры, где потом сжигаются. На одной из лодок дальше по реке зазвучала гитара. Ру сидел на небольшом пирсе и смотрел на воду. Возле него уже собралась маленькая группка людей. Я узнала Зезет, девушку по имени Бланш, араба Махмеда. Рядом кто-то готовил пищу на переносной жаровне, в которой пылали угли.

Анук тотчас же побежала к костру. Я услышала, как Зезет ласково предупредила её:

— Осторожно, детка, не обожгись.

Бланш протянула мне кружку с тёплым пряным вином.

— Попробуй.

Улыбаясь, я беру вино. Оно приятное, с острым привкусом лимона и мускатного ореха, и до того крепкое, что я едва не поперхнулась. Впервые за многие недели ночь выдалась ясная, от нашего дыхания в неподвижном воздухе образуются бледные дракончики. Над рекой висит лёгкая дымка, прорежаемая тут и там огоньками с лодок.

— Пантуфль тоже хочет, — заявила Анук, показывая на кастрюлю с пряным вином.

— Пантуфль? — переспросил Ру с улыбкой.

— Это её кролик, — поспешила объяснить я. — Её... воображаемый друг.

— Я не уверен, что Пантуфлю это придётся по вкусу, — говорит он. — Может, лучше налить ему яблочного сока?

— Я спрошу у него, — сказала Анук.

Ру здесь совсем другой, более раскован. Его силуэт выделяется в отблесках пламени, когда он проверяет готовность пищи. Мне запомнились

речные раки, разделанные и запечённые на углях, сардины, молодая сахарная кукуруза, сладкий картофель, карамелизованные яблоки, обваленные в сахаре и обжаренные в кипящем масле, пышные блины, мёд. Мы ели прямо руками из оловянных тарелок, пили сидр и пряное вино. Несколько ребятишек вместе с Анук играли на берегу реки. Пришла Арманда.

— Эх, будь я моложе, — вздохнула она, грея руки над жаровней, — я бы проводила так каждую ночь. — Она взяла с угляй горячую картофелину и, чтобы остудить её, стала ловко перекидывать с ладони на ладонь. — Вот о такой жизни я мечтала в детстве. Плавучий дом, куча друзей, гулянья каждый вечер... — Она бросила на Ру сардонический взгляд и заявила: — Пожалуй, я убежала бы с тобой. Рыжие мужчины всегда были моей слабостью. Может, я и стара, но, клянусь, могла бы научить тебя кое-чему.

Ру усмехнулся. В этот вечер он держался без тени смущения, был добродушен, постоянно наполнял кружки вином и сидром. Чувствовалось, что ему нравится принимать гостей. Он флиртовал с Армандой, щедро осыпая её комплиментами, от которых она заливалась квакающим смехом. Анук он научил бросать в реку плоские камешки, так чтобы они скакали по воде, а потом показал нам свой дом, который содержал в опрятности и чистоте, — крошечную кухню, хранилище с запасами воды и провизии, спальню с плексигласовой крышей.

— Когда я покупал это судно, на него было жалко смотреть, — рассказывал он. — Я сделал ремонт, и теперь оно ничем не хуже обычного дома на суше. — Он смущённо улыбнулся. Так обычно улыбаются взрослые, сознаваясь в пристрастии к каким-нибудь детским забавам. — Столько труда вложил, и всё ради того, чтобы потом лежать ночью на своей койке и слушать плеск воды, смотреть на звёзды.

Анук не преминула выразить своё одобрение.

— Мне нравится твой дом, — заявила она. — Очень! — И он совсем не похож на кучу нава... нава... или как там ещё говорит мама Жанно.

— На кучу навоза, — подсказал Ру. Я быстро глянула на него. Он смеялся. — Нет, мы вовсе не такие плохие, как думают некоторые.

— А мы вообще не считаем тебя плохим! — возмутилась Анук.

Ру в ответ лишь пожал плечами.

Позже была музыка — флейта, скрипка и несколько барабанов, которыми служили жестяные банки и металлические контейнеры для мусора. Анук подыгрывала импровизированному оркестру на своей игрушечной дудке. Дети кружились в бешеном танце так близко к воде, что в конце концов их пришлось отогнать от реки на безопасное расстояние.

Часы показывали уже далеко за одиннадцать, когда мы с дочерью собрались домой. Анук валилась с ног от усталости, но уходить упорно отказывалась.

— Ты же не навсегда уходишь, — заметил Ру. — Мы будем рады видеть тебя здесь в любое время.

Я поблагодарила его и взяла Анук на руки.

— Пожалуйста. — Он устремил взгляд на склон, поднимающийся за моей спиной, и улыбка на его губах дрогнула, между бровями пролегла складка.

— Что там?

— Не знаю. Скорей всего, ничего.

Марод — тёмный район. Единственное светлое место — возле кафе «Республика», где льёт на узкую пешеходную тропинку сальный жёлтый свет один на всю округу сияющий фонарь. За кафе улица Вольных Граждан постепенно переходит в широкий яркий бульвар, обсаженный деревьями. Ру, прищурившись, по-прежнему смотрит вдаль.

— Показалось, будто кто-то идёт с холма, только и всего. Должно быть, это просто игра света. Сейчас никого не видно.

С Анук на руках я стала подниматься по склону. Вслед нам неслась нежная мелодия, наигрываемая на каллиопе. Обитатели плавучего городка продолжали веселиться. В отблесках угасающего костра вырисовывается силуэт Зезет. Она танцует на пирсе. У её ног мечется её тень. Минувя кафе «Республика», я заметила, что его дверь приоткрыта, хотя света в окнах не было. Изнутри до меня донёсся тихий стук затворяемой двери, будто за нами кто-то наблюдал. Но, возможно, это просто ветер.

Глава 19

2 марта. Воскресенье

С наступлением марта дожди кончились. Небо неприветливое, пронзительно синее в просветах между быстро плывущими облаками. Поднявшийся ночью сильный порывистый ветер беснуется на углах улиц, бьётся в окна домов. Церковные колокола, словно тоже поддавшись этой внезапной перемене, оглашают округу отчаянным звоном. Им ржавым визгом вторит скрипучий голос флюгера, вращающегося под беснующимся небосводом. Анук, играя в своей комнате, напевает песенку о ветре:

V'la l'bon vent, V'la l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma vie m'appelle.
V'la l'bon vent, V'la l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma mie m'attend^[3].

Мартовский ветер — злой ветер, говаривала моя мать. И всё же я рада ему. Он насыщает воздух запахами живицы, озона и солью далёкого моря. Хороший месяц — март: февраль отступает в заднюю дверь, на пороге передней ждёт весна. Месяц, сулящий перемены.

На протяжении пяти минут я стою одна на площади, раскинув в стороны руки. Мои волосы перебирает ветер. Плащ я забыла надеть, и моя красная юбка раздувается вокруг моих ног. Я — бумажный змей, подхваченный ветром. В мгновение ока взмываю я ввысь — поднимаюсь над церковной башней, над собой. Теряюсь на долю секунды, видя алую фигурку внизу на площади, одновременно *тут* и *там*. Запыхавшаяся, опускаюсь в себя и замечаю Рейно, глядящего на меня из высокого окна. Его глаза темны от негодования, лицо бледное — яркое солнце лишь чуть-чуть подцвечивает его кожу. Сжатые в кулаки руки он держит на подоконнике перед собой, костяшки пальцев такие же белые, как лицо.

Ветер ударил мне в голову. Я весело машу ему и возвращаюсь в магазин. Знаю, он сочтёт мой жест за вызов, но в такое утро мне всё равно. Ветер прогнал мои страхи. Я машу Чёрному человеку в его башне, и ветер с ликованием рвёт на мне юбки. Мною владеет исступление, я чего-то жду.

Перемены в природе отразились и на обитателях Ланскне. Они как будто тоже осмелели. Я смотрю, как они идут в церковь. Дети бегут, растопырив руки, словно бумажные змеи, подхваченные ветром. Заливаются яростным лаем собаки, просто так. Даже у взрослых лица раскрасневшиеся, глаза слезятся от холода. Каролина Клэрмон вырядилась в новое демисезонное пальто и новую шляпку; сын поддерживает её под локоть. Люк мимоходом глянул на меня, улыбнулся украдкой, прикрывая лицо ладонью. Жозефина, в коричневом берете, и Поль-Мари Мускат идут под ручку, как влюблённые, но у неё лицо замкнутое, взгляд вызывающий. Её муж свирепо глянул на меня через витрину и ускорил шаг, кривя губы. Мимо идёт Гийом, уже без Чарли, но на запястье одной руки у него по-прежнему болтается поводок из яркого пластика. Без своего питомца он кажется потерянным и несчастным. Арнольд посмотрел в мою сторону и кивнул. Нарсисс остановился, проверяя, как поживает герань в кадке у моей двери, — потёр один листок меж своих толстых пальцев, понюхал зелёный сок. Он хоть и суров с виду, но сладкое обожает, и я знаю, что позже он обязательно зайдёт выпить чашку кофейного шоколада с шоколадными трюфелями.

По мере того, как горожане заполняют церковь, настойчивое *дон! дон! колокола* постепенно стихает. Рейно встречает своих прихожан в открытых воротах — уже в белой сутане, руки сложены на груди, вид озабоченный. Кажется, он опять посмотрел на меня, стрельнул глазами в мою сторону через площадь и при этом чуть напрягся, но, возможно, мне просто почудилось.

Я прошла за прилавок, налила себе чашку шоколада и стала ждать окончания службы.

Служба сегодня затянулась. Полагаю, с приближением Пасхи у Рейно возросли требования. Миновало более полутора часов, прежде чем из церкви стали выходить первые люди. Нагнув головы, стараясь казаться незаметными, они торопливо шли по площади. Нахальный ветер рвал на них шарфы и праздничные куртки, бесстыдно залезал под юбки, раздувая их колоколом. Арнольд, шагая мимо шоколадной, виновато улыбнулся мне: сегодня он воздержится от трюфелей с шампанским. Нарсисс зашёл, как обычно, но был ещё менее разговорчив — вытащил газету из кармана своего твидового пальто и уткнулся в неё, потягивая из чашки. Спустя пятнадцать минут добрая половина прихожан по-прежнему оставалась в церкви, — очевидно, они ждали своей очереди в исповедальню. Я налила себе ещё шоколада. Воскресенье — растянутый день. Нужно проявить

терпение.

Неожиданно я увидела знакомую фигуру в клетчатом плаще, выскользнувшую из приоткрытых ворот церкви. Жозефина оглядела площадь и, убедившись, что она пуста, кинулась к шоколадной. При виде Нарсисса она замешкалась у двери, но потом всё же решилась войти. Руки, стиснутые в кулаки, она прижимала к животу, словно оборонялась.

— Я совсем ненадолго, — с ходу начала она. — Поль на исповеди. У меня всего пара минут. — Голос у неё резкий, настойчивый. Она тараторит: слова торопливо ложатся в ряд, как костяшки домино.

— Держись подальше от тех людей, — выпалила она. — От бродяг. Передай им, чтобы уходили. *Предостереги* их. — Её лицо дёргается от напряжения, ладони сжимаются и разжимаются.

Я смотрю на неё.

— Присядь, Жозефина. Прощу тебя. Выпей что-нибудь.

— Не могу! — Она энергично потрянула головой. Её взлохмаченные ветром волосы в беспорядке рассыпались по лицу. — Я же сказала: нет времени. Просто сделай так, как я говорю. Прощу тебя. — Она давится словами, задыхается и всё время поглядывает на ворота церкви, словно боится, что кто-нибудь увидит её со мной. — Он читал проповедь против них, — быстро и тихо произносит она. — И против тебя. Он говорил о тебе. Разные ужасы.

Я равнодушно пожала плечами:

— Ну и что? Какое мне дело?

Жозефина в отчаянии сдавила кулаками виски.

— Ты должна их предостеречь, — повторила она. — Скажи им, чтобы уходили. И Арманду тоже предупреди. Скажи ей, что сегодня в проповеди он упоминал её имя. И твоё тоже. И моё назовёт, если увидит меня здесь, и Поль...

— Я ничего не понимаю, Жозефина. Что он может сделать? И вообще, при чём тут я?

— Просто скажи им, ладно? — Она вновь затравленно глянула на церковь, из которой выходили несколько человек. — Всё, надо бежать. Мне пора. — Она направилась к двери.

— Жозефина, подожди...

Она обернулась. На её лицо жалко смотреть. Я вижу, что она вот-вот расплачется.

— Опять повторяется то же самое, — говорит она надрывным несчастным голосом. — Как только мне удаётся с кем-то подружиться, *он* немедленно вмешивается и всё портит. И теперь так же будет. Ты уедешь, а

Я...

Я шагнула вперёд, намереваясь успокоить её, но Жозефина отпрянула, отмахиваясь от меня неловким жестом.

— Не надо! Я не могу! Знаю, у тебя добрые намерения, но я... просто... я просто *не могу!* — Усилием воли она взяла себя в руки. — Пойми, я здесь живу. *Вынуждена* здесь жить. А ты — вольная птица, можешь поехать куда пожелаешь. Ты...

— И ты тоже, — мягко заметила я.

И тогда она посмотрела на меня, кончиками пальцев быстро коснулась моего плеча.

— Ты не понимаешь, — без обиды в голосе сказала она. — Ты — другая. Одно время я тоже думала, что могу стать другой.

Она повернулась. Возбуждение угасло в ней, сменившись выражением отрешённости, которое, как ни странно, даже красило её. Она опять сунула руки в карманы.

— Прости, Вианн. Я, правда, старалась. Ты не виновата. — На мгновение её черты ожили. — Предупреди людей с реки, — настаивала она. — Скажи им, чтобы они уезжали. Они тоже ни в чём не виноваты... просто я не хочу, чтобы кто-то пострадал, — тихо закончила она. — Ладно?

— Никто не пострадает, — сказала я ей, пожимая плечами.

— Вот и хорошо. — Она выдавила мучительную улыбку. — За меня не беспокойся. У меня всё хорошо. Правда. — Опять та же натянутая, мучительная улыбка. Она стала продвигаться к выходу. В её руке что-то блеснуло, и тут я заметила, что карман её плаща набит бижутерией, а меж пальцев торчат помады, компактные пудры, ожерелья и кольца.

— Держи. Это тебе, — оживлённо проговорила она, впихивая в мою ладонь горсть награбленных драгоценностей. — Бери. У меня этого добра много. — Улыбнувшись мне ослепительной чарующей улыбкой, она выскочила из шоколадной, а я стояла и смотрела, как из моей руки сыплются на пол, словно слёзы, цепочки, серьги и яркие пластмассовые безделушки в позолоте.

После обеда мы с Анук отправились гулять в Марод. В лучах весеннего солнца лагерь речных скитальцев выглядит приветливым и жизнерадостным: стёкла и краска блестят, на верёвках, натянутых между судами, полощется на ветру выстиранное бельё. Арманда сидела в кресле-качалке в своём тенистом палисаднике и смотрела на реку. Ру с Махмедом на крутом скате крыши её дома латали худые места кровельной плиткой. Я отметила, что сгнивший карниз фронтона и щипцы заменены на новые и

выкрашены в ярко-жёлтый цвет. Я махнула мужчинам в знак приветствия и присела возле Арманды на ограду палисадника. Анук убежала к реке искать своих новых приятелей, с которыми она познакомилась накануне вечером.

Вид у старушки утомлённый, лицо одутловатое под широкими полями соломенной шляпы. На коленях лежит кусок материи с незаконченной вышивкой, но видно, что она к нему не прикасалась. Арманда коротко кивнула мне, но ничего не сказала. Кресло под ней незаметно покачивается — *тик-тик-тик-тик*. На тропинке под креслом спит её кошка.

— Сегодня утром приходила Каро, — наконец произнесла она. — Полагаю, я должна чувствовать себя польщённой.

Она раздражённо вздохнула, опять закачалась. *Тик-тик-тик-тик*.

— Кем она себя возомнила? — вдруг вспыхнула Арманда. — Тоже мне Мария-Антуанетта! — Она о чём-то мрачно задумалась, раскачиваясь всё сильнее. — Всё наставляет меня: это можно, то нельзя. *Врача* своего притащила... — Она остановила на мне свой пронизывающий птичий взгляд. — Зануда противная. Всегда такой была. Вечно рассказывала сказки своему папочке. — Она хохотнула. — Как бы то ни было, характер свой она унаследовала не от меня. И близко ничего от меня нет. Не нужны мне ни доктора, ни священники. Я сама знаю, что делать.

Арманда с вызовом вскинула подбородок и закачалась ещё быстрее.

— Люк тоже с ней приходил? — спросила я.

— Нет, — мотнула она головой. — Он уехал в Ажен на шахматный турнир. — Её черты смягчились. — Она не знает, что я с ним встречалась, — с удовлетворением доложила Арманда. — И никогда не узнает. — Она улыбнулась. — Мой внук — отличный малый. Умеет держать язык за зубами.

— Я слышала, он упоминал нас с вами сегодня в церкви, — сообщила я. — Говорил, что мы являемся с нежелательными элементами, как мне передали.

Арманда фыркнула.

— В своём доме я сама себе хозяйка, — отрывисто бросила она. — Я уже говорила это Рейно. И отцу Антуану, что был до него, тоже. Но они так ничего и не поняли. Вечно талдычат одну и ту же чушь. Единство общества. Традиционные ценности. И всё в таком духе.

— Значит, подобное уже случалось? — полюбопытствовала я.

— О да. — Она энергично тряхнула головой. — Давно. Рейно тогда, наверно, было столько лет, сколько сейчас Люку. Конечно, бродяги и после у нас объявлялись, но они надолго не задерживались. До сего времени. —

Она окинула взглядом свой недокрашенный дом. — Красивый будет дом, да? — удовлетворённо произнесла она. — Ру говорит, к ночи всё доделает. — Она вдруг нахмурилась. — Я вправе давать ему работу, сколько захочу, — раздражённо заявила она. — Он — честный человек и хороший мастер. И Жорж пусть мне не указывает. Это не его дело.

Арманда взяла в руки вышивку и опять положила, не сделав ни одного стежка.

— Не могу сосредоточиться, — сердито сказала она. — Мало того, что пришлось встать ни свет ни заря из-за этих колоколов, так потом ещё Каро заявила с кислой мордой. *«Мы молимся за тебя каждый день, мамочка, — передразнила она дочь. — И ты должна понять, почему мы так волнуемся за тебя»*. О себе они волнуются, дрожат за своё положение в обществе. Стыдится собственной матери. Я постоянно напоминаю ей и всем о её происхождении.

Арманда самодовольно усмехнулась.

— Пока я жива, они знают: есть на свете человек, который помнит всё. Были у неё неприятности из-за одного парня. Кто за это заплатил, а? Да и он — Рейно, господин Непорочность... — Её глаза заблестели злорадством. — Держу пари, только я одна и жива ещё из всех тех, кто помнил *тот* давнишний случай. Вообще-то про него мало кто знал. А то большой был бы скандал, не умей я держать язык за зубами. — Она бросила на меня плутоватый взгляд. — И не смотри так на меня, девушка. Я ещё не разучилась хранить тайны. Думаешь, почему он не трогает меня? Ведь если б задался целью, мог бы такого наворотить! Каро знает. Она уже пыталась. — Арманда весело рассмеялась: *хе-хе-хе*.

— А мне казалось, Рейно не из местных, — сказала я, пытливо глядя на неё.

Арманда покачала головой:

— Мало кто помнит. Он ещё мальчишкой покинул Ланскне. Так было проще для всех. — Она помолчала, предаваясь воспоминаниям. — Но на этот раз пусть даже не пытается что-либо предпринять. Ни против Ру, ни против его друзей. — Она помрачнела, голос изменился: стал старческим, брюзгливым, больным. — Мне *нравится*, что они здесь. С ними я сразу будто помолодела. — Маленькими когтистыми руками она принялась бесцельно теревить вышивку на коленях. Кошка, дремавшая под креслом, ощутив над собой движение, поднялась и с урчанием запрыгнула хозяйке на колени. Арманда почёсывала её по голове, а та, играя, норовила цапнуть старушку в подбородок.

— Ларифлет, — промолвила Арманда. Я не сразу сообразила, что она

говорит о своей питомице. — Она у меня девятнадцать лет. По кошачьим меркам почти такая же старая, как я. — Арманда цокнула языком, обращаясь к кошке, и та заурчала громче. — Мне сказали, что у меня якобы аллергическое заболевание. Астма или что-то ещё. А я сказала, что от своих кошек ни за что не откажусь. Лучше уж задохнусь. А вот от некоторых людей могла бы отказаться, не задумываясь. — Ларифлет лениво шевелила усами. Я посмотрела в сторону реки и увидела Анук. Она играла под пирсом с двумя чёрноволосыми ребятами из плавучего посёлка. По доносящимся до меня отрывкам речи я заключила, что Анук, младшая из всех троих, у них за лидера.

— Пойдём угощу тебя кофе, — предложила Арманда. — Я как раз собиралась варить его перед твоим приходом. И для Анук лимонад найдётся.

Я сама сварила кофе в забавной маленькой кухоньке Арманды с чугунной плитой и низким потолком. Здесь идеальная чистота, но из-за того, что окно выходит на реку, освещение зеленоватое, как под водой. С тёмных некрашенных балок свисают пучки сухих трав в муслиновых саше. На белёных стенах висят на крючках медные кастрюли. Дверь, как и все двери в доме, имеет отверстие у основания, — чтобы её кошки могли свободно входить и выходить. Одна из них с высокой полочки с интересом наблюдает, как я варю кофе в эмалированной оловянной кастрюльке. Лимонад, я отметила, у Арманды не сладкий, а в сахарницу вместо сахара насыпан некий заменитель. Старушка хоть и храбрилась, но мерами предосторожности, судя по всему, не пренебрегала.

— Мерзкое пойло, — прокомментировала она беззлобно, потягивая напиток из расписанной вручную чашки. — Говорят, на вкус никакой разницы. А разница есть. — Она с отвращением поморщилась. — Это Каро приносит, когда бывает здесь. Лазает по моим шкафам. Полагаю, из добрых побуждений. Заботу проявляет.

Я сказала, что ей следует беречь своё здоровье.

Арманда фыркнула.

— Какое здоровье в моём возрасте? То одно отказывает, то другое. Так устроена жизнь. — Она глотнула горьковатый кофе. — Рембо, когда ему было шестнадцать лет, заявил, что хочет испытать в жизни всё, что только можно, и в самую полную силу. Что ж, мне без малого восемьдесят, и я прихожу к выводу, что он был прав. — Она улыбнулась, и меня вновь поразило, до чего же молоджавое у неё лицо, причём молоджавое не из-за цвета кожи или строения черепа, а благодаря некой внутренней радужности и жизнерадостности. Так выглядит человек, едва начавший открывать для

себя прелести жизни.

— Думаю, записываться в Иностранный легион вам поздновато, — с улыбкой сказала я ей. — Да и Рембо, по-моему, временами терял чувство меры.

Арманда бросила на меня проказливый взгляд.

— Совершенно верно. И я тоже не прочь предаться излишествам. Отныне я отказываюсь от всяких ограничений, буду буйствовать, наслаждаться громкой музыкой и непристойной поэзией. Буду бесчинствовать, — самодовольно заявила она.

Я рассмеялась.

— Не говорите глупостей, — с шутливой строгостью пожурела я её. — Неудивительно, что ваши близкие так расстраиваются из-за вас.

Она смеялась со мной, весело качаясь в своём кресле, но мне запомнился не её смех, а то, что скрывалось за ним — лихорадочная импульсивность и безысходность во взгляде.

И только позже, глубокой ночью, проснувшись в поту от какого-то тяжёлого полузабытого кошмара, вспомнила я, у кого видела такой взгляд.

Мы же ещё не видели Флориду, душечка. И Эверглейдс. И Флорида-Кис. А как же Диснейленд, милая? Как же Нью-Йорк, Чикаго, Большой каньон, Чайнатаун, Нью-Мексико, Скалистые горы?

Но в Арманде я не наблюдала материнского страха, она не предпринимала несмелых попыток отбиться от смерти, не была подвержена внезапным безрассудным полётам фантазии в неизвестное. В Арманде ощущались только здоровая жажда жизни и острое осознание быстротечности времени.

Интересно, что сказал ей врач сегодня утром, и понимает ли она на самом деле, сколь серьёзно её положение. Я ещё долго лежала с открытыми глазами, предаваясь размышлениям, а когда наконец забылась сном, мне пригрезилось, что я, Арманда, Рейно и Каро шествуем по Диснейленду, держась за руки, как Королева Бубен и Белый Кролик из сказки «Алиса в Стране Чудес», все в огромных белых перчатках, как в мультфильмах. У Каро на огромной голове красная корона, а Арманда зажала в каждом кулаке по сахарной вате. Откуда-то издалека донеслось гудение приближающихся нью-йоркских машин.

«О Боже, не смей это есть. Это яд!», — пронзительно взвизгнул Рейно, но Арманда, с полнейшим самообладанием на лоснящемся лице, продолжала обеими руками жадно запихивать в рот сахарную вату. Я попыталась предупредить её о надвигающемся на неё такси, но она лишь взглянула на меня и ответила голосом матери: «Жизнь — карнавал,

душечка, и с каждым годом под колёсами машин гибнут всё больше пешеходов. Это данные статистики». И она вновь принялась пожирать вату. А Рейно повернулся ко мне и злобно завизжал: «Это всё ты виновата, ты и твой праздник шоколада. — Голос у него нерезонирующий и оттого ещё более грозный. — Пока ты не объявилась, у нас всё было хорошо, а теперь все умирают, УМИРАЮТ, УМИРАЮТ, УМИРАЮТ...»

Я заслонила от него руками и прошептала: «Нет, это не я. Это вы, вы должны были это сделать, вы — Чёрный человек, вы...» Потом я опрокинулась в зеркало, вокруг меня врассыпную полетели карты. *Девятка пик, СМЕРТЬ. Тройка пик, СМЕРТЬ. Башня, СМЕРТЬ. Колесница, СМЕРТЬ.*

Я пробудилась с криком. Возле меня стоит Анук; на её сонном смуглом личике застыла тревога.

— *Матап*, что с тобой? — Она обвила меня за шею тёплыми руками. От неё пахнет шоколадом, ванилью и мирным безмятежным сном.

— Ничего. Просто приснился страшный сон. Пустяки.

Она напевает мне тихим тонким голоском, и мне кажется, будто мир перевернулся, и я растворяюсь, прячусь в ней, как наутилус в своей спирали, скручиваюсь, скручиваюсь, скручиваюсь. Я чувствую на лбу её прохладную ладонь, она прижимается губами к моим волосам.

— *Прочь, прочь, прочь*, — машинально произносит она. — *Прочь отсюда, злые духи.* Теперь всё хорошо, *матап*. Я их прогнала. — Не знаю, откуда ей известно это заклинание. Так обычно говорила моя мать, но я не помню, чтобы когда-либо учила этим словам Анук. Но она повторяет их, как давно зазубренный священный канон. Я прильнула к ней на мгновение, внезапно обессилев от любви.

— Всё у нас будет хорошо, правда, Анук?

— Конечно. — Голос у неё звонкий, взрослый и уверенный. — Иначе и быть не может. — Она кладёт головку мне на плечо и, сонная, сворачивается калачиком в моих объятиях. — Я тоже люблю тебя, *матап*.

За окном светает. На сереющем горизонте мерцает исчезающая луна. Я крепко прижимаю к себе засыпающую дочь, её кудряшки щекочут мне лицо. Это то, чего боялась моя мать? — спрашиваю я себя, прислушиваясь к гомону птиц: сначала раздалось одинокое *кра-кра*, потом зазвучал целый хор. То, от чего она бежала? Не от собственной смерти, а от тысяч крошечных пересечений своей судьбы с судьбами других людей, от разрушенных связей, прерванных знакомств, от *обязательств*? Неужели все те годы мы просто убегали от своих возлюбленных, от друзей, от случайно брошенных мимоходом слов, которые могли бы изменить течение

жизни?

Я пытаюсь вспомнить свой сон, лицо Рейно, испуганное и растерянное. *Я опоздал, опоздал.* Он тоже бежит от какого-то рока, а может, навстречу ему, навстречу некоему невообразимому жизненному сценарию, в котором невольно замешана я. Но сон делится на фрагменты, рассыпающиеся, словно колода карт по ветру. И мне трудно вспомнить, преследует ли кого-то Чёрный человек или сам находится в роли преследуемого. А может, Чёрный человек это вовсе не *он!* И вновь всплывает мордочка Белого Кролика. Он похож на испуганного ребёнка на карусели, с которой ему не терпится спрыгнуть.

— Кто же командует сменой декораций? — Запутавшись в собственных видениях, я лишь секундой позже догадалась, что прозвучавший голос принадлежал мне, что я заговорила вслух. Но, погружаясь в сон, я почти уверена, что слышу ещё один голос, очень похожий то ли на голос Арманды, то ли матери.

— *Ты командуешь, Вианн,* — тихо молвит он. — *Ты.*

Глава 20

4 марта. Вторник

Первые зелёные всходы пшеницы наделяют сельский пейзаж более сочными красками, чем те, что мы с тобой привыкли видеть здесь. Издалека кажется, что земля устелена пышной растительностью. Над колышущимися ростками петляют первые пробудившиеся трутни, отчего создаётся впечатление, будто поля дремлют. Но мы-то знаем, что через два месяца жгучее солнце иссушит зелень до стерни, почва обнажится, потрескается, покроется красной коростой, сквозь которую даже чертополох пробивается неохотно. Горячий ветер выметет то, что не уничтожило солнце, надует засуху и вместе с ней вонючую тишь, порождающую болезни. Я помню лето семьдесят пятого, *mon pere*, помню испепеляющий зной и раскалённое добела небо. В то лето бедствия осаждали нас. Сначала напозли речные цыгане — сели на мель в Мароде и своими грязными плавучими посудинами испоганили скудные остатки воды в реке. Потом вспыхнул мор, поразивший сперва их животных, затем наших. Некая форма бешенства. Глаза закатываются, ноги сводит судорогой, тело вздувается, хотя животные отказывались пить, потом обильная испарина, дрожь и смерть среди полчищ иссиня-чёрных мух. О Боже, воздух, тягучий и сладковатый, как сок гнилых фруктов, кишел этими мухами. Ты помнишь? Стояла такая невыносимая жара, что из высохших болот к реке стали стекаться на водопой отчаявшиеся дикие звери — лисы, хорьки, куницы, собаки, — изгнанные из своих обиталищ голодом и засухой. Многие из них были больны бешенством. Мы отстреливали их, едва они приближались к реке, убивали из ружей или забивали камнями. Дети и цыган тоже закидывали камнями, но те, такие же загнанные и отчаявшиеся, как и их скотина, упорно возвращались. В воздухе было сине от мух, стоял смрад гари: цыгане пытались огнём остановить болезнь. Первыми подошли лошади, затем коровы, быки, козы, собаки. Мы не подпускали бродяг к себе, отказывались продавать им продукты, воду, лекарства. Застрявшие на мелеющем Танне, они пили бутылочное пиво и тухлую воду из реки. Я помню, как наблюдал за ними из Марода, смотрел на притихшие согбенные фигурки у ночных костров, слушал чьи-то всхлипы — то ли женщины, то ли ребёнка, —

разносившиеся над тёмной водой.

Некоторые горожане, слабовольные существа — в том числе Нарсисс, — стали вести речи о милосердии. О сострадании. Но ты не дрогнул. Ты знал, что нужно делать.

На проповеди ты называл имена тех, кто отказывался оказывать содействие обществу. Мускат — старый Мускат, отец Поля, — выдворял их из своего кафе до тех пор, пока они не поняли, что лучше туда не соваться. По ночам между цыганами и нашими горожанами вспыхивали драки. Церковь подверглась осквернению. Но ты держался стойко.

И вот однажды мы увидели, как они пытаются снять свои суда с мели. Одни впряглись в лодки спереди, другие подталкивали их сзади. Грунт всё ещё был мягкий, и местами они проваливались в ил по бёдра, ища опору в склизких камнях. Заметив, что мы наблюдаем за ними, некоторые стали проклинать нас своими сиплыми грубыми голосами. Но прошло ещё две недели, прежде чем они наконец-то убрались из города, бросив на реке свои разбитые суда. Огонь, сказал ты, *mon pere*, огонь, оставленный без присмотра пьяницей и его шлюхой, которым принадлежало судно. Пламя быстро распространилось в сухом наэлектризованном воздухе, и вскоре уже пылала вся река. Трагическая случайность.

Конечно, без сплетен не обошлось; смутьяны всегда найдутся. Говорили, будто ты спровоцировал пожар своими проповедями, кивнул старому Мускату и его сыну, дом которых расположен в таком месте, откуда всё видно и слышно, однако они в ту ночь ничего не видели и не слышали. Правда, большинство горожан с уходом бродяг вздохнули с облегчением. А когда пришла зима и полили дожди, вода в Танне вновь поднялась, и река поглотила останки брошенных судов.

Сегодня утром я опять ходил туда, *pere*. Это место не даёт мне покоя. За двадцать лет оно почти не изменилось. Та же коварная застоялая тишь — предвестник опасности. Когда я проходил мимо, на грязных окнах колыхнулись занавески. Мне кажется, до меня доносился чей-то тихий смех. Сумею ли я выстоять, *pere*? Или потерплю поражение, несмотря на все мои добрые намерения?

Три недели. Три недели кошмара. Мне следовало бы очиститься от сомнений и слабостей. Но страх не покидает меня. Минувшей ночью я видел её во сне. Нет, это был не чувственный сон — я грезил о какой-то непонятной угрозе. Это потому, что она вносит сумятицу в мои мысли, *pere*. Беспорядок.

Жолин Дру говорит, что и дочь у неё такая же скверная. Носится, как

сумасшедшая, по Мароду, болтает о нелепых ритуалах и суевериях. Жолин утверждает, что девочка ни разу не была в церкви, не умеет молиться. Она завела с ней разговор о Пасхе и воскресении Христа, а та отвечала ей бессвязным бредом в духе язычников. А этот праздник, что она задумала... Её афиши развешаны в витринах всех магазинов города. Дети обезумели от возбуждения.

— Оставьте их в покое, *святой отец*, ведь детство бывает раз в жизни, — твердит мне Жорж Клэрмон. Его жена лукаво поглядывает на меня из-под выщипанных бровей.

— Я не вижу в том никакого *вреда*, — жеманно говорит она, поддакивая мужу. Подозреваю, они столь терпимы, потому что их сын проявил интерес к празднику. — К тому же всё, что способствует торжеству Пасхи...

Я не пытаюсь им объяснить. Только навлеку на себя насмешки, если буду жёстко выступать против детского праздника. Нарсисс и так уже, под гогот неблагонадёжных элементов, называет меня генералом антишоколадной кампании. Но как же меня это терзает! Допустить, чтобы она использовала церковный праздник для подрыва авторитета церкви, для подрыва моего авторитета... Я уже и так едва не ударил в грязь лицом. Больше рисковать нельзя. А её влияние с каждым днём растёт.

И немалую роль в этом играет сама её шоколадная. Полукафе, полукондитерская, она привлекает атмосферой уюта и доверительности. Дети обожают шоколадные фигурки, которые им вполне по карману. Взрослых манит царящий там едва уловимый дух греховности, располагающий к нащёптыванию секретов и обсуждению неприятностей. Некоторые семьи начали еженедельно заказывать шоколадные торты к воскресному обеду. Я вижу, как они по окончании службы выносят оттуда украшенные лентами коробки. Жители Ланскне-су-Танн никогда прежде не потребляли так много шоколада. Вчера Туанетта Арнольд ела — *ела!* — прямо в исповедальне. Я ощущал её сладкое дыхание, но вынужден был сохранять её анонимность.

— Благошлови меня, отец мой. Я шогрешила.

Я слышу, как она жуёт, слышу тихие хлюпающие звуки, издаваемые её языком от соприкосновения с зубами. Она исповедуется в пустячных грехах, но я, весь во власти нарастающего гнева, едва ли понимаю, о чём она говорит. Запах шоколада в тесном закутке с каждой секундой ощущается острее. Голос у неё отяжелел от сладкого, и я чувствую, что у меня во рту от соблазна тоже скапливается слюна. В конце концов я не выдерживаю.

— Вы что-то едите? — резко спрашиваю я.

— Нет, *pere*. — Она притворяется оскорблённой. — Как можно? И почему я...

— Я уверен, вы что-то жуёте, — громко говорю я, даже не пытаюсь понизить голос, и приподнимаюсь в тёмной кабинке, хватаясь за полочку. — За кого вы меня принимаете? За идиота? — До меня опять доносится чавканье, и мой гнев вспыхивает с новой силой. — Я *прекрасно* слышу вас, мадам, — грубо говорю я. — Или вы решили, что раз вас не видно, то и не слышно ничего?

— Святой отец, уверяю вас...

— Замолчите, мадам Арнольд, хватит лгать! — взревел я. Внезапно запах шоколада исчез, чавканье прекратилось. Вместо этого возмущённое «ох!», паническая возня. Она выскочила из кабинки и побежала прочь, скользя по паркету на высоких каблуках.

Оставшись один в исповедальне, я пытался уловить ненавистный запах, вспоминал хлюпающие звуки и то, что испытывал сам: уверенность, негодование, *праведность* своего гнева. Но по мере того, как меня обступала темнота, пропитанная ароматом благовоний и свечным дымом, а отнюдь не запахом шоколада, мной начали овладевать сомнения, моя уверенность пошатнулась. Потом, вдруг осознав всю нелепость произошедшего, я закатился безудержным смехом. Приступ веселья, обуявший меня, был столь же пугающим, сколь и неожиданным. Я был потрясён, обливался потом, живот болезненно скрутило. Внезапно мне пришла в голову мысль, что, пожалуй, только *она* одна способна в полной мере оценить весь комизм ситуации, что спровоцировало новую вспышку судорожного смеха, и я, сославшись на лёгкое недомогание, вынужден был прервать исповедь. Неровным шагом я направился к ризнице, ловя на себе недоумённые взгляды прихожан. Мне следует быть более осторожным. В Ланскне любят посплетничать.

После того случая недоразумений не возникало. Я объясняю свою вспышку в исповедальне лёгким жаром, мучившим меня накануне ночью. Разумеется, повторения подобного я не допускаю. В качестве меры предосторожности я теперь довольствуюсь ещё более скудным ужином во избежание проблем с желудком, из-за которых, возможно, у меня и случился нервный срыв. Тем не менее я ощущаю вокруг себя атмосферу неопределённости, все как будто чего-то ждут. Дети совсем ополоумели от ветра, носятся по площади, раскинув руки, кличут друг друга птичьими голосами. Взрослые тоже поддались безрассудству, мечутся от одной крайности к другой. Женщины разговаривают слишком громко, а когда я

прохожу мимо, смущённо умолкают; одни едва не плачут, другие агрессивны. Сегодня утром я попытался завести беседу с Жозефиной Мускат — она сидела у кафе «Республика», — и эта хмурая косноязычная женщина накинулась на меня с оскорблениями — глаза сверкают, голос дрожит от ярости.

— Не смейте обращаться ко мне, — зашипела она. — Вы уже сделали своё дело.

Храня собственное достоинство, я не снизошёл до ответа, иначе мог бы разгореться скандал. Она преображается на глазах — в ней появилась жёсткость, вялость в чертах исчезла, сменившись злобной сосредоточенностью в лице. Ещё одна перебежчица в стан врага.

Как же они не понимают, *mon pere*? Почему отказываются видеть, сколь пагубно влияние этой женщины? Она внесла раскол в общество, лишает нас целеустремлённости. Играет на самых затаённых недостатках и пороках человеческой натуры. Завоёвывает любовь горожан, их преданность, о чём — да поможет мне Бог! — мечтаю и я в силу собственной слабости. Своими лживыми проповедями призывает с симпатией, терпимостью и состраданием относиться к жалким бездомным отщепенцам, поселившимся на реке, чем ещё больше способствует моральному разложению общества. Оружие дьявола не зло, а наши слабости, *pere*. Уж тебе-то это известно лучше остальных. К чему мы придём, не имея глубокой веры в чистоту собственных убеждений и помыслов? На что нам надеяться? Сколько ещё ждать, прежде чем порча затронет саму церковь? Мы с тобой знаем, сколь быстро распространяется гниль. Того и гляди пойдут кампании за «богослужения для всех конфессий, в том числе и для поборников нерелигиозных убеждений», за отмену исповеди как «бессмысленной карательной меры», начнётся прославление «внутреннего „я“», и не успеют они опомниться, как вместе со своими якобы передовыми взглядами и безвредным либерализмом по тропе благих намерений отправятся прямо в ад.

Смешно, не правда ли? Ещё неделю назад я подвергал сомнению собственную веру. Был слишком занят собой, чтобы заметить симптомы. Слишком слаб, чтобы играть свою роль. И всё же в Библии ясно сказано, что мы должны делать. Сорняки и пшеница не живут на одном поле. Это подтвердит любой крестьянин.

Глава 21

5 марта. Среда

Сегодня Люк опять пришёл на встречу с Армандой. Он держится более уверенно и, хотя по-прежнему сильно заикается, раскован настолько, что время от времени позволяет себе скромные шутки, от которых и сам расплывается в глуповатой удивлённой улыбке, будто роль юмориста ему внове. Арманда выглядит замечательно. Чёрную соломенную шляпу она сменила на шарф из мокрого шёлка, щёчки розовые, как яблочки, но я подозреваю, что не хорошее настроение разругало её лицо: румянец такой же ненатуральный, как и её неестественно яркие губы. За короткое время вдвоём с внуком они обнаружили, что у них гораздо больше общего, чем они предполагали. Избавленные от назойливого присутствия Каро, они непринуждённо общаются между собой. Даже трудно поверить, что ещё неделю назад оба едва кивали друг другу на улице. Они поглощены разговором, увлечённо беседуют, понизив голоса, будто делятся секретами. Политика, музыка, шахматы, религия, регби, поэзия — они перескакивают с одной темы на другую, словно гурманы в ресторане, не оставляющие без внимания ни единого блюда. Арманда пустила в ход все свои чары, демонстрируя поочерёдно вульгарность, эрудицию, обаяние, озорство, серьёзность и мудрость.

Сомнений нет: она обольщает внука.

На этот раз первой опомнилась Арманда.

— Поздно уже, парень, — бесцеремонно перебила она мальчика. — Тебе пора домой.

Люк умолк на полуслове, всем своим видом выказывая недоумение и разочарование.

— Я... и не подозревал, что уже с-столько времени прошло. — Он продолжал сидеть бесцельно, словно не хотел уходить. — Да, наверно, нужно идти, — наконец вяло произнёс он. — Если припозднюсь, м-мама закатит скандал. Или ещё что-нибудь. Ты же знаешь, к-какая она.

На протяжении всей встречи Арманда, щадя чувства внука, мудро воздерживалась от излишне резких комментариев в адрес Каро, но сейчас, в ответ на его мягкую критику, коварно усмехнулась.

— Знаю, как не знать. Вот скажи мне, Люк, у тебя никогда не

возникает желания побунтовать... хоть чуть-чуть? — Глаза Арманды искрились смехом. — В твоём возрасте полагается бунтовать — носить длинные волосы, слушать рок-музыку, обольщать девушек и так далее. А то ведь, когда тебе стукнет восемьдесят, будешь горько жалеть о жизни, истраченной впустую.

Люк мотнул головой.

— Слишком рискованно, — коротко ответил он. — Лучше уж п-просто жить.

Арманда довольно рассмеялась.

— Значит, до следующей недели? — На этот раз он чмокнул её в щёку. — В этот же день?

— Думаю, я выберусь. — Она улыбнулась. — Кстати, завтра вечером я буду обмывать ремонт, — вдруг сказала она. — Хочу поблагодарить всех, кто чинил мне крышу. Ты тоже приходи, если хочешь.

Люк замялся в нерешительности.

— Конечно, если Каро будет против... — насмешливо протянула Арманда, задорно глядя на внука своими блестящими глазами.

— Думаю, я смогу найти предлог, — сказал Люк, приосаниваясь под её поддразнивающим взглядом. — Почему ж не повеселиться?

— Веселье тебе будет обеспечено, — оживилась Арманда. — Весь город придёт. Кроме, разумеется, Рейно и его библиолюбов. — Она глянула на него с лукавой усмешкой. — Что, по моим понятиям, большой плюс.

Мальчик прыснул от смеха и тут же виновато потупился.

— Б-библиолюбы, — повторил он. — Ты п-просто к-класс.

— Я всегда класс, — с достоинством отвечала Арманда.

— Попробую что-нибудь придумать.

Перед самым закрытием, когда Арманда допивала свой шоколад, собираясь уходить, неожиданно появился Гийом. На этой неделе он почти не заглядывал в шоколадную. Вид у него помятый, бесцветный, под полями фетровой шляпы прячутся грустные глаза. Педантичный всегда и во всём, он поприветствовал нас с присущей ему сдержанной церемонностью, но я видела, что он чем-то озабочен. Плащ на его ссутуленных плечах висит как на вешалке, будто под ним вообще нет плоти. В мелких чертах, как у обезьяны-капуцина, застыли недоумение и мука. Он пришёл без Чарли, но я опять заметила на его запястье собачий поводок. Анук с любопытством воззрилась на Гийома из кухни.

— Я знаю, вы уже закрываетесь, — отрывисто, но ясно произносит он, как хворающая невеста солдата в одном из обожаемых им английских

фильмов. — Я вас долго не задержу.

Я налила ему чашечку чёрного шоколада-эспрессо и подала на блюде с двумя штучками его любимых вафель в шоколаде. Анук, взгромоздившись на табурет, с завистью смотрит на них.

— Я не спешу, — заверила я его.

— И мне некуда спешить, — со свойственной ей прямоотой заявила Арманда. — Но, если мешаю, могу уйти.

Гийом покачал головой:

— Нет, что вы. — Свои слова он подкрепил улыбкой. — У меня нет секретов.

Я догадывалась о его несчастье, но ждала объяснений. Гийом взял одну вафельку, машинально надкусил её над ладонью, чтобы не крошить.

— Я только что похоронил Чарли, — ломким голосом сообщил он. — Под розовым кустом в моём садике. Он бы не возражал.

Я кивнула:

— Уверена, он был бы только рад. — В нос мне бьёт кислый запах почвы и мучнистой росы — запах горя. Под ногти Гийома тоже забились земля. Анук не сводит с него серьёзного взгляда.

— Бедный Чарли, — говорит она. Гийом будто и не слышал её.

— Мне пришлось усыпить его, — продолжает он. — Он уже не мог ходить и скулил всё время, пока я нёс его к ветеринару. И всю прошлую ночь скулил не переставая. Я не оставлял его ни на минуту, но уже понимал, что это конец. — Вид у Гийома виноватый, словно он стыдится своего невыразимого горя. — Глупо, конечно. Как говорит кюре, это ведь всего лишь собака. Глупо так убиваться из-за пса.

— Вовсе нет, — неожиданно встряла в разговор Арманда. — Друг есть друг. А Чарли был хорошим другом. И даже не слушайте Рейно. Он ничего в этом не понимает.

Гийом глянул на неё с благодарностью.

— Спасибо за добрые слова. — Он повернулся ко мне. — И вам спасибо, мадам Роше. На прошлой неделе вы пытались предупредить меня, но я не прислушался, не был готов. Полагаю, мне казалось, что, игнорируя все признаки, я сумею ещё долго поддерживать в Чарли жизнь.

В чёрных глазах Арманды, устремлённых на Гийома, появилось странное выражение.

— Жалкое существование в мучениях не всегда лучшая альтернатива, — мягко заметила она.

Гийом кивнул.

— Да, мне следовало раньше усыпить его. Оставить ему хоть немного

самоуважения. — На его беззащитную улыбку больно смотреть. — По крайней мере, не тянуть до прошлой ночи.

Я не знаю, как его утешить, да думаю, он и не нуждается в моих словах утешения. Ему просто хочется высказаться. Не желая оскорблять его горе штампами, я промолчала. Гийом доел вафли и опять улыбнулся — той же душераздирающей восковой улыбкой.

— Как это ни ужасно, — вновь заговорил он, — но у меня такой аппетит. Будто целый месяц не ел. Только что похоронил своего пса, а готов съесть... — Он смущённо умолк. — По-моему, это кощунство. Всё равно что есть мясо в Великую пятницу.

Арманда хохотнула и положила руку на плечо Гийому. На его фоне она кажется очень сильной и уверенной в себе.

— Пойдём со мной, — скомандовала она. — У меня есть хлеб, *rillettes* и замечательный камамбер. Ждут не дождутся, когда их съедят. Да, и вот ещё что, Вианн... — властно обратилась она ко мне, — положи мне в коробку этих своих сладостей. Вафли в шоколаде, кажется? В большую коробку.

Это, по крайней мере, в моих силах. Может, хоть сладостями утешу человека, потерявшего своего лучшего друга. Украдкой я кончиками пальцев прочертила на крышке коробки магический знак — знак, отводящий беду и сулящий удачу.

Гийом попробовал протестовать, но Арманда осадила его:

— Чепуха. — Её тон не допускал возражений, энергия была из неё через край, и Гийом, истерзанный щуплый человечек, сам того не желая, заметно приободрился. — Всё равно — что тебе делать дома? Будешь сидеть в одиночестве и горевать? — Арманда решительно тряхнула головой. — Нет уж, дудки. Давненько мне не случалось развлекать благородного мужчину. Уж не откажи в таком удовольствии. К тому же, — добавила она задумчиво, — мне нужно кое-что с тобой обсудить.

Арманда настойчиво идёт к своей цели. Для неё это дело принципа. Упаковывая коробку вафель в шоколаде, перетягивая её длинными серебристыми лентами, я наблюдаю за ними. Гийом уже отреагировал на её тепло. На его лице отражаются смущение и благодарность.

— Мадам Вуазен...

— Арманда, — поправляет она его. — Когда меня называют «мадам», я чувствую себя дряхлой старухой.

— Арманда.

Одержана ещё одна маленькая победа.

— И *это* тоже можно оставить. — Аккуратными движениями она

освобождает его запястье от поводка. Её грубоватая забота не раздражает. — Незачем таскать на себе бесполезный груз. Это ничего не изменит.

Арманда повела Гийома к выходу. В дверях она обернулась и подмигнула мне. На меня вдруг накатила волна пронзительной любви к ним обоим.

В следующую секунду они исчезли в темноте.

Спустя несколько часов мы с Анук ещё не спим. Лежим каждая в своей кровати и смотрим на медленно проплывающее в окне небо. После визита Гийома Анук весь вечер хранила серьёзность, не выказывая своей обычной безудержной жизнерадостности. Дверь между нашими спальнями она оставила открытой, и я со страхом жду неизбежного вопроса, который сама задавала себе ночами после смерти матери. Ответа на него я не знаю до сих пор. Однако этот пугающий вопрос так и не прозвучал. Но глубокой ночью, когда я уже решила, что дочь давно спит, она вдруг залезла ко мне в постель и сунула в мою ладонь свою холодную ручонку.

— *Maman?* — Она знает, что я не сплю. — Ты ведь не умрёшь, правда?

Я тихо рассмеялась в темноте и ответила с лаской в голосе:

— Все когда-нибудь умирают.

— Но ты ведь ещё долго не умрёшь? — настаивает она. — Будешь жить *много-много* лет, да?

— Хотелось бы надеяться.

— О. — Осмысливая мои слова, она удобнее устраивается на кровати, прижимается ко мне. — Мы живём дольше, чем собаки, да?

Я подтверждаю. Она вновь о чём-то задумалась.

— А где, по-твоему, теперь Чарли, *maman*?

У меня наготове много лживых объяснений, которые успокоили бы её, но сейчас я не могу ей лгать.

— Не знаю, Нану. Мне нравится думать, что все мы возрождаемся. В новом организме — не старом и не больном. А может, в птице или в дереве. Но этого никто точно не знает.

— О, — с сомнением протянула она тоненьким голоском. — Даже собаки?

— Почему бы нет?

Это красивая сказка, фантазия. Порой я увлекаюсь ею, как ребёнок своими собственными выдумками. В лице моей маленькой незнакомки вижу экспрессивные черты матери...

— Значит, мы найдём Гийому его пса, — оживляется Анук. — Прямо

завтра же. Тогда он перестанет грустить, да?

Я пытаюсь объяснить, что не всё так просто, но она настроена решительно.

— Обойдём все фермы и выясним, у каких собак есть щенята. Думаешь, мы сумеем узнать Чарли?

Я вздыхаю. Казалось бы, я уже должна привыкнуть к её замысловатой логике. Своей убеждённой она так живо напомнила мне мать, что я едва сдерживаю слёзы.

— Не знаю.

— А Пантуфль узнает, — не сдаётся она.

— Спи, Анук. Завтра в школу.

— Он узнает его. Я *точно* знаю. Пантуфль всё видит.

— Тсс.

Наконец я услышала, что её дыхание выровнялось. Спящее личико дочери обращено к окну, и я вижу на её мокрых ресницах отблеск мерцающих звёзд. Если бы только я могла быть уверена, ради неё... Но на свете нет ничего определённого. Колдовство, в которое столь безоговорочно верила моя мать, в конечном итоге не спасло её; ничего из того, что мы делали вместе, нельзя объяснить обычным совпадением. Не так всё просто, говорю я себе. Карты, свечи, благовония, заклинания — это всего лишь детский трюк, чтобы изгнать темноту. И всё же мне больно при мысли, что Анук будет огорчена. Во сне её личико так спокойно и доверчиво. Я представляю наш завтрашний бессмысленный поход в поисках щенка, в которого переселился дух Чарли, и во мне растёт возмущение. Не следовало говорить ей то, что я не способна *доказать*...

Стараясь не разбудить дочь, я осторожно соскальзываю с кровати. Голыми ногами бесшумно ступаю по гладким холодным половицам. Дверь тихо скрипнула, когда я открыла её. Анук пробормотала что-то во сне, но не проснулась. На мне лежит ответственность, убеждаю я себя. Сама того не желая, я дала обещание.

Вещи матери по-прежнему в её ящичке, упакованы в сандаловое дерево и лаванду. Карты, травы, книги, масла, ароматизированные чернила, которые она использовала для гаданий, заклинания, амулеты, кристаллы, разноцветные свечи. Я редко открываю этот ящичек, разве что свечи иногда достаю. Он источает острый запах утраченных надежд. Но ради Анук — ради Анук, так живо напоминающей мне её, — я должна попытаться. И я сама себе немного смешна. Мне следовало бы уже давно спать, набираться сил для завтрашнего нелёгкого дня. Но перед глазами неотступно стоит лицо Гийома. Слова Анук лишают сна. Опасное это дело, в отчаянии

твержу я себе. Вновь принимаясь за почти забытое ремесло, я лишь усугубляю в себе чувство исключительности, мешающее нам остаться здесь...

Некогда привычный ритуал, которым я столько лет пренебрегала, вспомнился неожиданно быстро. Очерчиваю круг — стакан воды, тарелка с солью, горящая свеча на полу... И мне сразу становится спокойней на душе, будто я возвратилась в те дни, когда всему было простое объяснение. Я сажусь на пол, скрестив ноги, закрываю глаза и искусственно замедляю дыхание.

Моя мать обожала колдовские обряды и заклинания. Я же исполняла их с неохотой. Ты слишком скованна, с насмешкой укоряла она меня. Сейчас я, наверно, испытываю те же чувства, что и она, — глаза закрыты, на пыльных подушечках пальцев её запах. Возможно, поэтому ворожба сегодня даётся мне так легко. Люди, не имеющие представления о настоящем колдовстве, полагают, что это обязательно некий вычурный церемониал. Подозреваю, по этой причине моя мать, обожавшая театральность, и превращала ритуал в пышное представление. Однако истинное чародейство — прозаичный процесс. Нужно просто сконцентрировать сознание на желаемой цели. Чуда не происходит, внезапные видения не посещают меня. Я отчётливо вижу в своём воображении пса Гийома в золотистом радушном сиянии, но в обозначенном кругу собака не проступает. Возможно, она появится завтра или послезавтра — якобы совпадение, как оранжевое кресло или высокие красные табуреты, привидевшиеся нам здесь в первую ночь. А может, никогда не появится.

Глянув на часы, лежащие на полу, я с удивлением замечаю, что уже почти половина четвёртого утра. Должно быть, я просидела дольше, чем намеревалась, ибо свеча догорает, а мои конечности застыли и онемели. Но смутная тревога исчезла, и я, по непонятной причине, чувствую себя отдохнувшей и удовлетворённой.

Я забираюсь обратно в постель — Анук уже оккупировала почти всю кровать, широко раскинув руки на подушках, — и сворачиваюсь калачиком под тёплым одеялом. Моя требовательная маленькая незнакомка будет умиротворена. Постепенно меня окутывает дрёма, и мне на секунду кажется, будто я слышу голос матери, что-то шепчущей тихо совсем рядом со мной.

Глава 22

7 марта. Пятница

Цыгане покидают город. Сегодня рано утром я прогуливался в Мароде и видел, как они собираются — укладывают верши, снимают свои бесконечные верёвки с бельём. Некоторые отплыли ночью, под покровом темноты, — я слышал, как свистят и гудят их суда, словно бросая напоследок вызов, — но большинство из суеверия дождались рассвета. В тусклых серовато-зелёных сумерках нарождающегося дня они похожи на беженцев военного времени. Бледные, как призраки, угрюмо увязывают в тюки последний хлам своего плавучего цирка. То, что ещё вечером имело вид богатых украшений, оказалось грязным выцветшим тряпьем. В воздухе висит запах гари и бензина. Хлопает парусина, тарахтят разогревающиеся двигатели. Кое-кто даже удосужился оторваться от работы и взглянуть на меня, — губы плотно сжаты, глаза сощурены. Все молчат. Ру среди оставшихся я не вижу. Возможно, он уплыл с первой партией. На реке, зарываясь в воду носами под тяжестью груза, стоят ещё около тридцати плавучих домов. Девушка по имени Зезет перетаскивает с развалившегося судна на своё какие-то почерневшие обломки. На обгорелом матрасе и коробке с журналами балансирует корзина с цыплятами. Зезет бросает на меня полный ненависти взгляд, но не произносит ни слова.

Не думай, будто мне не жалко этих людей. Я не таю на них зла, *mon pere*, но я обязан думать о своей пастве. Я не вправе тратить время на добровольные проповеди чужакам, от которых в награду наверняка услышу только насмешки и оскорбления. И всё же я не считаю себя неприступным. Любого из них, кто готов искренне покаяться, я буду рад принять в своей церкви. И они знают, что при необходимости всегда могут обратиться ко мне за советом.

Минувшей ночью я плохо спал. Я вообще плохо сплю с тех пор, как начался Великий пост. Зачастую поднимаюсь в глубокие часы, ища забыться на страницах какой-нибудь книги, или в тиши тёмных улиц Ланскне, или на берегах Танна. Минувшей ночью бессонница меня мучила больше обычного, и я, зная, что не засну, в одиннадцать часов отправился из дома прогуляться у реки. Я обошёл стороной Марод и становище бродяг и зашагал через поля к верховьям реки. Шум цыганского лагеря ясно

разносился в ночи. Оглянувшись, я увидел костры на берегу реки и на фоне их оранжевого сияния танцующие силуэты. Я посмотрел на часы и, сообразив, что гуляю уже почти час, повернул назад. У меня не было желания возвращаться через Марод, но дорога домой по полям заняла бы на полчаса дольше, а у меня от усталости кружилась голова и во всём теле чувствовалась слабость. Хуже того, холодный воздух и бессонница пробудили во мне острое чувство голода, которое, я знал, ранним утром утолю несоизмеримо лёгким завтраком, состоящим из кофе и хлеба. Только поэтому, *pere*, я пошёл через Марод: мои тяжёлые ботинки оставляют глубокие следы на глинистом берегу, моё дыхание окрашено светом цыганских костров. Вскоре я приблизился к ним настолько, что начал различать происходящее в лагере. Они там устроили некое празднество. Я увидел фонари, свечи по бортам барок, привносившие в балаганную атмосферу, как ни странно, дух религиозности. Пахло дымом и ещё чем-то мучительно вкусным, — возможно, жарящимися сардинами. И сквозь эти запахи пробивался, плывя над рекой, густой горьковатый аромат шоколада Вианн Роше. Как я сразу не догадался, что она тоже должна быть там. Если б не она, цыгане уже давно бы покинули нас. Она стоит на пирсе у дома Арманды. В своём длинном красном плаще и с распущенными волосами среди языков костров она похожа на идолопоклонницу. На секунду она поворачивается ко мне, и я вижу, как на её вытянутых ладонях вспыхивает синеватое пламя. Что-то горит у неё меж пальцев, отбрасывая фиолетовые блики на лица стоящих вокруг людей...

На мгновение я оцепенел от ужаса. В голове завихрились нелепые мысли — тайное жертвоприношение, поклонение дьяволу, сжигание заживо в дар какому-нибудь жестокому древнему богу — и я едва не убежал. Кинулся прочь, но поскользнулся в жирной грязи и, чтобы не упасть, ухватился за терновник, в зарослях которого прятался. Потом наступило облегчение. Облегчение и понимание. И вместе с тем меня обжёг стыд за собственное безрассудство, ибо в эту самую минуту она опять повернулась ко мне, и пламя в её ладонях угасло прямо на моих глазах.

— *Боже правый!* — От пережитого стресса у меня подкашивались колени. — Это же блины. Блины, сбрызнутые бренди. Только и всего. — Я задыхался от душившего меня истерического смеха и, чтобы сдержать его, вонзил кулаки в живот, который и так болел от напряжения. На моих глазах она подожгла в бренди очередную горку блинов и принялась ловко раскладывать их со сковороды по тарелкам. Горящая жидкость переливается из тарелки в тарелку, словно огни святого Эльма.

Блины.

Вот что они сделали со мной, *pere*. Я слышу — и вижу — то, чего на самом деле нет. Это она сотворила со мной такое. Она и её приятели с реки. А внешне — прямо-таки сама невинность. Лицо открытое, радостное. Голос, звучащий над водой, — она смеётся вместе со всеми, — чарующий, звонкий, полнится любовью и юмором. Я невольно задумываюсь, а как бы мой голос звучал среди тех, других, как бы звучал мой смех вместе с её смехом, и на душе вдруг становится ужасно тоскливо, холодно и пусто.

Если б только я мог, думал я. Если б только мог выйти из своего укрытия и присоединиться к ним. Есть, пить вместе с ними, — при мысли о еде, внезапно превратившейся для меня в необузданную потребность, во рту от зависти начала скапливаться слюна, — поедать блины, греться у жаровни, нежиться в тепле, источаемом её золотистой кожей...

Это ли не искушение, *pere*? Я убеждаю себя, что устоял против него, что подавил его силой внутреннего духа, что моя молитва — *прошу тебя о прошу тебя о прошу тебя о прошу тебя помилуй* — это просьба об избавлении, а не об удовлетворении желания.

Ты тоже чувствовал себя таким вот стариком? Ты молился? И когда в тот день в канцелярии ты уступил соблазну, чем было для тебя удовольствие? Наслаждением, столь же ярким и тёплым, как цыганский костёр? Или оно выразилось судорожным всхлипом изнеможения, умирающим беззвучным криком во тьме?

Я не должен был винить тебя. Человек — даже священник — не может бесконечно сдерживать свои порывы. А я тогда, будучи совсем ещё юнцом, не знал, что такое быть один на один с искушением, что такое кислый привкус зависти. Я был очень молод, *pere*. Я преклонялся пред тобой. Меня покорило не сам акт, возмутило даже не то, с кем ты его совершал, — я не мог смириться с тем простым фактом, что ты *способен* на грех. Даже ты, *pere*. И, осознав это, я понял, сколь зыбко, ненадёжно всё в этом мире. Никому нельзя доверять. Даже себе самому.

Не знаю, как долго я наблюдал за ними, *pere*. Наверно, очень долго, ибо когда я наконец шевельнулся, то не почувствовал ни рук, ни ног. Я видел в толпе Ру и его друзей, видел Бланш, Зезет, Арманду Вуазен, Люка Клэрмона, Нарсисса, араба, Гийома Дюплесси, девушку с татуировкой, толстую женщину с зелёным шарфом на голове. Там были даже дети — в основном дети речных цыган, но среди них затесались и такие, как Жанно Дру, и, разумеется, Анук Роше. Некоторые из них дремали на ходу, другие плясали у самой кромки воды или ели колбасу, завернутую в толстые ячменные блинчики, или пили горячий лимонад, сдобренный имбирём.

Моё обоняние было до того неестественно обострено, что я различал запах каждого блюда в отдельности — рыбы, запекающейся в золе жаровни, подрумяненного козьего сыра, блинов из тёмной муки и светлой, горячего шоколадного пирога, *confit de canard*, пряной уткины... Голос Арманды звучал громче всех; она смеялась, как расшалившийся ребёнок. Фонари и свечи мерцали на реке, словно рождественские огни.

В первую минуту тревожный вскрик я принял за возглас ликования. Кто-то то ли звучно гикнул, то ли хохотнул, а может, взвизгнул в истерике. Я решил, что, наверно, один из малышей упал в воду. Потом увидел пожар.

Огонь вспыхнул на ближайшей к берегу лодке, швартовавшейся на некотором удалении от пирующих. Возможно, опрокинулся фонарь, или кто-то плохо затушил сигарету, или свеча капнула на сухую парусину. Какова бы ни была причина, пламя распространялось быстро, в считанные секунды перекинувшись с крыши плавучего дома на палубу. Огненные языки, поначалу такие же прозрачно-голубые, как пламя, окутывающее сбрызнутые бренди блины, раскалялись по мере распространения, окрашиваясь в ярко-оранжевый цвет: так пылают стога сена в жаркую летнюю ночь. Рыжий, Ру, среагировал первым. Полагаю, это загорелось его судно. Пламя едва успело изменить цвет, а он уже мчался к охваченному огнём плавучему дому, перепрыгивая с лодки на лодку. Одна из женщин что-то кричала ему вслед надрывным страдальческим голосом, но он не обращал внимания. Удивительно резвый парень. За полминуты перебежал через два судна, на ходу расцепив канаты, которыми те были связаны, и пинком отогнав одно от другого, и побежал дальше. Мой взгляд упал на Вианн Роше. Она смотрела на пожар, вытянув перед собой руки. Остальные столпились на пирсе. Все молчали. Отвязанные барки, покачиваясь и поднимая рябь на реке, медленно плыли по течению. Судно Ру спасти уже было нельзя; его обугленные куски, поднятые в воздух жаром, летали над водой. Тем не менее я увидел, как Ру схватил полуобгорелый рулон брезента и попытался забить им пламя, но к огню было не подступиться: слишком жарко. На Ру загорелись джинсы и рубашка. Отшвырнув брезент, он голыми ладонями затушил на себе пламя. Прикрывая рукой лицо, предпринял ещё одну попытку добраться до каюты; громко выругался на своём непонятном наречии. Арманда что-то взволнованно кричала ему, — кажется, что-то про бензин и бензобаки.

От страха и восторга, вызывавших воспоминания о прошлом, меня пробирала приятная дрожь. Всё было как тогда — смрад горелой резины, рёв пожара, отблески... Я словно вернулся в пору ранней юности: я — подросток, ты — *pere*, и мы оба каким-то чудом оказались избавленными от

ответственности.

Спустя десять секунд Ру спрыгнул в воду с пылающего судна и поплыл назад. Несколькими минутами позже взорвался бензобак, причём ослепительного фейерверка, как я ожидал, не последовало — просто раздался глухой хлопок. Ру исчез из виду, заслонённый заскользившими по воде нитями огня. Больше не опасаясь быть замеченным, я поднялся во весь рост и вытянул шею, стараясь разглядеть его. Кажется, я молился.

Видишь, *pere*, мне не чуждо сострадание. Я переживал за него.

Вианн Роше, в мокром до подмышек красном плаще, стояла уже по пояс в медленных водах Танна и, приложив ладонь козырьком к глазам, осматривала реку. Рядом с ней по-старушечьи голосила Арманда. И когда они вытащили его, насквозь промокшего, на пирс, я испытал глубокое облегчение, мои ноги подкосились сами собой, и я упал на колени, прямо в грязь, в позе молящегося. Но я ликовал, видя их лагерь в огне. Это было грандиозное зрелище. И я радовался, как тогда в детстве, оттого что наблюдаю украдкой, оттого что *знаю*... Прячась в темноте, я чувствовал себя могущественным человеком. Мне казалось, что всё это — пожар, смятение, спасение человека — неким образом устроил я сам. Что это я своим тайным присутствием на пиршестве способствовал повторению того далёкого лета. Я, а не чудо. Чудес не бывает. Но это знамение. Знамение свыше.

Домой я пробирался крадучись, держась в тени. Один человек без труда может пройти незамеченным сквозь толпу зевак, плачущих малышей, сердитых взрослых, молчаливых бродяг, стоящих у пылающей реки, взявшись за руки, словно зачарованные дети в какой-нибудь злой сказке. Один человек... или двое.

Его я увидел, когда достиг вершины холма. Потного и ухмыляющегося. Лицо багровое от затраченных усилий, очки измазаны, рукава клетчатой рубашки засучены выше локтей. В отсветах пожарища его кожа лоснится и краснеет, словно полированная кедровая древесина. При виде меня он не выказал удивления. Просто улыбнулся. Глупой заговорщицкой улыбкой, как ребёнок, застигнутый за озорством снисходительным родителем. От него несло бензином.

— Добрый вечер, *mon pere*.

Я не осмелился ответить. Если бы ответил, наверно, взял бы на себя ответственность, а молчание, возможно, позволит её избежать. Поэтому, невольный соучастник, я нагнул голову и, прибавив шаг, молча прошёл мимо, зная, что потное лицо Муската, на котором плясали блики пожара, обращено мне вслед. Когда я наконец оглянулся, его уже на холме не было.

Оплывающая свеча. Брошенный в воду окурок, случайно угодивший в кучу дров. Выбившийся из фонаря огонь, воспламенивший блестящую бумагу, искрами осыпавшуюся на палубу. Что угодно могло вызвать пожар.

Всё, что угодно.

Глава 23

8 марта. Суббота

Утром я вновь навестила Арманду. Она сидела в кресле-качалке в своей гостиной с низким потолком. На коленях у неё лежала одна из её кошек. После пожара в Мароде она сникла. Вид у неё был болезненный и непреклонный. Её круглое, пухлое, как яблочко, личико постепенно скукоживалось, глаза и рот утопали в морщинах. На ней серое домашнее платье, на ногах — толстые чёрные чулки, гладкие прямые волосы не прибраны.

— Они уплыли, заметила? — вяло, почти с безразличием в голосе произнесла она. — Ни одного судна на реке не осталось.

— Знаю.

Я и сама ещё никак не могла оправиться от потрясения, вызванного их отъездом. Спускаясь в Марод по холму, в смятении смотрела на опустевшую реку, похожую на уродливый участок пожелтевшей травы, на котором недавно стоял шатёр передвижного цирка. От плавучего посёлка остался только корпус судна Ру — полузатопленный остов, чернеющий над илистой поверхностью Танна.

— Бланш и Зезет перебрались чуть вниз по реке. Сказали, вернутся сегодня в течение дня, посмотрят, как тут дела. — Негнущимися, как палки, пальцами она принялась заплетать в косу свои длинные седые волосы с желтоватым оттенком.

— А как себя чувствует Ру? Как он?

— Злится.

И по праву. Уж он-то знает, что пожар не был случайностью, знает, что у него нет доказательств, а если бы и были, справедливости он бы всё равно не добился. Бланш с Зезет предложили ему место на своём тесном судёнышке, но он отказался. Дом Арманды ещё не доделан, сухо объяснил он, сначала нужно закончить ремонт. Я сама не разговаривала с ним после той ночи, когда случился пожар. Видела его однажды, мельком, на берегу. Он сжигал мусор, оставленный его товарищами. Вид у него был угрюмый, неприступный, глаза красные от дыма, и, когда я обратилась к нему, он мне не ответил. Во время пожара волосы его опалились, и он коротко остриг их, так что теперь выглядел как обгорелая спичка.

— И что он намерен делать?

Арманда пожала плечами:

— Не знаю. Думаю, он ночует где-то здесь, в одном из заброшенных домов. Вчера вечером я оставила для него продукты на крыльце, утром их уже не было. И денег я ему предлагала, но он не берёт. — Она раздражённо дёрнула себя за заплетённую косу. — Упрямый болван. На что мне все эти деньги, в моём-то возрасте? Охотно поделила бы их между ним и кланом Клэрмонов. Всё равно, зная эту семейку, можно не сомневаться, что мои сбережения в скором времени перекочат в ящик для пожертвований Рейно. — Она издевательски усмехнулась. — Упёртый идиот. Рыжие все такие. Упаси господи с ними связываться. Слова им не скажи. — Она сердито затрясла головой. — Взбесился вчера и хлопнул дверью. С тех пор я его не видела.

Я невольно улыбнулась.

— Вы — два сапога пара. Не уступаете друг другу в упрямстве.

Арманда бросила на меня негодующий взгляд.

— Как ты можешь сравнивать меня с этим рыжим грубияном...

Смеясь, я сказала, что беру свои слова обратно, и добавила:

— Пойду поищу его.

Я искала его целый час на берегу Танна, но так и не нашла. Не помогли даже методы моей матери. Правда, я обнаружила место его ночлега. Дом неподалёку от Арманды, один из наименее запущенных. Стены склизкие от плесени, но верхний этаж вполне пригоден для жилья, а в некоторых окнах даже стёкла сохранились. Шагая мимо этого дома, я заметила, что его входная дверь взломана, а в камине гостиной ещё недавно пылал огонь. Были и другие признаки обитания: обугленный брезент, взятый со сгоревшего судна, груды плавника, кое-какая мебель, очевидно, брошенная за ненадобностью прежними хозяевами дома. Я окликнула Ру, но ответа не получила.

В половине девятого мне пора было открывать «Небесный миндаль», и я прекратила поиски. Если захочет, сам объявится. У шоколадной меня ждал Гийом, хотя дверь не была заперта.

— Что же вы ждёте на улице? Зашли бы внутрь, — посетовала я.

— О нет. — Он грустно усмехнулся. — Подобные вольности непозволительны.

— А вы не бойтесь рисковать, — со смехом посоветовала я ему. — Входите, угощу вас своими новыми эклерами.

Он ещё не оправился после смерти Чарли, всё такой же усохший, съёжившийся, как будто даже стал меньше ростом. Горе сморщило его озорное и не по возрасту млажавое лицо. Но он не утратил чувства юмора, не утратил шутливости и мечтательности, спасающих его от жалости к себе. Сегодня утром ему не терпелось поговорить о несчастье, постигшем речных цыган.

— Кюре Рейно во время утреннего богослужения ни словом об этом не обмолвился, — сообщил он, наливая в чашку шоколад из серебряного кувшинчика. — Ни вчера, ни сегодня. Ни слова. — Я согласилась, что со стороны Рейно, учитывая его живой интерес к компании скитальцев, подобное молчание весьма странно.

— Наверно, ему известно что-то такое, что он не вправе предавать огласке, — предположил Гийом. — Так сказать, тайна исповеди.

Он видел, как Ру разговаривал о чём-то с Нарсиссом возле его питомника, доложил Гийом. Может, Нарсисс даст ему работу. Во всяком случае, хотелось бы надеяться.

— Он часто нанимает подённых работников, — рассказывал Гийом. — Он ведь вдовец. Своих детей у него нет. Кроме племянника в Марселе, не на кого оставить ферму. И ему всё равно, кто работает у него в летнюю страду. Если работник хороший, ему нет разницы, ходит тот в церковь или нет. — Гийом чуть заметно улыбнулся, как всегда улыбался, когда собирался высказать, на его взгляд, очень смелое суждение. — Иногда я спрашиваю себя, — задумчиво продолжал он, — разве Нарсисс, как христианин, не лучше — в самом прямом смысле слова — меня или Жоржа Клэрмона... или даже кюре Рейно. — Он глотнул шоколада. — Я хочу сказать, Нарсисс по крайней мере *помогает* людям, — добавил он серьёзно. — Тем, кто нуждается в деньгах, он даёт работу. Разрешает бродягам становиться лагерем на его земле. При этом все знают, что он вот уже много лет спит со своей экономкой. И в церковь он ходит только для того, чтобы встретиться со своими клиентами. Но зато он помогает людям.

Я сняла крышку с блюда с эклерами и одно пирожное положила ему на тарелку.

— На мой взгляд, нет такого понятия, как хороший или плохой христианин, — возразила я. — Есть плохие и хорошие люди.

Гийом кивнул и кончиками большого и указательного пальцев взял с тарелки маленькое круглое пирожное.

— Может быть.

Он надолго замолчал. Я тоже налила себе шоколад, добавила в него ореховый ликёр и посыпала крошкой из фундука. Запах из чашки тёплый и

дурманы. Так пахнет поленница на солнце поздней осенью. Гийом ест эклеры со сдержанным удовольствием, влажной подушечкой указательного пальца собирая с тарелки крошки.

— Если так судить, то, по-вашему, получается, что грех, искупление, умерщвление плоти, — всё, во что я верил всю свою жизнь, — это просто пустые слова?

Его серьёзный вид вызвал у меня улыбку.

— По-моему, вы беседовали с Армандой, — мягко сказала я. — На что я могу сказать только одно: каждый из вас вправе оставаться при своих убеждениях. Пока вас это устраивает.

— О. — Он смотрит на меня с опаской, будто увидел на моей голове прорастающие рога. — А вы сами — не сочтите меня назойливым — во что верите *вы*?

В ковры-самолёты и волшебные палочки с руническими письменами, в Али-Бабу и явления Святой Богородицы, в путешествия в астрал и предсказания будущего по осадку в бокале из-под красного вина...

Флорида? Диснейленд? Эверглейдс? Как же всё это, милая? Неужели не увидим?

Будда. Путешествие Фродо в Мордор. Пресуществление. Дороти и Тото. Пасхальный кролик. Инопланетяне. Чудовище в шкафу. Воскрешение мёртвых к судному дню. Жизнь по велению карт... В разные периоды жизни я во всё это верила. Или делала вид, что верила. Или делала вид, что не верила.

Как скажешь, мама. Лишь бы ты была счастлива.

А теперь? Во что я верю теперь?

— Я верю, что самое главное на свете — это быть счастливым, — наконец ответила я.

Счастье. Невзыскательное, как бокал шоколада, или непростое, как сердце. Горькое. Сладкое. Настоящее.

После обеда пришла Жозефина. Анук уже вернулась из школы и почти тотчас же убежала играть в Марод. Я укутала её в красную куртку и строго-настрого наказала немедленно возвращаться домой, если начнётся дождь. Воздух наполнен благоуханием свежеспиленной древесины, разносимым ветром, особенно резким и коварным на углах улиц. Жозефина в своём клетчатом плаще, застёгнутом под горло, в красном берете и новом красном шарфе, концы которого яростно бьются у её лица. Она вошла в магазин с дерзким, самоуверенным видом и на мгновение предстала передо мной ослепительной красавицей — щёки горят румянцем, в глазах беснуется

ветер. Потом иллюзия рассеялась, и она стала сама собой — руки запряты глубоко в карманы, голова наклонена, будто она собиралась бодаться с неким неведомым противником. Жозефина сняла берет, открыв моему взору спутанные волосы и свежий рубец на лбу. Было видно, что она чем-то напугана до смерти и одновременно пребывает в эйфории.

— Дело сделано, Вианн, — беззаботно объявила она. — Я подвела черту.

На одно ужасающее мгновение меня охватила уверенность, что сейчас я услышу от неё признание в убийстве мужа. С лица Жозефины не сходило восхитительное выражение лихой бесшабашности, губы карикатурно растянуты, словно она надкусила кислый фрукт. Попеременно горячими и холодными волнами от неё исходил страх.

— Я ушла от Поля, — объяснила она. — Наконец-то решилась.

Глаза у неё как маленькие ножички. Впервые со дня нашего знакомства я увидела Жозефину такой, какой она была десять лет назад, до того как Поль-Мари Мускат превратил её в тусклую нескладную женщину. Она едва помнила себя от страха, но под пеленой объяввшего её безумия крылось леденящее душу здравомыслие.

— Он уже знает? — спросила я, забирая у неё плащ, карманы которого были набиты чем-то тяжёлым, но, скорее всего, не драгоценностями.

Жозефина мотнула головой.

— Он думает, я пошла в бакалейную лавку, — ответила она, задыхаясь. — У нас кончилась пицца, и он поручил мне пополнить запасы. — Она шаловливо улыбнулась, почти по-детски. — Я взяла часть денег, предназначенных на хозяйственные нужды. Он держит их в коробке из-под печенья под стойкой бара.

Под плащ она надела красный свитер и чёрную плиссированную юбку. Прежде, сколько я помню, на ней всегда были джинсы. Жозефина глянула на часы.

— *Chocolat espresso*, пожалуйста. И большую коробку миндаля. — Она выложила на стол деньги. — Как раз успею подкрепиться до автобуса.

— До автобуса? — смешалась я. — Куда ты собралась?

— В Ажен. — Вид у неё ершистый, упрямый. — Потом не знаю. Может, в Марсель. Лишь бы подальше от него. — Она бросила на меня подозрительный и вместе с тем удивлённый взгляд. — Только не вздумай отговаривать меня, Вианн. Это ведь ты подбросила мне эту идею. Мне бы самой в жизни не додуматься.

— Знаю, но...

— Ты же говорила, что я свободная женщина. — В её словах

слышится упрёк.

Совершенно верно. Свободна пуститься в бега, воспользовавшись советом фактически незнакомого человека, бросить всё, сорваться с насиженного места и отдаться на волю ветров, как непривязанный воздушный шарик. Моё сердце внезапно холодом сковал страх. Неужели это цена за то, чтобы я осталась здесь? Значит, я отправляю её скитаться вместо себя? А разве я предложила ей хоть какой-то выбор?

— Но здесь ты жила в относительном благополучии, — с трудом выдавила я, видя в её лице лицо своей матери. Отказаться от благополучия ради того, чтобы немного посмотреть мир, взглянуть краем глаза на океан... а что дальше? Ветер всегда приносит нас к подножию той же стены. Толкает под колёса нью-йоркского такси. На тёмную аллею. В лютый холод. — Нельзя всё так бросить и бежать, — сказала я. — Я знаю, что говорю. Пробовала.

— Я не могу оставаться в Ланскне, — вспыхнула она, едва сдерживая слёзы. — В одном городе с ним. Пока не могу.

— Когда-то мы жили так, я помню. Постоянно в дороге. Постоянно в бегах.

У неё тоже есть свой Чёрный человек. Я вижу его в её глазах. Авторитетным тоном и коварной логикой он держит тебя в оцепенении, послушании и страхе. И, дабы избавиться от этого страха, ты бежишь в надежде и отчаянии, бежишь, чтобы в конце концов понять, что носишь этого человека в себе, носишь, как некое зловерное дитя... И моя мать в итоге тоже это поняла. Он ей мерещился за каждым углом, на дне каждой чашки. Улыбался с каждой афиши, выглядывал из каждой проезжающей машины. Приближался с каждым ударом сердца.

— Бросишься бежать — не остановишься. Всю жизнь будешь в бегах, — яростно убеждала я её. — Лучше оставайся со мной. Останься, будем бороться вместе.

Жозефина посмотрела на меня.

— С тобой? — Её изумление почти вызывало смех.

— Почему бы нет? У меня есть свободная комната, раскладушка... — Она уже мотала головой, и у меня возникло острое желание схватить её, заставить остаться, но я подавила свой порыв. Я знала, что смогла бы повлиять на неё. — Поживи у меня немного, пока не найдёшь что-то ещё, пока не найдёшь работу...

Она разразилась истеричным хохотом.

— Работу? Да что я могу? Только убирать... готовить... опорожнять пепельницы... наливать пиво, вскапывать сад и ублажать м-мужа по ночам

каждую пя-пятницу... — Она теперь захлёбывалась смехом, держась за живот.

Я попыталась взять её за плечо.

— Жозефина. Я серьёзно. Что-нибудь подвернётся. Незачем тебе...

— Если б ты видела, каким он бывает порой. — Всё ещё смеясь, она выплёвывала слова, как пули; её дребезжащий голос наполнился отвращением к самой себе. — Распалённая свинья. Жирный волосатый боров.

Она расплакалась, зарыдала так же громко и судорожно, как смеялась минуту назад, жмурясь и прижимая ладони к щекам, словно боялась взорваться. Я ждала.

— А потом, сделав своё дело, отворачивается и начинает храпеть. А утром я пытаюсь... — её лицо искажает гримаса, губы дёргаются, силясь выговорить слова, — ...я пытаюсь... *стряхнуть*... его *запах*... с простыней, а сама всё время думаю, что же случилось со мной? Куда делась Жозефина Бонне, живая смышлёная школьница, мечтавшая стать балериной...

Она резко повернулась ко мне — красная, заплаканная, но уже спокойная.

— Это глупо, но я убеждала себя, что где-то, наверно, произошла ошибка, что однажды кто-нибудь подойдёт ко мне и скажет, что ничего подобного на самом деле не происходит, что весь этот кошмар снится какой-то другой женщине и *ко мне* не имеет никакого отношения...

Я взяла её за руку. Она холодная и дрожит. Ноготь на одном пальце содран, в ладонь въелась кровь.

— Самое смешное, что я пытаюсь вспомнить, как любила его когда-то, а вспомнить нечего. Одна пустота. Полнейшая. Вспоминается что угодно — как он впервые ударил меня, или *то*... казалось бы, должно же *хоть что-то* остаться в памяти, даже о таком человеке, как Поль-Мари. Хоть какое-то оправдание бесцельно прожитых лет. Хоть что-то...

Жозефина вдруг замолчала и глянула на часы.

— Совсем заболталась, — удивилась она. — Всё, на шоколад времени нет, а то опоздаю на автобус.

Я смотрела на неё.

— Автобус пусть едет, а ты лучше выпей шоколада. За счёт заведения. А вообще-то такое событие следовало бы отметить шампанским.

— Нет, мне пора, — возразила она капризным тоном, судорожно прижимая к животу кулаки, и пригнула голову, как бык, бросающийся в атаку.

— Нет. — Я не отрывала от неё глаз. — Ты должна остаться. И дать

ему бой. Иначе, считай, что ты от него не уходила.

Она отвечала мне смелым взглядом.

— Не могу. — В её голосе слышалось отчаяние. — Не смогу ему противостоять. Он будет поливать меня грязью, всё переверёт...

— У тебя есть друзья, они здесь, — ласково сказала я. — И ты ещё сама не знаешь, какая ты сильная.

И тогда Жозефина села — совершенно сознательно — на один из моих красных табуретов, уткнулась лицом в прилавок и тихо заплакала.

Я не мешала ей. Не стала говорить, что всё утрясётся. Не попыталась утешить её. Участие не всегда приносит облегчение, иногда лучше выплакать своё горе. Поэтому я прошла на кухню и принялась не спеша готовить *chocolat espresso*. К тому времени, когда я разлила шоколад в чашки, добавила в них коньяк и шоколадную крошку, собрала жёлтый поднос, положив на каждое блюдце по кусочку сахара, она уже успокоилась. Я знаю, это не великое волшебство, но иногда оно помогает.

— Почему ты передумала? — спросила я, когда её чашка опустела наполовину. — Когда мы в последний раз говорили с тобой об этом, ты была настроена остаться с Полем.

Она пожала плечами, избегая моего взгляда.

— Из-за того, что он опять ударил тебя?

На этот раз на лице её отразилось удивление. Её рука взметнулась ко лбу, где сердито багровела рассечённая кожа.

— Нет.

— Тогда из-за чего?

Она вновь отвела глаза. Кончиками пальцев коснулась своей чашки, будто хотела убедиться, что она ей не снится.

— Не из-за чего. Не знаю. Просто так.

Она лгала, это было очевидно. Не отдавая себе отчёта, я попыталась проникнуть в её мысли, которые с лёгкостью читала ещё минуту назад. Я должна была знать причину, если собиралась оставить её здесь, удержать в городе, вопреки всем моим благим намерениям. Но в данный момент мысли её были бесформенными и дымчатыми. Я ничего не разглядела, кроме темноты.

Давить на неё не имело смысла. Жозефина, от природы неподатливая и упрямая, не терпела, чтобы её подгоняли. Расскажет со временем, решила я. Если захочет.

Мускат хватился жены только ближе к ночи. К этому времени мы уже постелили ей в комнате Анук, которая пока будет спать рядом со мной на

раскладушке. Весть о переселении к нам Жозефины она приняла с полным спокойствием, как обычно принимала безоговорочно и многое другое. На мгновение мне стало нестерпимо горько за дочь, ведь у неё впервые в жизни появилась собственная комната, но я пообещала себе, что это продлится недолго.

— У меня идея, — сказала я ей. — Давай устроим тебе комнату на чердаке: вместо двери там будет люк, в крыше будут маленькие круглые оконца, а подниматься туда будешь по приставной лестнице. Как ты на это смотришь?

Затея опасная, вводящая в заблуждение. Намёк на то, что мы намерены осесть здесь надолго.

— И я оттуда буду видеть звёзды? — загорелась Анук.

— Разумеется.

— Вот здорово! — воскликнула она и помчалась наверх, чтобы поделиться радостью с Пантуфлем.

Мы сидим за столом в тесной кухне. Стол достался нам в наследство от пекарни. Громоздкий, вытесанный из необработанной сосновой древесины, сплошь в рубцах, оставленных ножом. В шрамы забилося тесто, усохшее до консистенции застывшего цемента, отчего его поверхность теперь похожа на гладкий мрамор. Тарелки разнородные: одна зелёная, другая — белая, у Анук — в цветочках. Бокалы тоже разные: высокий, маленький, один всё ещё с наклейкой «*Moutarde Amora*». Но эти вещи *принадлежат* нам. Впервые в жизни у нас появилось что-то своё. Прежде нам приходилось пользоваться гостиничной посудой, пластмассовыми ножами и вилками. Даже в Ницце, где мы жили больше года, мебель была чужая, арендованная вместе с помещением магазина. Чувство владения нам всё ещё в новинку, оно дурманит и пьянит. Для нас это экзотика, невиданное чудо. Я завидую кухонному столу, завидую его порезам и ожогам, полученным от горячих хлебопекарных форм. Завидую его незыблемому чувству времени и жалею, что не могу сказать: вот это я сделала пять лет назад. Оставила эту отметину, мокрой кофейной чашкой посадила вот это пятно, здесь прожгла сигаретой, а вот эту лесенку на шероховатом дереве настучала ножом. А вот здесь, в укромном уголке за ножкой, Анук вырезала свои инициалы, когда ей было шесть лет. А этот рубец от ножа для разделки мяса появился жарким летним днём семь лет назад. Помнишь? Помнишь то лето, когда река обмелела. Помнишь?

Я завидую столу, завидую его незыблемому чувству времени. Он стоит здесь давно. Он принадлежит этому дому.

Жозефина помогла мне приготовить ужин. Мы поставили на стол

салат из зелёной стручковой фасоли и помидоров, заправленных ароматным растительным маслом, красные и чёрные оливки, купленные на рынке в четверг, хлеб с грецкими орехами, свежий базилик, поставляемый Нарсиссом, сыр из козьего молока и красное вино из Бордо. За ужином мы беседовали, но не о Поле-Мари Мускате. Я рассказывала Жозефине о нас, об Анук и о себе, о краях, в которых мы побывали, о своей шоколадной в Ницце, о том, как мы жили в Нью-Йорке, когда родилась Анук, и о прежних временах, рассказывала о Париже, Неаполе и прочих городах, где нам с матерью случалось оседать ненадолго за время наших бесконечных скитаний по миру. Сегодня мне хочется вспоминать только радужные, светлые, смешные эпизоды своей жизни. В воздухе и без того витает слишком много мрачных мыслей. Чтобы рассеять их, я поставила на стол белую свечу. Её умиротворяющий аромат навевает тоску по прошлому, и я делюсь вслух воспоминаниями о маленьком Уркском канале, о Пантеоне, о площади Художников в Париже и восхитительной берлинской Унтер-ден-Линден, о пароме до острова Джерси, о свежеиспечённых венских пирожных, которые надо есть из горячей бумаги прямо под открытым небом, о набережной в Жуан-ле-Пене и танцах на улицах Сан-Педро. С лица Жозефины постепенно сходило каменное выражение, а я продолжала вспоминать. Рассказала, как мама однажды продала осла фермеру из деревни неподалёку от Риволи, а упрямое животное возвращалось к нам раз за разом, ухитряясь отыскивать нас чуть ли не возле самого Милана. Потом поведала историю о лиссабонских торговцах цветами и о том, как мы покинули тот город в холодильнике цветочника, который четыре часа спустя высадил нас, полуокоченевших, у раскалённых добела доков Порту. Жозефина улыбнулась, потом расхохоталась. Временами мы с матерью бывали при деньгах, и тогда Европа согревала нас солнцем и надеждой. И сегодня вечером я вспоминаю именно такие дни. Вспоминаю богатого араба в белом лимузине, певшего матери серенады в Сан-Ремо, вспоминаю, как мы смеялись и были счастливы и как потом долго благоденствовали на деньги, которые он нам дал.

— Ты столько всего видела. — Голос Жозефины полнится завистью и немного благоговением. — А ещё такая молодая.

— Мне почти столько же лет, сколько тебе.

Она покачала головой.

— Нет, я — тысячелетняя старуха. — На её губах заиграла добрая мечтательная улыбка. — Я бы тоже хотела путешествовать. Просто идти за солнцем, не думая о том, куда завтра приведёт меня дорога.

— Кочевая жизнь утомительна, поверь мне, — мягко сказала я. — И

через некоторое время начинает казаться, что каждый новый край ничем не отличается от предыдущего.

Она с сомнением посмотрела на меня.

— Поверь мне. Я знаю, что говорю.

Вообще-то я лукавила. Каждый край самобытен, и возвращение в город, в котором ты жил когда-то, сродни возвращению в дом старого друга. А вот люди обезличиваются — одни и те же лица в городах, за тысячи километров друг от друга, одни и те же выражения. Пустые враждебные взгляды чиновников, любопытные взгляды крестьян, скучные скользкие взгляды туристов. Одни и те же влюблённые, матери, нищие, калеки, торговцы, поклонники бега трусцой, дети, полицейские, таксисты, зазывалы. И через некоторое время тебя начинает мучить паранойя — кажется, будто все эти люди тайком следуют за тобой из города в город, в другой одежде, в другом обличье, но по существу те же самые люди. Занимаются своей рутинной, а сами косятся на нас, чужаков, незваных пришельцев. На первых порах тебя распирает чувство превосходства. Мы — раса избранных, путешественники. Ведь мы видели и испытали гораздо больше, чем они, довольствующиеся монотонным существованием: сон — работа — сон, возделыванием своих аккуратных садилов, своими одинаковыми загородными коттеджами и жалкими мечтами. Мы их за это даже чуть-чуть презираем. А потом приходит зависть. Поначалу мы посмеиваемся над собой. Что-то кольнуло вдруг и почти сразу исчезло при виде женщины в парке, склонившейся над малышом в коляске; лица обоих озарены, но не лучами солнца. Потом зависть даёт о себе знать второй раз, третий — двое влюблённых идут по набережной, держась за руки; вот молодые сотрудницы некой фирмы о чём-то весело смеются за столиком, подкрепляясь в обед кофе с круассанами... — и вскоре поселяется в душе ноющей болью. Нет, *каждый* уголок на земле, куда б ни завели тебя скитания, как был самобытным, так и остаётся. Это сердце через некоторое время начинает разъедать ржа. Смотришь утром на себя в гостиничное зеркало, а твоё лицо будто помутнело, затёрлось от множества вот таких случайных взглядов. К десяти часам простыни будут выстираны, ковёр вычищен. Странствуя, мы регистрируемся в гостиницах под разными именами. Идём по жизни, не оставляя следов, не отбрасывая тени. Как привидения.

Из раздумий меня вывел властный стук в дверь. Жозефина приподнялась, вдавливая кулаки в рёбра. В её глаза закрадывался страх. Мы, конечно, ждали его. Ужин, беседа — это всё было притворство,

самоуспокоение. Я встала.

— Не волнуйся. Я его не впущу.

Глаза Жозефины пылают страхом.

— Я не стану с ним разговаривать, — тихо заявила она. — Не могу.

— Поговорить, возможно, придётся, — ответила я. — Но бояться не надо. Сквозь стены он не проникнет.

Она улыбнулась дрожащей улыбкой.

— Я даже голос его слышать не хочу. Ты не знаешь, какой он. Начнёт говорить...

— Я прекрасно знаю, какой он, — решительно оборвала я её, направляясь в неосвещённый торговый зал. — Чтобы ты ни думала, он далеко не уникален. Кочевая жизнь учит разбираться в людях, а они в большинстве своём мало чем отличаются друг от друга.

— Просто я ненавижу *сцены*, — пробормотала Жозефина мне в спину. Я уже включала свет. — И ненавижу *крик*.

— Это ненадолго, — пообещала я. Стук возобновился. — Анук нальёт тебе шоколада.

Дверь заперта на цепочку. Я повесила её, когда мы приехали, — в силу привычки, приобретённой в больших городах, где меры безопасности не были лишними, — хотя здесь до сего дня в подобной предосторожности необходимости не возникало. Свет, льющийся из магазина, падает на Муската, и я вижу, что его лицо искажено от ярости.

— Моя жена здесь? — хрипит он пьяным голосом, изрыгая вонючий пивной перегар.

— Да. — Прибегать к уловкам нет причин. Следует сразу поставить его на место. — Боюсь, она ушла от вас, месье Мускат. Я предложила ей пожить у меня несколько дней, пока она не определится. Сочла, что так будет лучше. — Я стараюсь говорить бесстрастно, вежливо. Тип людей, подобных ему, мне хорошо знаком. Мы с мамой встречали их тысячи раз, в тысячах разных мест. Мускат остоленело вытаращился на меня, а когда смысл сказанного дошёл до него, он злобно сощурился и развёл руками, прикидываясь безвредным, недоумевающим, готовым обратить всё в шутку. Какое-то мгновение он кажется почти обаятельным, но потом делает шаг к двери и обдаёт меня тухлятиной изо рта — смесью пивных паров, дыма и дурного гнева.

— Мадам Роше. — Голос у него мягкий, почти просительный. — Передайте моей жирной корове, чтобы она немедленно подняла свою задницу и выметалась на улицу, пока я сам её не вытащил. И если *ты*, грудастая стерва, встанешь на моём пути... — Он загремел дверью. —

Сними цепь. — Он елеинo улыбаeтся, а сам смердит гневом, по запаху смутно напоминающим ядовитые химикаты. — Я сказал: сними эту чёртову цепь, пока я её не сорвал. — Разъярённый, он кричит женским голосом, визжит, как недорезанная свинья. Я медленно, с расстановкой, ещё раз объясняю ему ситуацию. Он бранится и вопит в досаде. Несколько раз пнул дверь с такой силой, что даже петли задрожали.

— Если вы попытаетесь вломиться в мой дом, — ровно говорю я, — я сочту вас опасным злоумышленником и приму соответствующие меры. В ящике кухонного стола я держу газовый баллончик, который обычно носила с собой, когда жила в Париже. Пару раз мне случалось применять его. Очень действенное средство.

Угроза несколько охладила его пыл. Очевидно, он полагал, что запугивание исключительно его прерогатива.

— Ты не понимаешь, — заскулил Мускат. — Она — моя жена. Я люблю её. Не знаю, что она тебе говорила, но...

— Что она мне говорила, месье, не имеет значения. Это её решение. На вашем месте я прекратила бы скандалить и ушла домой.

— Чёрта с два! — Его рот так близко к щели, что до меня долетает фонтан его горячей вонючей слюны. — Это всё ты, стерва, виновата. Ты напичкала её бреднями об эмансипации и прочей чепухе. — Визгливым фальцетом он стал передразнивать Жозефину. — Только и слышишь от неё: «Вианн говорит это. Вианн думает то». Пусть выйдет на минуту, посмотрим, что она сама скажет.

— Не думаю, что...

— Ладно. — Жозефина тихо приблизилась ко мне и встала за спиной, держа в обеих руках чашку с шоколадом, словно грела руки. — Придётся поговорить с ним, а то не уйдёт.

Я посмотрела на неё. Вид у неё спокойный, взгляд просветлел. Я кивнула:

— Что ж, давай.

Я отступила в сторону, и Жозефина подошла к двери. Мускат опять начал что-то реветь, но она перебила его на удивление твёрдым ровным голосом:

— Поль, послушай меня. — От неожиданности он умолк на полуслове. — Уходи. Мне больше нечего сказать тебе. Ясно?

Она дрожит, но голосом не выдаёт своего волнения. Внезапно испытав горячий прилив гордости за Жозефину, я ободряюще сжала её плечо. С минуту Мускат молчал, а когда вновь заговорил, то уже угодливым тоном, хотя я по-прежнему слышу в его голосе гнев, жужжащий, как помехи на

линии, передающей далёкий радиосигнал.

— Жози, — вкрадчиво молвит он. — Не глупи. Выйди, и мы всё спокойно обсудим. Ты ведь моя жена, Жози. Неужели это не стоит того, чтобы попытаться сохранить наш брак?

Жозефина тряхнула головой.

— Слишком поздно, Поль, — сказала она, кладя конец разговору. — Извини.

Мягко, но решительно она захлопнула дверь, и, хотя Мускат ещё несколько минут продолжал ломиться в шоколадную, попеременно бранясь, умоляя и угрожая, даже пуская слезу в порыве сентиментальности и увлечения собственной игрой, второй раз мы ему не открыли.

В полночь я услышала, как он кричит на улице. Потом в окно ударился с глухим стуком комок грязи, измазавший чистое стекло. Я встала, желая посмотреть, что происходит. Внизу на площади стоял Мускат, приземистый и злобный, как гоблин. Руки упрятаны глубоко в карманы, из пояса брюк выпирает круглое брюшко. Очевидно, он был пьян.

— Вы не сможете прятаться там вечно! — Я увидела, как в одном из домов за его спиной засветилось окно. — Всё равно когда-нибудь выйдете! И тогда, сучки, уж тогда я вам *покажу!* — Я машинально выкинула в его сторону пальцы, обращая его злость на него самого. *Прочь отсюда, злой дух. Прочь.*

Этот рефлекс мне тоже передался от матери. И всё же, как ни странно, я сразу почувствовала себя в безопасности. Я вернулась на кровать и ещё долго лежала без сна, слушая тихое дыхание дочери и глядя на меняющуюся форму луны в просветах листвы. Думаю, я опять пыталась гадать, высматривая в подвижных узорах некий знак, утешительное слово... Ночью, когда снаружи на страже стоит Чёрный человек, а на церковной башне скрипит пронзительно — *кри-крии* — флюгер, в подобные вещи легче поверить. Но я ничего не увидела, ничего не ощутила, и, когда наконец забылась сном, мне пригрезился Рейно. С крестом в одной руке, со спичками — в другой, он стоял в ногах кровати больничной койки, на которой лежал какой-то старик.

Глава 24

9 марта. Воскресенье

Рано утром пришла Арманда — посплетничать и выпить шоколаду. В новой светлой соломенной шляпке, украшенной красной лентой, она выглядит свежее и бодрее, чем минувшим днём. На свою трость Арманда нацепила красный бантик, сделав из неё вычурный аксессуар, как флаг, возвещающий о непокорном духе её хозяйки. Она заказала *chocolat viennois* с куском слоёного торта из белого и чёрного шоколада и забралась на табурет. Жозефина, помогавшая мне по магазину, — она согласилась пожить у нас несколько дней, пока не решит, как ей быть дальше, — с опаской поглядывала на старушку из кухни.

— Я слышала, вчера вечером здесь вышел скандал, — с присущей ей прямоотой начала Арманда. Её бесцеремонность искупалась добротой, лучившейся из её блестящих чёрных глаз. — Этот выродок Мускат, говорят, орал и дебоширил.

Я сдержанно объяснила, что произошло. Арманда слушала с одобрительным выражением на лице.

— Я только удивляюсь, что она тянула так долго. Давно следовало бросить его, — сказала она, когда я закончила рассказ. — Весь в отца. И языком так же мелет. И руками. — Она доброжелательно кивнула Жозефине, стоявшей в кухонном проёме с горшочком горячего молока в одной руке. — Всегда знала, что когда-нибудь ты образумишься, девонька. И не вздумай теперь поддаться на чьи-либо уговоры. Не возвращайся.

— Не беспокойтесь, — с улыбкой отвечала ей Жозефина. — Не вернусь.

Сегодня утром в «Небесном миндале» гораздо больше посетителей, чем в первое воскресенье после нашего приезда в Ланскне.

В обед появился Гийом вместе с Анук. В суматохе последних двух дней мне лишь пару раз довелось побеседовать с ним, но теперь, когда он вошёл, я поразилась произошедшим в нём переменам. Он больше не кажется съжившимся и сморщенным. Шаг упругий, яркий красный шарф на шее придаёт его облику почти щегольской вид. Краем глаза я ухватила у его ног расплывчатую тень. Пантуфль. Анук, беспечно размахивая

портфелем, промчалась мимо Гийома и, поднырнув под прилавок, бросилась мне на шею.

— *Matan!* — протрубила она мне в ухо. — Гийом нашёл собаку!

Всё ещё обнимая дочь, я повернулась к Гийому. Тот, покрасневшийся, стоит у входа. У его ног сидит в умильной позе маленький беспородный пёс бело-коричневого окраса, совсем ещё щенок.

— Шш, Анук. Это не мой пёс. — На лице Гийома отражаются радость и смущение. — Он бродил возле Марода. Возможно, кто-то хотел избавиться от него.

Анук уже скармливала щенку кусочки сахара.

— Его нашёл Ру, — пискнула она. — Услышал, как пёсик скулит у реки. Он мне сам сказал.

— Вот как? Ты видела Ру?

Анук кивнула рассеянно и принялась щекотать щенка. Тот с радостным твяканьем перевернулся на спину.

— Такая лапочка, — говорит Анук. — Вы его возьмёте?

Гийом печально улыбнулся.

— Вряд ли, милая. Знаешь, после Чарли...

— Но ведь он *потерялся*, ему некуда больше...

— Уверен, много найдётся людей, которые пожелают дать приют такому чудному щенку. — Гийом нагнулся и ласково потрепал пса за уши. — Дружелюбный малыш, жизнерадостный.

— А как вы его назовёте? — не унимается Анук.

Гийом качает головой.

— Я не буду давать ему кличку, *ta mie*. Не думаю, что он задержится у меня надолго.

Анук бросает на меня смешливый взгляд, и я качаю головой, беззвучно предостерегая её.

— Я подумал, может, вы повесите объявление в вашей витрине, — говорит Гийом, усаживаясь за прилавок. — Вдруг отыщется хозяин.

Я налила в чашку кофейного шоколада и подала ему с двумя вафельками в шоколаде на блюде.

— Конечно. — Я улыбнулась.

Глянув на Гийома минутой позже, я увидела, что щенок уже сидит у него на коленях и жуёт вафли. Я перехватила взгляд дочери. Она подмигнула мне.

Нарсисс принёс мне корзину эндивия из своего питомника. Увидев Жозефину, он вытащил из кармана букетик анемонов и вручил ей. «Чтоб

веселее у вас здесь было», — пробормотал он. Жозефина покраснела от удовольствия и попыталась выразить свою признательность. Смущённый Нарсисс грубовато отказался от благодарности и зашаркал прочь.

Вслед за доброжелательными посетителями повалили любопытные. Во время утренней службы прошёл слух, что Жозефина Мускат переселилась в «Небесный миндаль», и потому всё утро мы не знали отбоя от клиентов. Пришли Жолин Дру и Каролина Клэрмон, обе в весенних костюмах-двойках и шелковых шарфах, с приглашением на благотворительное чаепитие, устраиваемое в Вербное воскресенье. Арманда при виде дочери и её приятельницы довольно хохотнула.

— Ба, да сегодня у нас прямо воскресный парад мод! — воскликнула она.

Каро с раздражением посмотрела на мать.

— Вообще-то, *matan*, тебе здесь нечего делать, — укоризненно произнесла она. — Или ты забыла, что сказал врач?

— Я-то не забыла, — отвечала Арманда. — Не пойму только, зачем нужно портить мне утро, присылая это убожество. Ждёте не дождётесь моей смерти?

Напудренные щёки Каро стали пунцовыми.

— *Matan*, как ты можешь так говорить...

— Не лезь не в своё дело и не услышишь того, что не нравится, — отчитала дочь Арманда, и Каро поспешила ретироваться из шоколадной, второпях едва не разбивая напольную плитку своими острыми каблучками.

Потом заглянула Дениз Арнольд, спросила, не нужно ли нам что из её магазина.

— Я так, на всякий случай интересуюсь, — объяснила она с горящими от любопытства глазами. — Как-никак у вас теперь гостя и всё такое.

Я заверила её, что в случае нужды мы знаем, куда обратиться.

Следом явились Шарлотта Эдуард, Лидия Перрен и Жорж Дюмулен. Одна решила заранее купить подарок на день рождения, второй захотелось узнать поподробнее о празднике шоколада — какая *оригинальная* затея, мадам! — третий выронил кошелек где-то у церкви и спрашивал, не находила ли я его. Жозефину я поставила за прилавок, повязав ей один из своих чистых жёлтых передников, чтобы она не запачкала одежду в шоколаде, и она управлялась на удивление хорошо. Сегодня она позаботилась о своей внешности. Красный свитер и чёрная юбка смотрятся на ней безукоризненно, по-деловому; тёмные волосы аккуратно уложены и перетянуты лентой. Покупателей она, как и полагается, встречает приветливой улыбкой, голову держит высоко, и, хотя взгляд её в тревожном

ожидании время от времени обращается на дверь, в её облике и намёка нет на то, что она боится за себя или за свою репутацию.

— Бесстыдница, — прошипела Жолин Дру Каро Клэрмон, когда они вдвоём торопливо покидали шоколадную. — Ни грамма совести. Как подумаю, что этому бедняге пришлось вытерпеть...

Жозефина стояла спиной к залу, но я заметила, как она вся напряглась. В шоколадной в это время наступило минутное затишье, и потому слова Жолин прозвучали отчётливо. Гийом поспешил кашлянуть, чтобы заглушить их, но я знала, что Жозефина всё равно услышала.

Воцарилось неловкое молчание.

Первой нарушила тишину Арманда.

— Что ж, девонька, — оживлённо проговорила она, — считай, что добилась своего, раз те двое не одобряют. Добро пожаловать в лагерь диссидентов!

Жозефина подозрительно глянула на старушку и, убедившись, что язвительная шутка направлена не в её адрес, рассмеялась — непринуждённо, беззаботно. Потом, удивлённая своей реакцией, прикрыла рот рукой, словно хотела удостовериться, что это и впрямь она смеялась. Отчего и вовсе расхохоталась. Остальные поддержали её. Мы всё ещё дружно смеялись, когда звякнул дверной колокольчик и в шоколадную тихо вошёл Рейно.

— *Monsieur le cure.* — Я заметила, как Жозефина изменилась в лице, — на нём появилось неприязненное тупое выражение, — прежде чем увидела самого священника. Её руки вернулись на своё привычное место у подложечной ямки.

Рейно степенно кивнул.

— *Madame* Мускат. — Он сделал ударение на первом слове. — Я был очень огорчён, не увидев вас в церкви сегодня утром.

Жозефина буркнула что-то маловразумительное. Рейно шагнул к прилавку, и она встала боком, будто собираясь скрыться в кухне. Но потом передумала и развернулась к нему лицом.

— Молодец, девонька, — одобрительно прокомментировала Арманда. — Не позволяй, чтобы он морочил тебе голову своей болтовнёй. — Она открыто посмотрела на Рейно и решительно взмахнула куском торта в руке. — Оставь эту девушку в покое, Франсис. Ей от тебя если что и требуется, так только благословение.

Рейно проигнорировал её.

— Послушай меня, *ma fills*, — важным тоном обратился он к Жозефине. — Нам нужно поговорить. — Его взгляд метнулся к красному

саше-талисману, висящему у двери. — Но не здесь.

Жозефина покачала головой:

— Прошу прощения, но я занята. Да и не хочу ничего слышать от вас.

Губы Рейно упрямо сжаты.

— Теперь ты нуждаешься в помощи церкви как никогда. — Холодный быстрый взгляд в мою сторону. — Ты поддалась слабости. Позволила, чтобы тебя ввели в заблуждение. Брачный обет священен...

— Брачный обет священен? — насмешливо перебила его Арманда. — Где ты откопал эту чушь? Уж кто-кто, а ты...

— Прошу вас, мадам Вуазен... — Наконец-то в его невыразительном голосе зазвучали хоть какие-то интонации. Он обдал старушку ледяным взглядом. — Я был бы вам очень признателен, если бы...

— Разговаривай, как тебя учили родители, — вспыхнула Арманда. — Будто картошки в рот напихал. Разве мать не объясняла тебе, что нормальные люди так не говорят? — Она фыркнула. — Всё избранного из себя строишь, а? Забыл, какие мы, в той своей модной школе?

Рейно весь напряжился. Я чувствовала, как от него волнами исходит напряжение. Он заметно похудел за последние несколько недель, потемневшая кожа на висках натянута, как барабан, под заострившимся подбородком обозначились сухожилия. Падающая на лоб жидкая прямая прядь волос придаёт ему обманчиво простодушный вид, но всё остальное в его внешности — сплошь спесь и претенциозность.

— Жозефина. — Тон у него проникновенный и повелительный, заведомо пресекающий любое вмешательство со стороны. Он ведёт себя так, будто, кроме них двоих, в шоколадной никого нет. — Я знаю, ты хочешь, чтобы я помог тебе. Я беседовал с Полем-Мари. Он говорит, что ты переутомилась. Говорит...

Жозефина тряхнула головой:

— *Mon pere*. — Туповатое выражение исчезло с её лица, к ней вернулось спокойствие. — Я знаю, вы желаете мне добра. Но я не изменю своего решения.

— Но ведь ты клялась перед алтарём... — Рейно разволновался, с искажённым от досады лицом навис над прилавком, вцепившись руками в его поверхность, словно ища опору. Ещё один взгляд украдкой на яркое саше у двери. — Я знаю, ты запуталась. Тебя сбили с толку. — Многозначительно: — Если б только мы могли поговорить *наедине*...

— Нет, — твёрдо сказала Жозефина. — Я останусь здесь, с Вианн.

— И надолго? — Он пытался произнести это скептически, но голосом выдал обуревавшее его смятение. — Может, мадам Роше тебе и друг, но она

— деловая женщина. На ней магазин, дочь. Сколько времени она сможет держать чужого человека в своём доме? — Этот аргумент оказался более действенным. Жозефина заколебалась, в её глазах вновь отразилось сомнение. Мне это выражение — недоверия, страха — хорошо знакомо. Слишком часто я видела его на лице матери.

Нам никто не нужен. Незабываемый яростный шёпот в жарком тёмном номере очередной безликой гостиницы. *Зачем нам кто-то ещё?* Смелые слова, а слёзы, если они и были, скрывала темнота. Но я чувствовала, как она, крепко прижимая меня к себе под одеялом, трясётся едва ощутимой мелкой дрожью, словно её изнутри разъедает лихорадка. Вероятно, поэтому она убегала от них — от добрых мужчин и женщин, предлагавших ей свою дружбу, любовь, участие. Мы были заражены, пропитаны недоверием, вскармливаемым гордостью, — последним прибежищем изгоев.

— Я предложила Жозефине работу в шоколадной, — вмешалась я с приветливой сдержанностью в голосе. — Мне понадобится помощь, чтобы организовать праздник шоколада на Пасху.

Наконец-то маска невозмутимости сошла с лица Рейно; оно дышало откровенной ненавистью.

— Я обучу её основным навыкам приготовления шоколада, — продолжала я. — Она будет замещать меня у прилавка, пока я вожусь на кухне. — Жозефина смотрела на меня затуманенным от удивления взором. Я подмигнула ей. — Принимая моё предложение, она оказывает мне большую услугу. И я уверена, деньги ей не помешают, — добавила я ровным голосом. — Что касается проживания... — обратилась я непосредственно к Жозефине, открыто глядя ей в лицо, — Жозефина, ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Мы будем только рады.

Арманда весело хохотнула.

— Как видишь, *mon pere*, — с ликованием в голосе заявила она, — ты зря тратишь своё драгоценное время. Всё прекрасно уладилось без тебя. — Она глотнула шоколад с видом греховного наслаждения. — Замечательный напиток. Очень рекомендую. А то ты плохо выглядишь, Франсис. Поди, всё вином церковным причащаешься?

Он отвечал ей улыбкой, похожей на сжатый кулак.

— Очень остроумно, мадам. Я рад, что вы ещё не утратили чувства юмора. — С этими словами он резко развернулся на каблуках, кивнул посетителям, отрывисто бросил: «*Messieurs — dames*» и вышел, чеканя шаг, словно вежливый нацист в плохом фильме про войну.

Глава 25

10 марта. Понедельник

Я вышел из магазина под их смех, нёсшийся мне вслед, словно стая крикливых птиц. От запаха шоколада, равно как и от собственного гнева, я испытывал неестественную лёгкость в голове, пребывал в состоянии сродни эйфории. Мы были правы, *pere*. Это служит нам полным оправданием. Покусившись на три важнейшие для нас сферы — приход, религиозные обычаи и на самый священный из церковных праздников, — она наконец-то обнаружила своё истинное лицо. Её пагубное влияние быстро растёт; она завладела уже десятком, двумя десятками малодушных умов. Сегодня утром на кладбище я увидел первый одуванчик, вклинившийся в пяточок за надгробием. Стебель толстый, как палец. Значит, он уже пустил корни, проникшие глубоко под каменную плиту. Его уже не выкорчевать. Через неделю он вырастет опять, более крепкий и стойкий. Утром на причастии я встретил Muskata, хотя на исповедь он не остался. Вид у него осунувшийся и злой; кажется, будто праздничная одежда стесняет его. Он тяжело переживает уход жены. Выйдя из *chocolaterie*, я увидел, что он уже ждёт меня, дымя сигаретой у маленькой арки возле главного входа.

— Ну что, *pere*?

— Я разговаривал с вашей женой.

— Когда она вернётся домой?

— Не хотелось бы обнадёживать вас, — мягко ответил я, качая головой.

— Упрямая корова. — Он бросил сигарету на землю и растёр её каблуком. — Прошу прощения за сквернословие, *pere*, но другого она не заслуживает. Как подумаю, скольким я пожертвовал ради этой чокнутой стервы... сколько денег на неё истратил...

— Она тоже немало натерпелась, — подчеркнул я, намекая на его неоднократные признания в исповедадьне.

Мускат передёрнул плечами.

— Я и не говорю, что я — ангел. Знаю свои слабости. Но вот скажите мне, *pere*... — он умоляюще развёл руками, — разве у меня нет на то оснований? Каждое утро просыпаюсь и вижу её тупую морду. Постоянно

нахожу у неё в карманах украденные на рынке вещи: помаду, духи, украшения. Как не появлюсь в церкви, все на меня смотрят и смеются. Хе? — Он торжествующе взглянул на меня. — Хе, pere? Разве я не тащу свой крест?

Всё это я уже слышал и раньше. Неряха, тупица, воровка, лентяйка, дома ничего не делает. Об этом не мне судить. Моя роль — предложить совет и утешение. И всё же он мне омерзителен своими оправданиями и своей убеждёностью в том, что, если бы не она, он добился бы в жизни гораздо большего.

— Наша задача — не разбираться, кто больше виноват, — с упрёком заметил я. — Мы должны попытаться спасти твой брак.

Мускат мгновенно стушевался.

— Простите, pere. Я... мне не следовало так говорить. — Притворяясь искренним, он обнажил в улыбке жёлтые, как старинная слоновая кость, зубы. — Не думайте, будто она мне безразлична, pere. Как-никак я же хочу, чтобы она вернулась, так?

Разумеется. Чтобы было кому готовить для него, гладить его одежду, работать в его кафе. И чтобы доказать своим приятелям, что Поль-Мари Мускат никому, ни единой живой душе, не позволит выставить себя дураком. Мне отвратительно его лицемерие. Однако вернуть её в лоно семьи должно. В этом по крайней мере я с ним согласен. Но совсем по другим причинам.

— Такими идиотскими способами, какие избрал ты, Мускат, — резко сказал я, — жён не возвращают.

Он возмутился:

— Я не вижу необходимости...

— Не будь дураком.

Боже, pere, какое же нужно терпение с такими людьми?

— Угрозы, брань, постыдный пьяный дебош вчера ночью? Думаешь, этим можно чего-то добиться?

— А что, я должен был «спасибо» ей сказать? — не сдавался он. — Все теперь только и судачат о том, что меня бросила жена. А эта наглая сучка Роше... — Его злобные глазки сощурились за стёклами очков в тонкой металлической оправе. — Поделом ей будет, если что-то случится с её писаной шоколадной, — решительно заявил он. — Навсегда избавимся от этой стервы.

Я пристально посмотрел на него:

— Вот как?

Он высказывал вслух почти мои собственные мысли, mon pere. Да

поможет мне Бог, но когда я смотрел на пылающее судно... Варварский восторг, наполнивший меня, недостойн моего призвания; я не должен испытывать таких языческих чувств. И я боролся с ними, *pere*, давил их в себе в предрассветные часы, выкорчёвывал, но они, как одуванчики, вновь прорастали, укрепляясь в душе своими цепкими корешками. Наверно, поэтому — потому что я понимал — я ответил ему резче, чем намеревался.

— Что ты задумал, Мускат?

Он что-то пробормотал себе под нос.

— Вероятно, пожар? «Случайное» возгорание? — Меня распирает гнев. Я ощущал во рту его металлический и одновременно сладковато-гнилой привкус. — Как тот пожар, что избавил нас от цыган?

Он самодовольно ухмыльнулся.

— Может быть. Некоторые из этих старых домов готовы вспыхнуть сами собой.

— А теперь послушай меня. — Меня вдруг объят ужас при мысли о том, что он принял моё молчание в тот вечер за одобрение. — Если я только подумаю, *заподозрю*, — вне исповедальни, — что ты сотворил нечто подобное... если что-нибудь случится с тем магазином... — Я взял его за плечо, впиваясь пальцами в мясистую плоть.

Мускат обиженно надулся.

— Но, *pere*... вы же сами сказали, что...

— *Я ничего не говорил!* — Мой голос рассыпчатым эхом — *та-та-та* — прокатился по площади, и я поспешил сбавить тон. — Безусловно, я никогда и не подразумевал, чтобы ты... — Я прокашлялся, потому что в горле внезапно скопилась мокрота. — Мы живём не в Средневековье, Мускат, — отчеканил я. — Никто не вправе *толковать* законы Божьи в угоду личным интересам. Равно как и государственные, — веско добавил я, глядя ему в лицо. Белки в уголках его глаз такие же жёлтые, как и его зубы. — Надеюсь, мы понимаем друг друга?

— Да, *mon pere*, — угрюмо ответил он.

— Так вот: если что-нибудь случится, Мускат, хоть *что-нибудь* — окно разобьётся, что-то загорится — любая неприятность...

Я выше его на целую голову. Я моложе его, здоровее. Он ёжится, инстинктивно реагируя на угрозу физического насилия. Я несильно пихнул его, и он спиной отлетел к каменной стене. Я едва сдерживаю свой гнев. Как он посмел — как он *посмел!* — взять на себя мою роль, *pere*? Жалкое ничтожество. Поставил меня в такое положение, когда я вынужден официально *защищать* женщину, которую считаю своим врагом. Усилием воли я беру себя в руки.

— Держись подальше от этого магазина, Мускат. Если что-то и придётся предпринять, я это сделаю *сам*. Ясно?

— Да, *pere*, — уже более робко отвечает он, наконец-то остудив свой пыл.

— Я сам всё улажу.

Три недели до её праздника шоколада. Это всё, что мне осталось. Три недели на то, чтобы придумать, как нейтрализовать её влияние. В своих проповедях я осуждаю её, но тем самым только подвергаю осмеянию себя самого. Шоколад, говорят мне, это не категория нравственности. Даже Клэрмоны считают, что я поднял шум из-за пустяка. Она с глупой жеманной улыбкой и притворным участием в лице непрестанно замечает мне, что вид у меня переутомлённый, он открыто смеётся. А сама Вианн Роше и вовсе не обращает внимания на мои усилия. Причём она даже не стремится ассимилироваться в нашем обществе. Наоборот, всячески подчёркивает свою чужеродность. Выкрикивает мне дерзкие приветствия через всю площадь, поощряет эксцентричность таких, как Арманда, и сумасбродство детей, следующих за ней по пятам. Она выделяется даже в толпе. Если все размеренно шагают по улице, то она обязательно бежит. Бросаются в глаза её волосы, её одежда, неизменно развевающиеся на ветру. Все её наряды совершенно безумных расцветок — оранжевые, жёлтые, в горошек, в цветочек. В мире дикой природы попугай, затесавшийся в стаю воробьёв, вскоре был бы растерзан за своё яркое оперение, а к ней все относятся с симпатией, даже с восхищением. То, что обычно вызывает укоризну, в её исполнении воспринимается без осуждения, лишь только потому, что она — Вианн. Даже Клэрмон не может устоять перед её чарами, а неприязнь, выказываемая его женой, не имеет ничего общего с моральным превосходством — это обычная зависть, что делает Каро мало чести. Вианн Роше по крайней мере не лицемерка, использующая слово Божье для укрепления своего положения в обществе. Однако подобная мысль, — подразумевающая, как оно и есть на самом деле, что я испытываю расположение, даже благоволю к этой женщине, что мне, как священнику, непозволительно, — весьма опасна для меня. Я не вправе кого бы то ни было любить или жаловать. Гнев и благосклонность для меня одинаково неприемлемы. Я должен сохранять беспристрастность — ради своей паствы и церкви. Это мои главные приоритеты.

Глава 26

12 марта. Среда

Шли дни, но Мускат пока не попадался нам на глаза. Жозефина, на первых порах не покидавшая стены «Небесного миндаля», теперь соглашалась дойти без моего сопровождения до булочной или цветочной лавки, находившейся на другой стороне площади. Поскольку она отказалась возвращаться за своими вещами в кафе «Республика», я одолжила ей кое-что из своей одежды. Сегодня на ней синий свитер и цветастый саронг, и в этом наряде она выглядит посвежевшей и миловидной. За те несколько дней, что Жозефина живёт у меня, она изменилась до неузнаваемости. С её лица исчезло выражение глухой враждебности, исчезла настороженность в манерах. Она кажется выше, стройнее, перестала горбиться и кутаться в несколько слоёв одежды, придававших грузность и коренастость её фигуре. Она подменяет меня за прилавком, когда я работаю на кухне, и я уже научила её кондиционировать и смешивать разные сорта шоколада, готовить наиболее простые виды пралине. У Жозефины умелые, искусные руки. Я со смехом напоминаю ей про то, как она продемонстрировала ловкость рук в тот первый свой визит в шоколадную. Она краснеет.

— Я бы в жизни ничего у тебя не украла! — с трогательной искренностью негодует она. — Вианн, неужели ты думаешь...

— Разумеется, нет.

— Знаешь, я...

— Конечно.

Жозефина быстро подружилась с Армандой, хотя прежде они были едва знакомы. Старушка теперь навещает нас каждый день — просто поговорить или купить пакетик любимых абрикосовых трюфелей. Зачастую она приходит вместе с Гийомом, который тоже стал завсегдатаем шоколадной. Сегодня здесь был и Люк. Втроём они заказали по чашке шоколада с эклерами и сели в углу зала. До меня время от времени доносились их смех и восклицания.

Перед закрытием появился Ру. Переступил порог шоколадной опасливо и робко. После пожара я впервые увидела его вблизи и была потрясена произошедшими в нём переменами. Он похудел, волосы

прилизаны назад, лицо угрюмое и невыразительное. Одна ладонь обмотана грязным бинтом. Кожа на одной стороне лица шелушится, как после солнечного ожога.

При виде Жозефины Ру пришёл в замешательство.

— Извините. Я думал, здесь Вианн... — Он резко развернулся, собираясь уйти.

— Подождите, прошу вас. Она на кухне. — Начав работать в шоколадной, Жозефина заметно раскрепостилась, но сейчас слова ей дались с трудом, — возможно, её напугал вид Ру.

Тот топтался на месте.

— Вы ведь из кафе, — наконец произнёс он. — Вы...

— Жозефина Бонне, — перебила она его. — Я теперь живу здесь.

— О.

Я как раз входила в зал и заметила, что его светлые глаза смотрят на неё испытующе. Однако он воздержался от дальнейших расспросов, и Жозефина поспешила удалиться в кухню.

— Очень рада, что ты пришёл, Ру, — прямо сказала я ему. — У меня к тебе просьба.

— О?

Один звук в его устах может быть очень содержательным. Этот выражал вежливое недоумение и подозрительность. Ру напоминал оцетинившуюся кошку, готовую выпустить когти.

— Мне необходимо кое-что сделать в доме, и я подумала, может, ты согласишься... — Я подыскиваю нужные слова, потому что он, я знаю, с ходу отвергнет моё предложение, если сочтёт, что оно сделано из милости.

— К нашей общей приятельнице Арманде, насколько я понимаю, это не имеет отношения, верно? — В его беспечном тоне сквозит суровость. Он повернулся туда, где сидели Арманда и её собеседники, и язвительно крикнул ей: — Что, опять занимаемся тайной благотворительностью? — Потом вновь обратил ко мне своё каменное лицо. — Я пришёл сюда не работу кланчить. Просто хотел спросить, может, ты видела кого у моего судна в ту ночь.

Я покачала головой:

— Мне очень жаль, Ру, но я никого не заметила.

— Что ж, ладно. — Он сделал шаг в сторону двери. — Спасибо.

— Подожди... — окликнула я его. — Выпей хотя бы чего-нибудь.

— В другой раз, — отрывисто, почти грубо отказался он. Я почувствовала, что ему хочется хоть на ком-то сорвать свою злость.

— Мы по-прежнему твои друзья, — сказала я, когда он уже был у

выхода. — И Арманда, и Люк, и я. Не брыкайся. Мы ведь хотим тебе помочь.

Ру резко развернулся — лицо мрачное, на месте глаз серповидные щёлки.

— Усвойте раз и навсегда, вы все. — Его тихий голос полон ненависти, акцент настолько сильный, что слова едва можно разобрать. — Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Мне вообще не следовало с вами связываться. А задержался я здесь только потому, что хотел выяснить, кто поджжёт моё судно.

Он распахнул дверь и по-медвежьки вывалился на улицу под сердитый перезвон бубенчиков.

Мы все переглянулись.

— Рыжие, они и есть рыжие, — с чувством произнесла Арманда. — Упрямые, как ослы.

Жозефина стояла в оцепенении.

— Какой ужасный человек, — наконец промолвила она. — Будто это *ты* подожгла его судно. Какое он имеет право так разговаривать с тобой?

Я пожала плечами.

— Его мучат беспомощность и гнев, и он не знает, кого винить, — мягко объяснила я ей. — Вполне естественная реакция. К тому же он думает, что мы предлагаем ему помощь из жалости.

— Просто я ненавижу сцены, — сказала Жозефина, и я поняла, что она думает о муже. — Слава богу, что он ушёл. Полагаешь, он теперь покинет Ланскне?

— Вряд ли, — ответила я, качая головой. — Да и куда ему ехать-то?

Глава 27

13 марта. Четверг

Вчера после обеда я ходила в Марод, чтобы поговорить с Ру, но с тем же успехом, что и в прошлый раз. Зброшенный дом, в котором он ночевал, был заперт изнутри, ставни закрыты. Я сразу представила, как он сидит в темноте наедине со своим гневом, словно загнанный зверь. Я окликнула его. Он наверняка меня услышал, но не отозвался. Я хотела оставить ему записку на двери, но передумала. Захочет, сам придёт. Анук отправилась со мной, прихватив бумажный кораблик, который я сложила для неё из журнальной обложки. Пока я стояла у дома Ру, она пускала в реке кораблик, длинным гибким прутом придерживая его вблизи берега. Не дождавшись ответа от Ру, я вернулась в «Небесный миндаль», где Жозефина уже начала готовить шоколадную массу на следующую неделю, а дочь оставила на берегу.

— Остерегайся крокодилов, — серьёзно сказала я ей.

Анук глянула на меня из-под жёлтого берета, сверкнула улыбкой и, держа в одной руке прут, в другой — свою дудку, принялась выдувать громкие немелодичные звуки, перескакивая с ноги на ногу в нарастающем возбуждении.

— Крокодилы! На нас напали крокодилы! — кричала она. — Орудия к бою!

— Осторожно, не свались в воду, — предупредила я её.

Анук послала мне щедрый воздушный поцелуй и вернулась к своему занятию. Когда я посмотрела на неё с вершины холма, она уже закидывала крокодилов комками грязи. До меня донеслось отдалённое гудение её трубы — *паа-па-раа!* — перемежаемое воплями — *праши! прум!* Бой продолжался.

Меня захлестнула волна нежности — удивительное ощущение, до сих пор не перестающее удивлять меня. Если сильно прищуриться на солнце, посылающем мне в глаза низкие косые лучи, то и впрямь можно увидеть орудийные вспышки и крокодилов — длинные коричневые тени, выпрыгивающие из воды. Анук носится между домами, сверкая красной курткой и жёлтым беретом, и в отблесках её яркой одежды я действительно различаю едва заметные очертания атакующих её зверей. Внезапно она

останавливается, поворачивается, машет мне и с пронзительным криком: «Я люблю тебя!» вновь принимается за своё серьёзное занятие.

После обеда мы прекратили обслуживание, и всю вторую половину дня вдвоём с Жозефиной трудились не покладая рук, чтобы наделать порцию пралине и трюфелей, которой хватило бы для продажи до конца недели. Я уже начала готовить пасхальные сладости, а Жозефина научилась искусно украшать фигурки зверей и упаковывать их в коробочки, перевязанные разноцветными лентами. Запасы готовой продукции мы сносим в подвал — идеальное место для хранения шоколада. Там темно, сухо и холодно, но не так, как в холодильнике, где шоколад обычно покрывается белым налётом. В подвале хватает места и для сладостей, которыми мы торгуем, и для продуктов домашнего пользования. Под ногами старые плиты, прохладные и гладкие, отшлифованные временем до дубового оттенка. На потолке — одна-единственная лампочка. В нижней части подвальной двери, вытесанной из необработанной сосновой древесины, вырезано отверстие для некогда жившей здесь кошки. Даже Анук нравится этот подвал, где воздух пропитан вековым запахом камня и вина. Пол и белёные стены она разукрасила цветными мелками — нарисовала животных, замки, птиц и звёзды.

Арманда с Люком задержались в шоколадной — поговорили немного, потом вместе ушли. Теперь они встречаются чаще и отнюдь не всегда в «Небесном миндале». Люк признался мне, что на прошлой неделе он дважды навещал бабушку у неё дома и каждый раз по часу возился в саду.

— Теперь, когда д-дом отремонтирован, она хочет р-разбить в саду клумбы, — серьёзно сказал он. — А сама уже не может копать так, как раньше. Говорит, хочет, чтобы в этом году у неё вместо сорняков росли цветы.

Вчера он принёс ей ящик рассады из питомника Нар-сисса и посадил её во вскопанный грунт у одной из стен дома Арманды.

— Посадил л-лаванду, первоцвет, тюльпаны, нарциссы, — объяснил Люк. — Ей больше нравятся яркие цветы, с сильным ароматом. Она стала хуже видеть, поэтому я приготовил также сирень, лакфиоль, раkitник, — в общем, такие растения, которые она заметит. — Он застенчиво улыбнулся. — Я хочу их посадить перед её днём рождения.

Я спросила, когда у Арманды день рождения.

— Двадцать восьмого марта, — ответил мальчик. — Ей исполнится восемьдесят один. Я уже подыскал п-подарок.

— Вот как?

Он кивнул.

— Наверно, куплю ей ш-шёлковую комбинацию. — Тон у него смущённый. — Она любит красивое нижнее бельё.

Подавив улыбку, я сказала, что он выбрал замечательный подарок.

— Придётся съездить в Ажен, — озабоченно продолжал он. — А потом спрятать подарок от мамы, а то она скандал закатит. — Он вдруг улыбнулся. — Может, давайте устроим для неё вечер? Поздравим её со вступлением в следующее десятилетие.

— Надо бы спросить, что она сама думает по этому поводу, — посоветовала я.

В четыре часа домой вернулась Анук — уставшая, довольная и по уши в грязи. Я сделала ванну, сняла с неё грязную одежду и окунула в горячую воду с медовым ароматом. Пока я купала дочь, Жозефина заварила чай с лимоном, и потом мы все вместе сели полдничать шоколадным пирогом, сдобными булочками с ежевичным джемом и крупными сладкими абрикосами из теплицы Нарсисса. Жозефина за столом была задумчива и крутила на ладони абрикос.

— Я всё думаю про этого мужчину, — наконец промолвила она. — Про того, что утром приходил.

— Ру.

Она кивнула.

— Его судно сгорело... — неуверенно произнесла она. — Ты думаешь, это не был несчастный случай, да?

— Он считает, что нет. Говорит, что там пахло бензином.

— По-твоему, как бы он поступил, если б нашёл... — и дальше с усилием в голосе, — виновного?

Я пожала плечами:

— Понятия не имею. Почему ты спрашиваешь, Жозефина? Тебе известно, кто это сделал?

— Нет, — торопливо ответила она. — Но если бы кто-то знал... и скрыл... — Её голос дрогнул. — Он... я имею в виду... что он...

Я посмотрела на неё. Избегая моего взгляда, она рассеянно катала по ладони абрикос. Внезапно я уловила тень её мыслей.

— Ты знаешь, чьих это рук дело, верно?

— Нет.

— Послушай, Жозефина, если тебе что-то известно...

— Я ничего не знаю, — категорично заявила она. — Хотела бы знать, но не знаю.

— Не волнуйся. Тебя никто ни в чём не обвиняет, — с подкупающей

лаской в голосе сказала я.

— Я ничего не знаю! — визгливо повторила она. — Правда, не знаю. И потом, он ведь всё равно уезжает. Он сам сказал. Он не из этих мест и вообще зря сюда приехал, и... — Она оборвала фразу, громко щёлкнув зубами.

— А я видела его сегодня, — доложила Анук с набитым ртом; она жевала булку. — И дом его видела.

Я с любопытством посмотрела на дочь.

— Он с тобой разговаривал?

Она энергично кивнула:

— Конечно. Он сказал, что в следующий раз сделает мне настоящий корабль, из дерева, который не утонет. Если какие-нибудь выродки и его тоже не сожгут. — Анук очень точно передаёт акцент Ру, произносит его слова с теми же рычащими отрывистыми интонациями.

Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку.

— У него дома холодно, — продолжала Анук. — Прямо на середине ковра печка. Он сказал, что я могу приходить к нему, когда захочу. О... — С виноватым выражением на лице она прикрыла рот ладонью. — Он сказал, чтобы только я тебе ничего не говорила. — Она театрально вздохнула. — А я проболталась, *tataa*. Да?

Я со смехом обняла дочь.

— Да.

У Жозефины вид был встревоженный.

— Не нужно ходить в тот дом! — взволнованно воскликнула она. — Ты же не знаешь этого человека, Анук. Вдруг он насильник.

— Думаю, ей ничего не грозит. — Я подмигнула Анук. — Пока она всё мне *рассказывает*.

Анук в ответ тоже мне подмигнула.

Сегодня хоронили одну из жилищ дома для престарелых «Мимозы», расположенного вниз по реке, в связи с чем посетителей у нас было мало — народ не заходил то ли из страха, то ли из уважения к умершей. От Клотильды из цветочной лавки я узнала, что скончалась старушка девяноста четырёх лет, родственница покойной жены Нарсисса. Я увидела Нарсисса — его единственная дань печальному событию — чёрный галстук, надетый под старый твидовый пиджак, — и Рейно в его чёрно-белом одеянии священника. Прямой, как палка, он стоял на входе в церковь с крестом в одной руке; вторую он вытянул в гостеприимном жесте, приглашая внутрь всех, кто пришёл проводить несчастную в последний путь. Таковых оказалось немного. Может, с десятков старушек, все мне

незнакомые. Некоторые пухленькие, похожие на нахохлившихся птичек, как Арманда, другие — усохшие, почти прозрачные от дряхлости, одна сидит в инвалидной коляске, которую толкает белокурая медсестра. Все в чёрном — в чёрных чулках, в чёрных шляпках или платках. Кто-то в перчатках, другие прижимают свои бледные скрюченные руки к плоской груди, словно девственницы на картинах Грюневальда. Пыхтя и отфыркиваясь, они компактной маленькой группкой направлялись к церкви Святого Иеронима. Я видела, главным образом, их пригнутые головы и иногда чьё-нибудь серое лицо с блестящими чёрными глазами, подозрительно косящимися на меня с безопасного расстояния, а медсестра, авторитетная и деятельная, уверенно руководила шествием, катя перед собой инвалидную коляску. Сидевшая в ней старушка держала в одной руке молитвенник и, когда они входили в церковь, запела высоким мяукающим голосом. Остальные хранили молчание и, прежде чем скрыться в темноте храма, кивали Рейно, а некоторые также вручали ему записки в чёрных рамочках, чтобы он прочёл их во время богослужения. Единственный на весь городок катафалк прибыл с опозданием. Внутри — обитый чёрным гроб с одиноким букетиком. Уныло зазвонил колокол. Ожидая посетителей в пустом магазине, я услышала звуки органа — несколько невыразительных нестройных нот, звякнувших, как камешки, бултыхнувшиеся в колодец.

Жозефина, отправившаяся на кухню за меренгами с шоколадным кремом, тихо вошла в зал и промолвила с содроганием:

— Просто ужас какой-то.

Я вспомнила нью-йоркский крематорий, звучный орган, исполнявший «Токкату» Баха, дешёвую блестящую урну, запах лака и цветов. Священник неправильно произнёс имя матери — *Джин Рошер*. Церемония длилась не более десяти минут.

— Смерть нужно встречать, как праздник, — говорила она мне. — Как день рождения. Я хочу взлететь, как ракета, когда наступит мой час, и рассыпаться в облаке звёзд под восхищённое «Аххх!» толпы.

Я развеяла её прах над гаванью вечером четвёртого июля. Гремел салют, с пирса взлетали «бомбы с вишнями», торговали сахарной ватой, воздух наполнился запахами жжёного кордита, горячих сосисок в тесте, жареного лука и едва уловимым смрадом сгнившего мусора, поднимавшимся от воды. Это была Америка, о которой она мечтала. Страна-праздник, страна-развлечение. Сверкают неоновые огни, играет музыка, люди поют и толкаются — sentimentalный дешёвый шик, который она любила. Я дождалась самой яркой части представления и,

когда небо взорвалось разноцветными красками, высыпала на ветер её пепел, и хлопья праха, медленно кружась и оседая в воздухе, мерцали сине-бело-красными искорками. Я хотела бы сказать что-нибудь, но всё уже давно было сказано.

— Просто ужас какой-то, — повторила Жозефина. — Ненавижу похороны. Никогда на них не хожу.

Я промолчала. Глядя на тихую площадь, я слушала орган. По крайней мере, играли не «Токкату». Помощники гробовщика внесли гроб в церковь. Казалось, он очень лёгкий — судя по тому, как они быстро, без должной почтительной медлительности шагали по мостовой.

— Плохо, что мы так близко к церкви, — с нервозностью в голосе промолвила Жозефина. — Я вообще ни о чём думать не могу, когда вижу такое.

— В Китае люди на похороны надевают белые одежды, — стала рассказывать я. — И дарят друг другу подарки в ярких красных упаковках, на счастье. Устраивают фейерверки. Общаются, смеются, танцуют и плачут. А в конце все по очереди прыгают через угли погребального костра, благословляя поднимающийся дым.

Жозефина с любопытством посмотрела на меня.

— Ты и там тоже жила?

— Нет, — качнула я головой. — Но в Нью-Йорке мы знали много китайцев. Для них смерть — прославление жизни покойного.

На лице Жозефины отразилось сомнение.

— Не представляю, как можно *прославлять смерть*, — наконец сказала она.

— А они не смерть прославляют. Жизнь, — объяснила я. — От начала до конца. Даже её печальное завершение. — Я сняла с горячей решётки кувшинчик с шоколадом и наполнила два бокала, а спустя некоторое время принесла с кухни две штучки меренги, всё ещё тёплые и вязкие внутри шоколадной оболочки, украсила их взбитыми сливками и ореховой крошкой и разложила в два блюдца.

— Мне кажется, нельзя сейчас есть. Грешно как-то, — сказала Жозефина, но я заметила, что она всё равно всё съела.

Время близилось к полудню, когда участники похорон наконец-то начали выходить из церкви. Вид у всех ошеломлённый, все жмурятся от яркого солнечного света. Перекусив шоколадом с меренгой, мы немного повеселели. В воротах церкви опять появился Рейно, старушки сели в маленький автобус с надписью «Мимозы», выведенной яркой жёлтой

краской, и площадь вновь приняла свой обычный облик. Проводив скорбящих, в шоколадную пришёл Нарсисс, мокрый от пота, в застёгнутой наглухо рубашке. Когда я выразила ему соболезнования, он пожал плечами.

— А я толком и не знал её, — равнодушно сказал он. — Двоюродная бабушка моей жены. Попала в богадельню двадцать лет назад. Умом тронулась.

Богадельня. Я заметила, как Жозефина поморщилась. Да, «Мимозы» — это всего лишь красивое название, которым нарекли приют, куда приходят умирать. Нарсисс просто соблюдал условности. Его родственницы давно уже не существовало.

Я налила ему шоколад, чёрный и горьковато-сладкий.

— А пирога не желаете? — предложила я.

— Вообще-то я в трауре, — мрачно ответил он, поразмыслив с минуту. — А что за пирог?

— Баварский, с карамельной глазурью.

— Ну, разве что маленький кусочек.

Жозефина смотрела в окно на пустую площадь.

— Тот мужчина опять здесь околачивается, — заметила она. — Из Марода. Направился в церковь.

Я выглянула на улицу. Ру стоял у бокового входа в церковь. Он был взволнован, нервно переминался с ноги на ногу, крепко обхватив себя руками, будто пытался согреться.

Что-то случилось. Внезапно меня охватила твёрдая, паническая уверенность в том, что произошло нечто ужасное. Ру вдруг резко развернулся и быстро зашагал к «Небесному миндалю». Он почти влетел в шоколадную и застыл у двери с поникшей головой, виноватый и несчастный.

— Арманда, — выпалил он. — Кажется, я убил её.

Мы в немом недоумении смотрели на него. Он беспомощно развёл руками, словно отгоняя плохие мысли.

— Я хотел вызвать священника, а телефона у неё дома нет, и я подумал, может, он... — Ру резко замолчал. От волнения его акцент усилился, так что казалось, будто он сыплет непонятными иностранными словами, говорит на некоем странном наречии из гортанных рычащих звуков, которое можно принять за арабский или испанский языки, или верлан, или загадочную помесь всех трёх.

— Я видел, что она... она попросила меня подойти к холодильнику... там лежало лекарство... — Он опять прервал свою речь, не совладав с нарастающим возбуждением. — Я не трогал её. Даже не касался. Я не стал

бы... — Слова с трудом срывались с его языка. Он выплёвал их, словно сломанные зубы. — Они скажут, я набросился на неё. Хотел украсть её деньги. Это неправда. Я дал ей немного бренди, и она просто...

Он умолк. Я видела, что он пытается овладеть собой.

— Так, успокойся, — ровно сказала я. — Остальное расскажешь по дороге. Жозефина останется в магазине. Нарсисс вызовет врача из цветочной лавки.

— Я туда не вернусь, — упёрся Ру. — Я уже сделал, что мог. Не хочу... Я схватила его за руку и потащила за собой.

— У нас нет времени. Мне нужна твоя помощь.

— Они скажут, что это я виноват. Полиция...

— Ты нужен *Арманде*. Пойдём, *быстро!*

По дороге в Марод он мне сбивчиво поведал о том, что произошло. Ру, испытывая угрызения совести за свою вспышку в «Миндале» минувшим днём и видя, что дверь дома Арманды открыта, решил зайти и увидел, что старушка сидит в кресле-качалке в полуобморочном состоянии. Ему удалось привести её в чувство настолько, что она сумела произнести несколько слов. «Лекарство... холодильник...» На холодильнике стояла бутылка бренди. Ру наполнил стакан и влил ей в рот несколько глотков.

— А она взяла... и затихла. И я не смог привести её в сознание. — Его душило отчаяние. — Потом я вспомнил, что у неё диабет. Наверно, пытаюсь помочь, я убил её.

— Ты её не убил. — Я запыхалась от бега, в левом боку нещадно кололо. — Она очнётся. Ты мне поможешь.

— А если она умрёт? Думаешь, мне поверят? — сердито вопрошал он.

— Не ной. Врача уже вызвали.

Дверь дома Арманды по-прежнему распахнута настежь, в проёме маячит кошка. Изнутри не доносится ни звука. Из болтающейся водосточной трубы с крыши стекает дождевая вода. Ру скользнул по ней оценивающим взглядом профессионала: «Нужно поправить». У входа он помедлил, словно ожидая приглашения.

Арманда лежала на коврике перед камином. Её лицо блеклого грибного оттенка, губы синие. Слава богу, Ру выбрал для неё правильную позу: одну её руку сунул ей под голову в качестве подушки, а шею повернул так, чтобы обеспечить полную проходимость дыхательных путей. Она неподвижна, но едва заметное колебание спёртого воздуха у её губ свидетельствует о том, что она дышит. Рядом — сброшенная с её колен недоконченная вышивка и опрокинутая чашка с выплеснутым кофе,

образующим на коврике пятно в форме запятой. Ни дать ни взять, сцена из немого фильма. Её кожа под моими пальцами холодна, как рыба чешуя; в прорезях век, тонких, как мокрая гофрированная бумага, виднеется тёмная радужная оболочка. Чёрная юбка на ней задралась чуть выше колен, открывая постороннему взору алую оборку. При виде старых больных коленок в чёрных чулках и яркой шёлковой нижней юбки, надетой под невзрачное домашнее платье, меня вдруг пронзила острая жалость к старушке.

— Ну? — рыкнул в волнении Ру.

— Думаю, выживет.

В его глазах — недоверие и подозрительность.

— В холодильнике должен быть инсулин, — сказала я ему. — Наверно, это лекарство она и просила. Быстро давай его сюда.

Своё лекарство — пластмассовую коробочку с шестью ампулами инсулина и одноразовыми шприцами — она хранит вместе с яйцами. На другой полочке коробочка трюфелей с надписью «Небесный миндаль» на крышке. Кроме конфет, продуктов в доме почти нет. Открытая банка сардин, остатки мелко рубленной жареной свинины в жирной бумаге, несколько помидоров. Я ввела ей препарат в вену на руке. Это я умею. Когда состояние матери начало резко ухудшаться в связи с болезнью, которую она пыталась излечить множеством методов нетрадиционной терапии — акупунктурой, гомеопатическими средствами, ясновидением, — мы всё чаще стали прибегать к старому испытанному способу — морфию. Покупали его на чёрном рынке, если не могли достать рецепт. И хотя мать не жаловала наркотики, она была счастлива, когда боль утихала, и, обливаясь потом, жадно смотрела на башни Нью-Йорка, плывущие перед её глазами, словно мираж. Я приподняла Арманду. Кажется, она лёгкая, как пёрышко, голова безвольно болтается. На одной щеке следы румян, отчего лицом она похожа на клоуна. Я зажимаю её застывшие негнущиеся руки между своими ладонями, растираю суставы, грею пальцы.

— Арманда. Очнись. *Арманда.*

Ру стоит растерянный, в замешательстве и одновременно с надеждой во взоре наблюдая за моими действиями. Пальцы Арманды в моих ладонях словно связка ключей.

— Арманда, — громко и властно говорю я. — Тебе нельзя сейчас спать. Очнись.

Наконец-то. Едва уловимый трепет тела, звук, похожий на шорох листьев:

— Вианн.

В следующую секунду Ру уже на коленях возле нас. Лицо пепельное, но глаза сияют.

— Ну-ка повтори, упрямая карга! — Его облегчение настолько велико, что даже больно смотреть. — Я знаю, ты в сознании, Арманда. Я знаю, ты меня слышишь! — Он обратился на меня напряжённый нетерпеливый взгляд и, почти смеясь, спросил: — Она ведь заговорила, да? Мне не померещилось?

— Она сильная, — ответила я, качнув головой. — И ты пришёл как раз вовремя, а то она провалилась бы в кому. Скоро укол начнёт действовать. Продолжай говорить с ней.

— Хорошо. — Он начал говорить, немного сердито, задыхаясь и пристально всматриваясь в её лицо в надежде увидеть в нём признаки сознания. Я продолжала растирать её руки, чувствуя, как они постепенно теплеют.

— Не шути так с нами, Арманда. Ишь чего удумала, старая ведьма! Ты же здорова, как лошадь. Тебе ещё жить да жить. К тому же я ведь только что починил твою крышу. Неужели я пахал ради того, чтобы всё это досталось твоей дочери? Я знаю, ты слышишь, Арманда. Ты же меня слышишь. Чего ты ждёшь? Хочешь, чтобы я извинился? Ладно, извини. — По его лицу струятся слёзы. — Ты слышала? Я извинился. Я — неблагодарная скотина, извини. А теперь очнись и...

— ...орун проклятый...

Ру умолк на полуслове. Арманда издала сдавленный смешок. Её губы беззвучно зашевелились, взгляд блестящих глаз стал осмысленным. Ру взял её лицо в свои ладони.

— Напугала тебя, а? — Голос у неё невероятно слабый.

— Нет.

— Напугала. — Это сказано удовлетворённым шаловливым тоном.

Тыльной стороной ладони Ру отёр глаза.

— Ты ведь ещё не расплатилась со мной за всю работу, — надтреснутым голосом произнёс он. — Вот я и испугался, что так и не получу своих денежек, только и всего.

Арманда усмехнулась. Она постепенно набиралась сил, и нам общими стараниями удалось поднять её и усадить в кресло. Бледность ещё не сошла с её лица, сдувшегося, словно гнилое яблоко, но взгляд был ясный и живой. Ру повернулся ко мне, и я впервые со дня пожара увидела непринуждённое выражение на его лице. Наши ладони соприкоснулись. На долю секунды в воображении промелькнули его черты в освещении луны,

изгиб голого плеча на траве, я ощутила слабый аромат сирени... Мои глаза распахнулись в глупом удивлении. Ру, должно быть, тоже что-то почувствовал, ибо он отшатнулся от меня, как ошпаренный.

Арманда тихо хмыкнула.

— Я попросила Нарсисса позвонить врачу, — сообщила я ей с деланой беспечностью. — Он будет здесь с минуты на минуту.

Арманда посмотрела на меня, мы обменялись понимающими взглядами. Интересно, насколько глубоко *она* видит? — уже не в первый раз задалась вопросом я.

— Этого остолопа я в своём доме не потерплю, — заявила старушка. — Можешь с ходу отослать его восвояси. Я не нуждаюсь в его наставлениях.

— Но вы больны, — запротестовала я. — Могли умереть, если б Ру случайно не зашёл.

Арманда остановила на мне насмешливый взгляд.

— Вианн, — начала терпеливо объяснять она. — Смерть — удел стариков. Такова жизнь. Это случается сплошь и рядом.

— Да, но...

— А в богадельню я не пойду, — продолжала Арманда. — Так и передай им от меня. Заставить они меня не могут. Я прожила в этом доме шестьдесят лет и умереть тоже хочу здесь.

— Никто ни к чему тебя не принуждает, — резко сказал Ру. — Просто ты зачем-то пренебрегаешь лекарствами. Впредь принимай их аккуратно.

— Не всё так просто, — улыбнулась Арманда.

— Почему же? — упрямылся Ру.

— Спроси у Гийома, — ответила она, пожимая плечами. — Мы с ним много говорили. Он понимает, — Она ещё не вполне окрепла, но голос её уже почти обрёл здоровую звучность. — Я *не* хочу принимать лекарства каждый день, — спокойно сказала Арманда. — Не хочу соблюдать бесконечные диеты. Не хочу, чтобы меня обслуживали добрые сиделки, которые будут сюсюкать со мной, как с ребёнком ясельного возраста. Мне, слава богу, восемьдесят лет, и, если я в этом возрасте не в состоянии решить для себя, что я хочу... — Она внезапно оборвала свою речь и спросила: — Кто там?

Слух у неё отличный. Я тоже уловила едва слышное тарахтенье машины,двигающейся по неровной дороге. Врач.

— Если это тот лицемерный шарлатан, скажите ему, что он зря тратит время, — вспылила Арманда. — Скажите ему, что я абсолютно здорова. Пусть ищет себе других пациентов. Я в нём не нуждаюсь.

— По-моему, он привёз с собой половину Ланскне, — сообщила я, выглянув в окно. Автомобиль, синий «Ситроен», был набит людьми. Кроме врача, бледного мужчины в чёрном костюме, на заднем сиденье теснились Каролина Клэрмон, её подруга Жолин и Рейно. Спереди сидел Жорж Клэрмон. Смущённый и сконфуженный, он всем своим видом выказывал немой протест. Хлопнула дверца машины, прибывшие разом засуетились, и над шумом их возни взмыл по-птичьи пронзительный голосок Каролины:

— Я ведь её предупреждала! Разве я не говорила ей, Жорж? Никто не посмеет обвинить меня в том, будто я пренебрегаю своим дочерним долгом. Я пожертвовала всем ради этой женщины, и, посмотрите, как она...

Под быстрыми шагами захрустел гравий, открылась входная дверь, и дом огласился какофонией голосов незваных гостей.

— Матап? *Матап?* Держись, дорогая, это я! Я иду! Сюда, пожалуйста, месье Кюссонне, сюда, в... ах да, вы же здесь бывали, верно? О боже, сколько раз я говорила ей... *так и знала*, что это случится...

— По-моему, зря мы ввалились толпой, ты не находишь, Каро, дорогая? — робко вставил Жорж. — Давай не будем мешать доктору.

— Интересно, что *он* делал в этом доме? — чопорным надменным тоном вопрошает Жолин. — Во всяком случае...

— ...следовало прийти ко мне... — доносится тихий голос Рейно.

Гости ещё не вошли, а Ру уже ошетинился, быстро огляделся, ища, куда бы ему скрыться. Но было поздно. Сначала появились Каролина с Жолин — обе с одинаковыми безупречными причёсками, в одинаковых костюмах-двойках и шарфах от «Гермеса», следом — Клэрмон в тёмном костюме и галстук — весьма необычный наряд для работы на лесопилке, или, может, жена заставила его переодеться по такому случаю? — врач и священник. Все застыли в дверях. На лицах — шок, ярость, обида, вежливое недоумение, виноватость... Сцена из мелодрамы. Ру — одна рука перевязана, мокрые волосы лезут в глаза — встретил их дерзким взглядом. Я сама, в оранжевой юбке, которую заляпала в грязи, пока бежала по Мароду, стою у двери. Арманда, бледная, но спокойная, невозмутимо покачивается в своём старом кресле. Её чёрные глаза сверкают коварством, один палец скрючен, как у ведьмы...

— Итак, стервятники слетелись. — Голос её полнится подозрительной приветливостью. — Быстро же вы примчались, а? — Пристальный взгляд в сторону Рейно, стоящего в хвосте группы. — Что, решил, наконец-то пришёл твой час, да? — съязвила она. — Думал успеть прочесть наскоро пару молитв, пока я без памяти? — Она вульгарно хохотнула. — Не повезло тебе, Франсис. Рано меня отпевать.

— Вижу, — с кислым видом отвечал Рейно. Он бросил взгляд в мою сторону. — Наше счастье, что мадемуазель Роше *умеет* обращаться со шприцами. — В его словах скрывалась издёвка.

Каролина будто приросла к полу. Она улыбалась, но в её лице читалась явная досада.

— *Maman, cherie*, вот видишь, что получается, когда мы оставляем тебя одну. Ты так нас всех напугала. — Арманда слушала дочь со скучным выражением на лице. — Столько людей на ноги подняла, оторвала всех от дел... — Ларифлет запрыгнула старушке на колени, и та стала рассеянно поглаживать кошку. — Теперь ты понимаешь, почему мы говорим тебе...

— Что мне будет лучше в богадельне? — сухо продолжила Арманда. — В самом деле, Каро. Ну никак ты не угомонишься. Вылитый отец. Как и он, — глупая, но настойчивая. Чем он меня и подкупил.

Каро теряла терпение.

— «Мимозы» вовсе не богадельня, и если б ты соизволила хоть раз *взглянуть*...

— Кормление через трубочку, справление нужды под присмотром, дабы не свалиться с унитаза...

— Ты ведёшь себя нелепо.

Арманда рассмеялась.

— Моя милая девочка, я уже в том возрасте, когда могу вести себя, как захочу. Могу быть нелепой, если мне это нравится. Я уже настолько стара, что мне дозволено *всё*.

— Ну вот, капризничаешь, как ребёнок, — надулась Каро. — «Мимозы» — очень хороший, привилегированный пансион. Там ты сможешь общаться со своими ровесниками, гулять, ни о чём не заботиться...

— Заманчивая перспектива. — Арманда продолжала лениво покачиваться в своём кресле.

Каро повернулась к врачу, щуплому нервному мужчине, неуклюже топтавшемуся возле неё. Вид у него сконфуженный, как у скромника, случайно угодившего на оргию. Чувствуется, что ему очень хотелось бы отсюда уйти.

— Симон, *скажи* ей!

— Вообще-то я не уверен, что имею право...

— Симон со мной согласен, — решительно перебила его Каро. — В твоём возрасте, да ещё с таким здоровьем, как у тебя, просто *нельзя* жить одной. Да что говорить, ты можешь в любое время...

— Совершенно верно, мадам Вуазен, — поддержала подругу Жолин.

Голос у неё ласковый и рассудительный. — Вы бы прислушались к Каро... я хочу сказать, конечно, вам не хочется терять независимость, но ради вашего же блага...

Арманда быстро перевела на Жолин насмешливый взгляд своих блестящих глаз. Та осеклась и отвернулась, краснея.

— Прошу всех уйти, — спокойно сказала Арманда. — *Всех* без исключения.

— Но, *tata*n...

— *Всех* без исключения, — повторила старушка безапелляционным тоном. — Вот этому шарлатану уделю две минуты наедине, — вынуждена напомнить вам, месье Кюссонне, о том, что вы давали клятву Гиппократу, — и к тому времени, когда закончу с ним, надеюсь, никого из вас, стервятников, здесь не будет. — Она попыталась встать с кресла. Я поддержала её за руку. — Спасибо, Вианн, — поблагодарила меня Арманда, скривив губы в озорной усмешке. — И тебе спасибо... — Это относилось к Ру, всё ещё стоявшему в дальнем конце комнаты с безучастным видом. — Я хочу поговорить с тобой, когда врач уйдёт. Так что задержись.

— С кем? Со мной? — смешался Ру.

Каро посмотрела на него с нескрываемым презрением.

— Мне кажется, *tata*n, сейчас тебе лучше быть с родными...

— Если ты мне понадобишься, я знаю, где тебя найти, — отрезала Арманда. — Мне нужно сделать кое-какие распоряжения.

Каро глянула на Ру.

— О-о? — Её возглас был пронизан неприязнью. — Распоряжения? — Она смерила Ру взглядом, и я заметила, как он вздрогнул. Аналогичную реакцию я прежде наблюдала у Жозефины. Он напряжился, ссутулился, засунул руки глубоко в карманы, словно пытался уменьшиться в размерах. Но от пристального недружелюбного внимания трудно скрыть недостатки. На секунду Ру увидел себя её глазами — грязного, неуклюжего — и из чувства противоречия повёл себя согласно роли, которую она отвела ему.

— Ну, чего вылупилась? — рявкнул он.

В лице Каролины промелькнул испуг, она попятилась. Арманда усмехнулась.

— Увидимся позже, — сказала она мне. — Ещё раз спасибо.

Каро, не скрывая своего разочарования, вышла вслед за мной. Раздираемая любопытством и нежеланием разговаривать со мной, она всё же снизошла до расспросов, но держалась заносчиво. Я вкратце поведала о том, что произошло. Рейно слушал с непроницаемым выражением на лице,

словно одна из статуй в его церкви. Жорж, пытаясь замять неловкость, глупо улыбался за всех и сыпал банальностями.

Ни один из них не предложил подвезти меня до дому.

Глава 28

15 марта. Суббота

Сегодня утром я опять ходил к Арманде Вуазен в надежде поговорить с ней. И она опять отказалась принять меня. Дверь мне открыл её рыжий цербер. Встав в дверях, чтобы я не мог проникнуть в дом, он на своём варварском диалекте прорычал мне, что Арманда чувствует себя хорошо и для полного выздоровления ей необходим покой. С ней её внук, сообщил он, и друзья навещают её каждый день. Последнее сказано с сарказмом, так что я невольно прикусил язык. Волновать её нельзя, добавил он. Мне противно умолять этого человека, но я знаю свои обязанности. С какой бы низкой компанией она ни связалась, как бы ни насмехалась надо мной, мой долг остаётся неизменным. Нести утешение — даже если им пренебрегают — и направлять. Однако говорить о душе с этим человеком бесполезно — взгляд у него пустой и безучастный, как у зверя. И всё же я попытался объяснить. Арманда стара, сказал я. Стара и упряма. Нам обоим отведено так мало времени. Неужели он не понимает? Неужели позволит, чтобы она погубила себя небрежением и самонадеянностью?

— Она ни в чём не нуждается, — заявил он мне, пожимая плечами. Его лицо дышит откровенной неприязнью. — Ей обеспечен хороший уход. Она скоро поправится.

— Неправда. — Я намеренно резок. — Она играет собственной жизнью, пренебрегая лечением. Отказывается следовать указаниям врача. Ест *шоколад*, во имя всего святого! Ты только подумай, к чему это может привести, с её-то здоровьем! Почему...

На его лице появляется замкнутое, отчуждённое выражение.

— Она не желает вас видеть.

— Неужели тебе всё равно? Неужели безразлично, что она убивает себя обжорством?

Он передёрнул плечами. Я чувствую, что он кипит от гнева, хотя внешне силится сохранять невозмутимость. Вывать к его лучшим чувствам бессмысленно: он просто стоит на страже, как ему велено. Мускат говорит, что Арманда предлагала ему деньги. Возможно, ему выгодно, чтобы она поскорее убралась. Арманда — порочная, своенравная женщина. Как раз в её духе лишить наследства родных ради какого-то

бродяги.

— Я подожду, — сказал ему. — Буду ждать целый день, если придётся.

Я ждал в саду два часа. Потом полил дождь. Зонт я с собой не взял, и моя сутана отяжелела от влаги. Я окоченел, начала кружиться голова. Спустя некоторое время окно кухни распахнулось, и на меня дохнуло одуряющими запахами кофе и тёплого хлеба. Я увидел, как сторожевой пёс бросил на меня угрюмый презрительный взгляд, и понял, что он даже пальцем не пошевелит, если я упаду в обморок на его глазах. Я повернулся и стал медленно подниматься по холму к церкви. Он смотрел мне вслед, а потом откуда-то с реки до меня донёсся смех.

С Жозефиной Мускат я тоже потерпел поражение. Церковь она перестала посещать, но мне всё же удалось несколько раз побеседовать с ней. К сожалению, безрезультатно. В ней теперь будто сидит некий металлический стержень. Она упряма и непреклонна, хотя на протяжении всего разговора ведёт себя почтительно и голоса не повышает. От «Небесного миндаля» она не рискует далеко отходить, и сегодня я застал её прямо у магазина. Она подметала возле крыльца, обвязав голову жёлтым шарфом. Приближаясь к ней, я услышал, что она тихо напевает себе под нос.

— Доброе утро, мадам Мускат, — учтиво поздоровался я, зная, что вернуть её в лоно семьи и церкви можно только лаской и рассудительностью. Потом, когда цель будет достигнута, можно будет заставить её раскаяться в содеянном.

Она скупой улыбнулась мне. Теперь вид у неё более уверенный. Спину она держит прямо, голову — высоко, — копирует повадки Вианн Роше.

— Я теперь Жозефина Бонне, *pere*.

— Это против закона, мадам.

— *Подумаешь*, закон. — Она пожала плечами.

— Закон, установленный *Господом*, — с осуждением подчёркиваю я. — Я молюсь за тебя, *ma fille*. Молюсь за спасение твоей души.

Она рассмеялась — недобрым смехом.

— Значит, ваши молитвы услышаны, *pere*. Я ещё никогда не была так счастлива.

Она непоколебима. Едва ли неделю прожила под патронажем этой женщины и уже говорит её словами. Их смех невыносим. Их издевательские колкости в духе Арманды раздражают, повергают меня в ступор, приводят в ярость. Я уже чувствую, как что-то во мне поддаётся слабости, к которой, мне казалось, я невосприимчив. Глядя через площадь на шоколадную, на её яркую витрину, на горшки с розовой, красной и

оранжевой геранью на балкончиках и по обеим сторонам двери, я чувствую, как мой разум начинает подтачивать предательское сомнение, а во рту собирается слюна при воспоминании о её запахах — сливок, пастилы, жжёного сахара, опьяняющей смеси коньяка и свежемолотых какао-бобов. Эти запахи преследуют меня — благоухание женских волос у нежной впадинки на шее под затылком, аромат спелых абрикосов на солнце, тёплых булочек и круассанов с корицей, лимонного чая и ландышей. Фимиами, рассеиваемый ветром, развевающийся, словно знамя восстания, дух дьявола, но не серный, как нас учили в детстве, а тонкий, изысканный, пробуждающий чувственность, сочетающий в себе целый букет самых разных пряностей, от которых звенит голова и воспаряет душа. Я стал замечать за собой, что стою у церкви и тяну шею навстречу ветру, пытаюсь уловить ароматы шоколадной. Эти запахи сняты мне, и я пробуждаюсь мокрый от пота и голодный. Во сне я объедаюсь шоколадом, катаюсь в шоколаде, и по консистенции он отнюдь не рассыпчатый, а мягкий, как плоть. Будто тысячи губ ласкают, с наслаждением щиплют моё тело. Умереть от их ненасытной нежности — предел всех моих мечтаний, и в такие мгновения я почти понимаю Арманду, укорачивающую себе жизнь с каждым глотком этого восхитительного лакомства.

Я сказал: *почти*.

Я знаю свой долг. Теперь я сплю очень мало, ужесточив наложенную на себя епитимью, дабы избавиться от своих постыдных порывов. Все мои суставы нестерпимо ноют, но я рад этой отвлекающей боли. Физическое наслаждение — лазейка для дьявола, трещина, через которую он запускает свои щупальца. Я избегаю приятных запахов. Ем один раз в день, и то самую простую и безвкусную пищу. Когда не исполняю обязанности по приходу, обустроиваю церковное кладбище, вскапывая клумбы и пропалывая сорняки у могил. За последние два года кладбище пришло в запустение, и я испытываю неловкость, когда вижу буйные заросли в этом некогда ухоженном саду. Среди злаковых трав и чертополоха растут в изобилии лаванда, душица, золотарник и шалфей. Такое немыслимое разнообразие запахов выбивает меня из равновесия. Я предпочёл бы упорядоченные ряды кустов и цветов, может, обнёс бы кладбище живой изгородью. Нынешняя пышность вызывает возмущение. Это жестокая, беспринципная борьба за существование: одно растение душист другое в тщетной попытке добиться господства. Нам дана власть над природой, сказано в Библии. Но я отнюдь не чувствую себя властелином. Меня мучает беспомощность, ибо, пока я копаю, подрезаю, облагораживаю, неистребимые армии зелёных сорняков просто-напросто занимают

свободные позиции у меня за спиной, и, вытягивая вверх свои длинные зелёные языки, насмеваются над моими усилиями. Нарсисс наблюдает за мной со снисходительным недоумением.

— Лучше бы посадить здесь что-нибудь, *pere*, — советует он. — Засеять свободные участки чем-нибудь стоящим. А то сорняки так и будут лезть.

Он, разумеется, прав. Я заказал сотню разных растений из его питомника — покорных растений, которые я высажу стройными рядами. Мне нравятся бегонии, ирисы, бледно-жёлтые георгины, лилии — чопорные пучки цветков на концах стеблей, красивые, но лишённые аромата. Красивые и неагрессивные, обещает Нарсисс. Природа, приручённая человеком.

Посмотреть на мою работу пришла Вианн Роше. Я не обращаю на неё внимания. На ней бирюзовый свитер, джинсы и красные замшевые туфли. Волосы её развеваются на ветру, словно пиратский флаг.

— У вас чудесный сад. — Она провела рукой по зарослям, зажала кулак и поднесла его к лицу, вдыхая осевший на ладони запах. — Столько трав, — говорит она. — Мелисса лимонная, душистая мята, шалфей...

— Я не знаю названий, — резко отвечаю я. — Я не садовник. К тому же это всё сорняки.

— А я люблю сорняки.

Разумеется. Я чувствую, как моё сердце разбухает от злости, — а может, от запаха? Стоя по пояс в колышущейся траве, я вдруг ощутил неимоверную тяжесть в нижней части позвоночника.

— Вот скажите мне, мадемуазель.

Она послушно обращает ко мне своё лицо, улыбается.

— Объясните, чего вы добиваетесь, побуждая моих прихожан бросать свои семьи, жертвовать своим благополучием...

Она смотрит на меня пустым взглядом.

— Бросать семьи? — Она глянула озадаченно на кучу сорняков на тропинке.

— Я говорю о Жозефине Мускат, — вспыхнул я.

— А-а. — Она ущипнула стебелёк лаванды. — Она была несчастна. — Очевидно, в её понимании, это исчерпывающее объяснение.

— А теперь, нарушив брачный обет, бросив всё, отказавшись от прежней жизни, она, по-вашему, стала счастливее?

— Конечно.

— Замечательная философия, — презрительно усмехнулся я. — Если её исповедует человек, для которого не существует понятие «грех».

Она рассмеялась.

— А для меня и впрямь такого понятия не существует. Я в это не верю.

— В таком случае мне очень жаль ваше несчастное дитя, — уколол я её. — Она воспитывается в безбожии и безнравственности.

— Анук знает, что хорошо, а что плохо, — ответила она, пристально глядя на меня, но уже не забавляясь, и я понял, что наконец-то задел её за живое. Одержал над ней одну крошечную победу. — Что касается Бога... — отчеканила она, — не думаю, что, надев сутану, вы получили единоличное право общения с Господом. Убеждена, мы вполне могли бы ужиться с вами в одном городе, вы не находите? — уже более мягко закончила она.

Я не стал отвечать на её вопрос — знаю, что кроется за её терпимостью, — вместо этого приосанился и изрёк с достоинством:

— Если вы и впрямь хотите сеять добро, значит, вы уговорите мадам Мускат пересмотреть своё поспешное решение. И убедите мадам Вуазен проявлять здравомыслие.

— Здравомыслие? — Она изображает недоумение, хотя на самом деле прекрасно понимает, о чём идёт речь. Я почти слово в слово повторяю ей то, что сказал рыжему церберу. Арманда стара, своевольна и упряма. Однако люди её возраста не способны правильно оценить состояние собственного здоровья. Не понимают, сколь важно соблюдать диету и строго следовать предписаниям врача. А она продолжает упорно пренебрегать фактами...

— Но Арманда вполне счастлива у себя дома, — рассудительным тоном возражает она. — Она не хочет перебираться в приют для престарелых. Она хочет умереть там, где живёт.

— Она не имеет права! — Отзвук моего голоса отозвался на площади, как щелчок кнута. — Не ей принимать решение. Она могла бы ещё долго жить, возможно, лет десять...

— Она и проживёт. Что ей мешает? — В её тоне сквозит упрёк. — Ноги у неё ходят, ум ясный, она самостоятельна...

— *Самостоятельна!* — Я едва скрываю раздражение. — Через полгода она ослепнет. И что тогда будет делать со своей самостоятельностью?

Впервые Роше пришла в замешательство.

— Ничего не понимаю, — наконец промолвила она. — По-моему, со зрением у неё всё в порядке. Она ведь даже очки не носит, верно?

Я внимательно посмотрел на неё. Она и в самом деле пребывала в неведении.

— Значит, вы не беседовали с её врачом?

— С какой стати? Арманда...

— Арманда серьёзно больна, — перебил я её. — Но постоянно отрицает это. Теперь вы понимаете, сколь безрассудна она в своём упрямстве? Она не желает признаться в этом даже себе и своим близким...

— Расскажите, прошу вас. — Взгляд у неё твёрдый, как камень.

И я рассказал.

Глава 29

16 марта. Воскресенье

Поначалу Арманда делала вид, будто не знает, о чём идёт речь. Потом, перейдя на властный тон, потребовала, чтобы я сказала, «кто это наболтал», одновременно обвиняя меня в том, что я сую нос в чужие дела и вообще не понимаю, о чём говорю.

— Арманда, — сказала я, едва она умолкла, чтобы перевести дух. — Расскажи мне всё. Объясни, что это значит. Диабетическая ретинопатия...

Она пожала плечами.

— Почему ж не объяснить, если этот чёртов докторишка всё равно всем разболтает? — Тон у неё сварливый. — Обращается со мной так, будто я не в состоянии самостоятельно решать за себя. — Она сердито глянула на меня. — И ты, мадам, туда же. Квохчешь вокруг меня, суетишься... Я не ребёнок, Вианн.

— Я знаю.

— Что ж, ладно. — Арманда взялась за чашку, стоявшую у её локтя, но, прежде чем поднять, крепко обхватила её пальцами, проверила, надёжно ли она сидит в руке. Это не Арманда, а я слепа. Красный бант на трости, неуверенные жесты, незаконченная вышивка, разные шляпки с полями, скрывающие глаза...

— Помочь мне ничем нельзя, — продолжала старушка более мягким тоном. — Насколько я понимаю, это неизлечимо, а посему никого, кроме меня, не касается. — Она глотнула из чашки и поморщилась. — Настояй ромашки. — Это сказано без воодушевления. — Якобы выводит токсины. На вкус — кошачья моча. — Так же осторожно и неторопливо она отставила чашку. — Плохо вот только, что читать не могу. Совсем перестала шрифт разбирать. Мне Люк читает иногда. Помнишь, как я попросила его почитать мне Рембо в ту первую среду?

Я кивнула.

— Вы так говорите, будто с тех пор лет десять прошло.

— Так оно и есть. — Голос у неё бесцветный, почти без интонаций. — Я добила того, о чём прежде и мечтать не смела, Вианн. Мой внук навещает меня каждый день. Я беседую с ним, как со взрослым. Он хороший парень и добрый, переживает за меня...

— Он любит вас, Арманда, — вставила я. — Мы все вас любим.

— Ну, может, и не все, — хмыкнула она. — Однако это не имеет значения. У меня есть всё, что мне нужно для полного счастья. Дом, друзья, Люк. — Она бросила на меня строптивый взгляд и решительно заявила: — И я не позволю, чтобы у меня всё это отняли.

— Я не понимаю. Ведь вас никто не может принудить...

— Я веду речь не о *конкретных* лицах, — резко перебила она меня. — Пусть Кюссонне сколько влезет талдычит об имплантации сетчатки, сканограммах, лазерной терапии и прочей ереси... — она не скрывала своего презрения к современной медицине, — фактов это не изменит. А правда состоит в том, что я скоро ослепну и предотвратить этот процесс не может никто.

Она сложила на груди руки, давая понять, что тема закрыта.

— Мне следовало раньше к нему обратиться, — добавила она без горечи. — Теперь процесс необратим, и зрение с каждым днём ухудшается. Ещё полгода я что-то смогу видеть — это самое большее, что он может мне обещать, — потом богадельня, хочу я того или нет, до самой смерти. — Она помолчала и проронила задумчиво, повторяя слова Рейно: — Глядишь, ещё лет десять проживу.

Я хотела возразить ей, намеревалась сказать, что ещё не всё потеряно, но передумала.

— И не смотри на меня так, девонька. — Арманда озорно подтолкнула меня локтём. — После шикарного обеда из пяти блюд тебе хочется кофе и ликёра, правильно? Ты ведь не станешь есть на десерт кашу, верно? Просто ради того, чтобы напихать в себя побольше?

— Арманда...

— Не перебивай. — Её глаза блестят. — Это я к тому говорю, что нужно знать, когда остановиться, Вианн. Нужно вовремя отодвинуть тарелку и попросить десерт. Через две недели мне будет восемьдесят один год...

— Но это всё равно ещё не возраст, — не сдержалась я. — Не могу поверить, что вы готовы вот так просто взять и сдаться.

Арманда посмотрела на меня.

— И всё же ты сама посоветовала Гийому не лишать Чарли последней капли уважения.

— Но вы же не собака! — сердито воскликнула я.

— Нет, — тихо ответила Арманда. — И у меня есть выбор.

Нью-Йорк — жестокий город. Зимой нестерпимо холодно, летом —

невыносимо душно, всюду кричащая безвкусица. Через три месяца даже к шуму привыкаешь, перестаёшь замечать сливающийся воедино гул машин и людских голосов, обволакивающий город, словно дождь. Она переходила улицу, возвращаясь домой из кулинарии с пакетом в руках, в котором лежал наш обед. Я заметила её, когда она находилась на середине проезжей части, перехватила её взгляд, мельком глянула на рекламу сигарет «Мальборо» — мужчина на фоне красных гор — за её спиной... И вдруг увидела мчащееся на неё такси. Открыла рот, чтобы крикнуть, предупредить её. И оцепенела. Всего на секунду, на одну секунду. Этого было достаточно. От страха ли мой язык прирос к небу? Или просто все реакции организма замедляются при виде неминуемой опасности и мысль в мозгу формируется мучительно долго? Или меня парализовала надежда, та самая надежда, которая приходит, когда надеяться уже не на что и жизнь превращается в непрерывную медленную пытку самообманом?

Конечно, татап, конечно, мы доберёмся до Флориды. Обязательно доберёмся.

На её лице застыла улыбка, глаза неестественно яркие, сверкают, как искры салютов Четвёртого июля.

Что я буду делать, как буду без тебя?

Не волнуйся, татап. Мы прорвёмся. Обещаю. Доверься мне.

Рядом с мерцающей улыбкой на губах стоит Чёрный человек, и в эту нескончаемую секунду я понимаю, что на свете есть нечто более страшное, гораздо страшнее смерти. Потом оцепенение проходит, и я оглашаю улицу пронзительным криком, но моё предостережение запоздало. Она обращает ко мне растерянный взор, её губы складываются в улыбку — *что, что такое, дорогая?* — и мой вопль — то, что я прокричала вместо «татап», — потонул в визге тормозов.

«Флорида!» Похоже на женское имя. Это взвизгнула на всю улицу молодая женщина. Побросав покупки — охапку бакалейных продуктов, пакет молока, — она выскочила на дорогу с перекошенным лицом. «Флорида!» Будто так зовут немолодую женщину, умирающую на улице.

Она скончалась прежде, чем я успела к ней подбежать. Скончалась тихо и буднично, так что я едва ли не устыдилась своей излишне бурной реакции. И крупная женщина в розовом спортивном костюме утешала меня, обхватив своими толстыми мясистыми руками. А я на самом деле испытывала *облегчение*, и мои слёзы были слезами горькой жгучей радости оттого, что я наконец-то освободилась от бремени. Достигла финиша целой и невредимой или почти невредимой.

— Не плачь, — ласково сказала Арманда. — Разве не ты всегда

утверждаешь, что самое главное на свете — счастье?

Я с удивлением обнаружила, что моё лицо мокро от слёз.

— К тому же мне нужна твоя помощь. — Всегда и во всём практичная, Арманда вытащила из кармана носовой платок и протянула его мне. Платок источал аромат лаванды. — Я на день рожденья хочу устроить вечеринку, — объявила она. — Идея Люка. Затраты — не вопрос. Тебя я попросила бы обеспечить меню.

— Что? — смешалась я от столь быстрых переходов от смерти к празднику и обратно.

— Моё последнее пиршество, — объяснила Арманда. — До этого буду принимать все лекарства, как пай-девочка. Даже чай этот вонючий буду пить. Хочу отпраздновать восемьдесят первый день рождения, Вианн, в кругу всех своих друзей. Бог свидетель, даже дочь свою глупую приглашу. Устроим твой праздник шоколада с шиком. А потом... — Она равнодушно пожала плечами. — Не каждому так везёт, — заметила Арманда. — Не каждому выпадает шанс всё спланировать, навести порядок в каждом углу. И вот ещё что... — Она остановила на мне пронизывающий взгляд. — Никому ни слова. *Никому*. Вмешательства я не потерплю. Это мой выбор, Вианн. Мой праздник. И я не желаю слышать плач и нытье на своём торжестве. Ясно?

Я кивнула.

— Обещаешь?

Я словно разговаривала с неугомонным ребёнком.

— Обещаю.

Её лицо вновь засияло от удовольствия, как всегда, когда она заводила речь о вкусной еде. Арманда потёрла руки.

— А теперь обсудим меню.

Глава 30

18 марта. Вторник

Вдвоём с Жозефиной мы трудились на кухне. Я всё больше молчала, и она не преминула высказать замечание по этому поводу. Мы уже наделали триста пасхальных упаковок с шоколадными конфетами — перевязанные лентами, они лежали аккуратными стопками в подвале, — но я планировала приготовить вдвое больше. Если удастся продать их все, прибыль будет солидная, и, глядишь, этой выручки хватит на то, чтобы мы осели здесь навсегда. Если нет... альтернативы я не допускала даже в мыслях, хотя флюгер на башне скрипел так, будто хохотал надо мной. Ру уже начал обустраивать для Анук комнату на чердаке. Праздник шоколада — рискованное предприятие, но нашими судьбами всегда повелевал риск. К тому же мы делаем всё возможное, чтобы наша затея увенчалась успехом. В Ажен и соседние города разослали афиши. Договорились, чтобы местное радио ежедневно сообщало о нашем празднике на пасхальной неделе. Будут цветы, игры, музыка, — несколько старых друзей Нарсисса организовали небольшой оркестр. Я беседовала с лоточниками, торгующими на рынке по четвергам, и они пообещали разбить на площади торговые палатки с безделушками и сувенирами. Дети под предводительством Анук и её приятелей будут искать пасхальное яйцо; каждый получит *cornet-surprise*. А в «Небесном миндале» мы установим огромную шоколадную статую Остары со снопом колосьев в одной руке и корзиной с яйцами в другой, которой будут лакомиться все участники празднества. До Пасхи меньше двух недель. Мы делаем порциями по пятьдесят штук миниатюрные шоколадки с ликёром, розочки, монетки в золотой оболочке, фиалковые помадки, шоколадные вишенки, миндальные рулетики и выкладываем их остывать на смазанные жиром противни. После начинаем этими сладостями аккуратно расщеплённые полые яйца и фигурки животных. В каждое гнездо из карамели с яйцами в твёрдой сахарной скорлупе сажаем хохлатую шоколадную курочку. Ряды пегих кроликов, начинённых позолоченным миндалём, ждут, когда их обернут в фольгу и разложат по коробочкам. По полкам шагают марципановые существа. Дом полнится запахами ванили, коньяка, карамелизованных яблок и горького шоколада.

А теперь ещё нужно готовиться и ко дню рождения Арманды. Я составила список блюд и напитков, которые она хотела бы видеть на своём столе. Гусиную печёнку, шампанское, трюфели и свежие лисички нам доставят из Бордо, *plateaux de fruits de mer* — из ресторанчика Ажена. Торты и лакомства из шоколада я приготовлю сама.

— Здорово, — восторгается из кухни Жозефина, слушая мой рассказ о предстоящем празднике. Я вынуждена напомнить себе про обещание, данное Арманде.

— Ты тоже приглашена, — говорю я ей. — Она так сказала.

— Спасибо, — отозвалась Жозефина, краснея от удовольствия. — Все так добры ко мне.

Потрясающе благодушная женщина, размышляю я. В каждом видит доброе начало. Даже Поль-Мари не убил в ней оптимизм. Его поведение, говорит она, это отчасти её собственная вина. Он — слабый человек, и ей следовало давно дать ему отпор. Каро Клэрмон и её закадычные приятельницы вызывают у Жозефины снисходительную улыбку.

— Они просто глупые, — мудро замечает она.

Вот такая незамысловатая душа. Теперь она безмятежна, в ладу с собой и с внешним миром. А я, напротив, из мерзкого духа противоречия, всё чаще теряю покой. И всё же я завидую ей. Потребовалось так мало, чтобы привести её в это состояние. Немного тепла, несколько предметов одежды из моего гардероба, свободная комната, где она сама себе хозяйка... Как цветок, она тянется к свету, бездумно, не анализируя процессы,двигающие ею. Мне бы так.

И опять я мыслями невольно обратилась к своей воскресной беседе с Рейно. Его побудительные мотивы для меня до сих пор остаются загадкой. В последнее время вид у него немного безумный, особенно когда он трудится на церковном кладбище, с остервенением вгрызаясь в землю мотыгой, порой вместе с сорняками выдирая целые кусты и цветы. По его спине струится пот, образуя на сутане тёмный треугольник. Но работа в саду не доставляет ему удовольствия. Его черты перекошены от напряжения. Кажется, будто он ненавидит землю, которую разрыхляет, ненавидит растения, которые пропалывает. Он похож на скрягу, вынужденного сжигать в печке накопленные банкноты. На его лице отражаются ненасытность, отвращение и невольное восхищение. Но он не бросает своего каторжного занятия. Наблюдая за ним, я чувствую, как во мне просыпается знакомый страх, хотя и сама не понимаю, чего боюсь. Просто этот человек, мой враг, он как машина. Кажется, его испытующий взгляд пронизывает меня насквозь. Ценою огромных усилий я заставляю

себя смотреть ему в глаза, улыбаться, изображать беспечность, хотя внутри меня что-то отчаянно визжит, побуждая пуститься в бегство. Он ненавидит меня жгучей ненавистью, но не праздник шоколада тому причиной. Мне это абсолютно очевидно, как будто я читаю его мрачные мысли. Его возмущает само моё существование. Я для него — живое надругательство над устоями морали. Сейчас он украдкой поглядывает на меня из своего сада, косится на мою витрину и, скрывая торжество, вновь принимается за работу. Мы не общались с ним с воскресенья, и он решил, что победа осталась за ним, ведь Арманда больше не появляется в «Небесном миндале». Очевидно, он счёл, что она образумилась благодаря его вмешательству. Пусть думает, что хочет, если ему так нравится.

Анук призналась, что минувшим днём Рейно приходил к ним в школу, рассказывал про Пасху — безобидная болтовня, но меня бросило в дрожь при мысли, что моя дочь общалась с ним, — прочитал рассказ, обещал наведаться ещё раз. Я спросила, разговаривал ли он с ней.

— Ага, — беззаботно отвечала она. — Он хороший. Сказал, что я могу прийти в его церковь, если хочу. Там есть святой Франциск и много маленьких зверей.

— А ты хочешь?

— Может, и схожу, — сказала Анук, пожимая плечами.

Я убеждаю себя — в предрассветные часы, когда всё кажется возможным и мои нервы скрипят, как несмазанные петли флюгера, — что мой страх неоправдан. Что он может нам сделать? Как может навредить, если даже очень того хочет? Он ничего не знает. Абсолютно ничего не знает о нас. Он не имеет силы и власти.

Имеет, говорит во мне голос матери. Ведь это Чёрный человек.

Анук беспокойно заворочалась во вне. Чуткая к перепадам моего настроения, она всегда чувствует, если я не сплю, и сейчас силится выкарабкаться из трясины засасывающих сновидений. Я стала дышать ровно и глубоко, пока она вновь не затихла.

Чёрный человек — выдумка, твёрдо говорю я себе. Воплощение страхов в образе карнавальной куклы. Страшная сказка, рассказанная на ночь. Пугающая тень в незнакомой комнате.

В ответ мне снова явилось то же видение, яркое и чёткое, как цветной диапозитив: у кровати старика стоит в ожидании Рейно; его губы шевелятся, будто он читает молитву, за его спиной, словно витраж, освещённый солнцем, стена огня. Тревожная картина. Что-то хищническое сквозит в позе священника, два окрашенных в багрянец лица чудовищно похожи, отблески пламени, гуляющие между ними, предвещают угрозу. Я

пытаюсь применить мои знания психологии. Чёрный человек как вестник смерти — это архетип, отражающий мой страх перед неведомым. Неубедительное объяснение. Частица моего существа, всё ещё принадлежащая матери, аргументирует более красноречиво.

Ты — моя дочь, Вианн, неумолимо говорит она мне. *Ты понимаешь, что это значит.*

Это значит, что мы должны срываться с места каждый раз, когда меняется ветер, должны искать своё будущее по гадальным картам, должны всю жизнь вытанцовывать фугу...

— Но ведь я — обычный человек. — Я едва ли сознаю, что мыслю вслух.

— *Maman?* — сонным голосом окликает меня Анук.

— Шш, — успокаиваю я её. — Ещё не утро. Спи.

— Спой мне песенку, *taman*, — бормочет она, рукой нащупывая меня в темноте. — Про ветер.

И я запела. Пела и слушала свой голос, сопровождаемый тихим скрипом флюгера.

V'la l'bon vent, V'la l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma vie m'appelle.
V'la l'bon vent, V'la l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma mie m'attend.

Спустя некоторое время дыхание Анук вновь выровнялось, и я поняла, что она спит. Её рука, отяжелевшая во сне, по-прежнему покоится на мне. Когда Ру закончит работу на чердаке, у Анук снова появится своя комната, и мы перестанем стеснять друг друга по ночам. Сегодняшняя ночь слишком живо напоминает ночёвки в гостиничных номерах, в которых останавливались мы с матерью. Обе влажные от собственного дыхания, сквозь запотевшие окна пробивается неумолчный гул городских улиц.

V'la l'bon vent, V'la l'joli vent.

На этот раз — нет, молча поклялась я себе. На этот раз мы не уедем. Что бы ни случилось. Но, даже погружаясь в сон, я сознаю, что эта мысль мне самой кажется столь же желанной, сколь и невероятной.

Глава 31

19 марта. Среда

В последние дни в магазине Роше суеты стало меньше. Арманда Вуазен больше не навещается туда, хотя я встречал её несколько раз после того, как она поправилась. Шла уверенным шагом, почти не опираясь на свою трость. Нередко её сопровождает Гийом Дюплесси со своим тощим шенком. И Люк Клэрмон каждый день ходит в Марод. Каролина Клэрмон, узнав, что её сын тайком навещает бабушку, досадливо усмехнулась.

— Последнее время ничего не могу с ним поделать, *pere*, — пожаловалась она. — То не ребёнок, а золото, такая *умница*, такой *послушный*, а то вдруг... — Она жеманно всплеснула руками и прижала к груди свои ухоженные пальчики. — Я только поинтересовалась — в самой *тактичной* форме, — почему же он не *сказал* мне, что навещает бабушку... — Она вздохнула. — Как будто я стала бы *возражать*. Глупый мальчик. Разумеется, я не возражаю, сказала я ему. Это *замечательно*, что ты так хорошо ладишь с ней... в конце концов, ты её единственный наследник... А он вдруг как взбесился, заорал на меня, стал кричать, что ему *плевать* на деньги, что он специально ничего не говорил, так как знал, что я всё испорчу, что я назойливая биб-лиолюбка — её слова, *pere*, голову даю на отсечение...

Тыльной стороной ладони она отёрла глаза, но так, чтобы не испортить свой безупречный макияж.

— Чем я провинилась, *pere*! — сетовала она. — Я всё делаю для этого ребёнка, ни в чём ему не отказываю. А он отвернулся от меня, швыряет мне в лицо оскорбления... ради этой женщины... — В её глазах стоят слёзы, но тон жёсткий. — Это так больно, больнее, чем укус змеи, — стонет она. — Вы не представляете, *pere*, каково это матери.

— О, вы не единственная, кто пострадал от благожелательного вмешательства мадам Роше, — сказал я. — Посмотрите, сколько перемен она внесла в жизнь города. И всего за несколько недель.

— Благожелательного вмешательства! — фыркнула Каролина, шмыгнув носом. — Вы слишком добры, *pere*. Это порочная, коварная женщина. Она едва не погубила мою мать, настроила её против меня...

Я кивком подбодрил её.

— Не говоря уже о том, что она сотворила с браком Муската, — продолжала Каролина. — Меня поражает ваше терпение, *pere*. Я просто в недоумении. — Её глаза злобно блестят. — Не понимаю, почему вы не используете своё влияние, *pere*.

Я пожал плечами:

— Да ведь я обычный сельский священник. У меня нет большой власти. Я могу осудить, но...

— Вы способны сделать гораздо больше, чем просто осудить! — сердито воскликнула Каролина. — Зря мы не прислушались к вам, *pere*. Зря стали терпеть её здесь.

— Задним числом легко судить, — сказал я, пожимая плечами. — Помнится, даже вы заходили к ней магазин.

Она покраснела.

— Теперь мы могли бы вам помочь. Поль Мускат, Жорж, Арнольды, Дру, Прюдомы... Мы будем действовать сообща. Очерним её. Обратим народ против неё. Ещё не поздно.

— А повод? Эта женщина законов не нарушает. Всё, что вы ни скажете, назовут злобной сплетней, и вы останетесь при своих интересах.

Каролина сморщила губы в улыбке.

— Мы могли бы провалить её драгоценный праздник. Даже не сомневайтесь, — заявила она.

— Вот как?

— Конечно. — Возбуждение обезобразило её черты. — У Жоржа широкий круг общения. И человек он состоятельный. Мускат тоже пользуется влиянием. К нему многие заходят, а он умеет агитировать. Городской совет...

Ещё как умеет. Я помню его отца, помню то лето, когда к нам приплыли речные цыгане.

— Если её праздник провалится, — а я слышала, она уже немало потратила на его подготовку, — тогда, не исключено, что ей придётся...

— Не исключено, — вкрадчиво отвечаю я. — Разумеется, сам я в вашей кампании не участвую. С моей стороны это было бы... актом немилосердия.

По её лицу я вижу, что она поняла намёк.

— Конечно, *mon pere*. — Её голос полнится нетерпением и злорадством. Презренная женщина. Пыхтит и виляет хвостом, как разгорячённая сучка. Однако такие вот ничтожества и есть наши орудия, *pere*. Кому, как не тебе, это знать?

Глава 32

21 марта. Пятница

Ремонт на чердаке почти завершён. Штукатурка местами ещё не высохла, но новое окно, круглое, в медном обрамлении, как иллюминатор корабля, готово. Завтра Ру настелит пол, и, когда половицы будут отциклёваны и покрыты лаком, мы перенесём кровать Анук в её новую комнату. Двери нет. Входом служит люк с опускающей лестницей из десяти ступеней. Анук уже горит нетерпением. Почти постоянно торчит в проёме чердака, надзираая за работой Ру и давая ему «ценные» указания. Остальное время проводит со мной на кухне, наблюдает за приготовлениями к Пасхе. Часто с ней Жанно. Они сидят рядышком у кухонной двери и тараторят сразу в два голоса. Мне приходится подкупом выпроваживать их на улицу. После болезни Арманды к Ру вернулось прежнее расположение духа. Он насвистывает, накладывая последние мазки краски на чердачные стены. Ремонт он сделал отлично, хоть и не своими инструментами, об утрате которых он очень сожалеет. Те, которыми он работает сейчас, позаимствованы с лесопилки Клэрмона. По утверждению Ру, эти инструменты не совсем удобные, и он намерен при первой же возможности приобрести свои собственные.

— В Ажене есть место, где торгуют старыми речными судами, — сказал он мне сегодня, подкрепляясь чашкой шоколада с эклерами. — Хочу купить старый корпус и отремонтировать его за зиму. Сделаю из него красивый и удобный плавучий дом.

— И сколько денег на это нужно?

Он пожал плечами:

— Наверно, тысяч пять франков, может, четыре. Посмотрим.

— Арманда с удовольствием одолжила бы тебе.

— Я не возьму. — В этом вопросе он непреклонен. — Она и так мне помогла достаточно. — Указательным пальцем он обвёл ободок чашки. — К тому же Нарсисс предложил мне работу. Сначала в его питомнике, потом на винограднике, когда придёт пора сбора урожая, а там дальше картошка, бобы, огурцы, баклажаны... В общем, до ноября без дела сидеть не буду.

— Замечательно. — Его энтузиазм неожиданно вызвал во мне прилив тёплой радости. Мне было приятно, что к нему вернулось хорошее

настроение. Он и выглядел теперь лучше. Стал более уравновешен, избавился от своего ужасного затравленного выражения, отчего прежде его лицо напоминало заколоченное наглухо окно дома, населённого призраками. Последние несколько дней он ночевал у Арманды по её просьбе.

— На тот случай, если меня опять прихватит, — серьёзно сказала она, заговорщицки подмигнув мне за его спиной. Может, с её стороны это была и уловка, но я очень обрадовалась тому, что Ру согласился присматривать за ней по ночам.

В отличие от Каро Клэрмон. В среду утром она явилась в «Небесный миндаль» вместе с Жолин Дру — якобы для того, чтобы поговорить об Анук. Ру сидел за прилавком, потягивая кофейный шоколад. Жозефина, всё ещё побаивавшаяся его, упаковывала на кухне конфеты. Анук завтракала. Перед ней на прилавке жёлтая чашка с какао и половинка круассана. Женщины одарили Анук сахарными улыбками и брезгливо покосились на Ру. Тот отвечал им дерзким взглядом.

— Надеюсь, я не помешала? — с вышколенной учтивостью в голосе обратилась ко мне Жолин, однако за её приветливостью и обаянием не было ничего, кроме равнодушия.

— Вовсе нет. Мы как раз завтракаем. Позвольте предложить вам шоколад?

— Нет, нет, что вы! Я никогда не завтракаю. — Выразительный взгляд в сторону Анук, на который моя дочь, занятая завтраком, и не подумала обратить внимания.

— Мне хотелось бы поговорить с вами, — проворковала Жолин. — *С глазу на глаз.*

— Можно, конечно, и с глазу на глаз, — отвечала я. — Но думаю, в этом нет необходимости. Вы всё можете сказать прямо здесь. Уверена, Ру не станет возражать.

Ру усмехнулся, а Жолин сразу скисла.

— Видите ли, это несколько *деликатный* вопрос.

— Тогда, мне кажется, вы обратились не по адресу. Полагаю, деликатные вопросы больше в компетенции кюре Рейно...

— Нет, я желала бы поговорить именно с вами, — процедила сквозь зубы Жолин.

— Вот как? И о чём же? — вежливо поинтересовалась я.

— Это касается вашей дочери. — Она сдержанно улыбнулась. — Как вам известно, я — её классный руководитель.

— Да, я в курсе. — Я налила Ру ещё одну чашку кофейного

шоколада. — А в чём дело? Она плохо учится? Не успевает по каким-то предметам?

Я прекрасно знаю, что учёба Анук даётся легко. Она читает запоем с четырёх с половиной лет, а по-английски изъясняется почти так же бегло, как и по-французски, поскольку одно время мы жили в Нью-Йорке.

— Нет, нет, — поспешила разубедить меня Жолин. — Она — очень умная, сообразительная девочка. — Быстрый взгляд в сторону Анук, но моя дочь по-прежнему слишком поглощена своим завтраком. Думая, что я не наблюдаю за ней, она ловко стянула с витрины шоколадную мышку и запихнула её в середину своего круассана, чтобы он по вкусу напоминал *pain au chocolat*.

— Значит, она плохо себя ведёт? — Преувеличенно озабоченным тоном уточняю я. — Хулиганит? Грубит? Выказывает непослушание?

— Нет, нет. *Разумеется*, нет. Ничего подобного.

— А что же тогда?

Каро смотрела на меня с терпким выражением на лице.

— На этой неделе кюре Рейно несколько раз приходил в школу, — уведомила она меня. — Чтобы поговорить с детьми о Пасхе, объяснить значение этого религиозного праздника и так далее.

Я кивком дала понять, что внимательно слушаю. Жо-лин участливо улыбнулась мне.

— Видите ли, Анук... — опять смущённый взгляд в сторону моей дочери, — не скажу, что это *хулиганство*, но она задаёт очень странные вопросы. — Она скривила губы в неодобрительной усмешке и повторила: — *Очень* странные.

— Ну, моя дочь всегда отличалась пытливым умом, — беззаботно отвечала я. — Уверена, вы и сами поощряете дух любознательности в ваших учениках. И потом, — озорно добавила я, — не хотите же вы сказать, что месье Рейно настолько несведущ в отдельных областях, что не способен ответить на вопрос ребёнка.

Глупо улыбаясь, Жолин заверила меня в обратном.

— Но своими вопросами она расстраивает остальных детей, мадам, — строго сказала она.

— Вот как?

— Анук убеждает их, что Пасха на самом деле вовсе не христианский праздник и что Господь наш... — она помедлила в замешательстве, — что предание о воскресении Христа позаимствовано из более древних сказаний о каком-то боге урожая. О каком-то божестве плодородия языческих времён. — Она выдавила ледяной смешок.

— Да. — Я провела рукой по кудряшкам дочери. — Она у нас начитанная девочка, правда, Нану?

— Я только спросила про Остару, — без тени смущения объяснила Анук. — Кюре Рейно говорит, что в честь её праздники давно уже не устраивают, а я сказала, что *мы* устраиваем.

Я прикрыла ладонью рот, пряча улыбку.

— Думаю, он просто не понял тебя, солнышко. Наверно, не стоит мучить его вопросами, если они его так огорчают.

— Они огорчают *детей*, мадам, — указала Жолин.

— Вовсе нет, — возразила Анук. — Жанно говорит, что на праздник мы должны развести костёр, зажечь красные и белые свечи и всё такое. Жанно говорит...

— Жанно говорит слишком много, — перебила её Каролина.

— Должно быть, весь в маму, — заметила я.

Жолин приняла оскорблённый вид.

— Вы, я вижу, не очень-то обеспокоены поведением дочери, — сказала она, чуть приглушив свою улыбку.

— Я не вижу причин для беспокойства, — невозмутимо отвечала я, пожимая плечами. — Если я вас правильно поняла, моя дочь просто участвует в обсуждениях, устраиваемых в классе.

— Есть темы, которые *не подлежат* обсуждению, — вспылила Каро, и я на мгновение под лоском благовоспитанности узрела в ней её мать, властную и деспотичную. Я даже прониклась к ней симпатией за то, что она проявила характер. — Некоторые вещи должно принимать на веру, и, если бы ваш ребёнок воспитывался по законам морали... — Она смущённо прикусила язык. — Впрочем, я не собираюсь читать *вам* лекцию о воспитании детей, — сухо закончила она.

— Это радует, — с улыбкой сказала я. — Мне не хотелось бы ссориться с вами.

Обе женщины смотрели на меня с выражением обескураженности и неприязни.

— Вы уверены, что не хотите выпить шоколаду?

Каро скользнула тоскливым взглядом по полкам с пралине, трюфелями, миндальным печеньем, нугой, эклерами, вафлями в шоколаде, вишнями с ликёром и засахаренным миндалём.

— Удивительно, как у вашего ребёнка ещё не сгнили зубы, — съязвила она.

Анук обнажила в улыбке оскорбительно здоровые зубы. Их белизна, должно быть, вызвала у Каро ещё большее раздражение.

— Мы впустую тратим время, — холодно заметила она Жолин.

Я промолчала, Ру подавил смешок. На кухне у Жозефины играло радио, и несколько секунд в зале слышалось только резонирующее от напольной плитки треньканье.

— Пошли, — скомандовала Каро своей подруге. Жолин растерянно топталась на месте. — Я сказала: *пошли!* — Недовольно взмахнув рукой, Каро устремилась из шоколадной. Жолин засеменила следом.

— Не думайте, будто я не знаю, какую игру вы ведёте, — злобно бросила она мне на прощанье. Обе женщины вышли на улицу, и, цокая каблучками по мостовой, зашагали через площадь к церкви.

На следующее утро мы нашли первую листовку. Скомканная, она лежала на тротуаре возле нашего магазина. Жозефина подобрала её, когда подметала у порога, и показала мне. Сложенный вдвое листок печатного текста, фотокопия на розовой бумаге. Подписи нет, но стиль выдаёт автора.

Заголовок:

ПАСХА И ВОЗВРАТ К ВЕРЕ

Я быстро пробежала глазами воззвание. Содержание его первой половины было вполне предсказуемо. Великий праздник и самоочищение, грех, молитвы и радость покаяния. Моё внимание привлёк отпечатанный жирным шрифтом подзаголовок во второй части листовки.

НОВЫЕ ВОЗРОЖДЕНЦЫ:

НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД СВЯТЫМ ПРАЗДНИКОМ

Всегда найдётся горстка людей, пытающихся *использовать Наши Священные Традиции в Собственных Интересах*. Индустрия поздравительных открыток. Сеть супермаркетов. Но ещё большее Зло представляют люди, которые *стремятся возродить Древние Обычаи*, привлекая наших детей к участию в *Языческих Обрядах*, которые они называют *Увеселительными Мероприятиями*. Многие из нас, слишком многие, не усматривают в том никакого вреда и относятся к подобным «забавам» с неоправданной терпимостью. Иначе как объяснить, что наше

общество согласилось на проведение так называемого *Праздника Шоколада* возле нашей Церкви в Пасхальное Воскресенье? Это *издевательство* над нашими священными устоями, которые символизирует Пасха. Во имя ваших Невинных Детей мы настоятельно призываем всех *Бойкотировать* этот так называемый праздник и подобные ему торжества.

СИМВОЛ ПАСХИ — ЦЕРКОВЬ, А НЕ ШОКОЛАД!

— Церковь, а не шоколад, — расхохоталась я. — Замечательный лозунг. Ты не находишь?

Вид у Жозефины встревоженный.

— Не понимаю тебя, — промолвила она. — Ты будто совсем не обеспокоена.

— А чего беспокоиться-то? — Я пожала плечами. — Это же просто листовка. И я абсолютно точно знаю, кто её написал.

Она кивнула.

— Каро. — Тон у неё уверенный. — Каро и Жолин. Это в их духе. Весь тот бред про невинных детей. — Она насмешливо фыркнула. — Однако к ним прислушиваются, Вианн. Народ хорошенько подумает, прежде чем пойти. Жолин — наша учительница, а Каро — член городского совета.

— О? — Здесь, оказывается, есть и городской совет! Напыщенные фанатики и сплетники. — Ну и что они могут сделать? Арестуют, что ли, всех?

Жозефина качнула головой.

— Поль тоже член совета, — тихо сказала она.

— Ну и что?

— А ты же знаешь, какой он. На всё способен. — В голосе Жозефины сквозит отчаяние. Я заметила, что в периоды стресса она возвращается к своей старой привычке — большими пальцами впивается в грудную клетку. — Он сумасшедший, ты же знаешь. Он просто... — Она растерянно замолчала и стиснула кулаки. И опять у меня создалось впечатление, будто она хочет мне что-то сообщить, будто ей *известно* что-то. Я коснулась её руки, осторожно внедряясь в её мысли, но вновь не увидела ничего, кроме грязного серого дыма на фоне багрового неба.

Дым! Я сжала её ладонь. *Дым!* Теперь я поняла это видение, даже различила детали: его лицо — бледное расплывчатое пятно в темноте, нахальная торжествующая улыбка. Жозефина молча смотрела на меня,

догадываясь, что я раскрыла её тайну, о чём свидетельствовал её потемневший взгляд.

— Почему ты мне не сказала? — наконец спросила я.

— У тебя нет доказательств, — заявила она. — Я ничего не говорила.

— Этого и не требовалось. Поэтому ты боишься Ру? Из-за того, что сделал Поль?

Она вызывающе выпятила подбородок.

— Я его *не боюсь*.

— Но и не общаешься с ним. Даже в одной комнате с ним находиться не можешь. Никогда не посмотришь ему в глаза.

Жозефина сложила на груди руки, словно говоря: я всё сказала.

— Жозефина? — Я повернула её лицо к себе, заставила посмотреть мне в глаза. — *Жозефина?*

— Ну хорошо, — низким угрюмым тоном заговорила она. — Да, я знала. Знала, что задумал Поль. И сказала ему, что предупрежу их, если он что-то попытается сделать.

Тогда он меня и ударил. — Она злобно глянула на меня, скривила губы, стараясь не разрыдаться и громко, с дрожью в голосе, продолжала: — Да, я трусиха. Теперь ты знаешь, какая я. Ты смелая, а я — лгунья и трусиха. Я не остановила его. Могли погибнуть люди. Ру, или Зезет, или её ребёнок. *По моей вине!* — Она судорожно втянула в себя воздух. — Не говори ему. Я этого не вынесу.

— Я ничего не скажу, — ласково произнесла я. — Ты *сама* ему расскажешь.

Она остервенело замотала головой:

— Нет. Нет. Я не могу.

— Успокойся, Жозефина, — стала увещевать её я. — Ты ни в чём не виновата. Никто ведь *не погиб*, верно?

— Я не могу. Не могу, — упрямо твердила она.

— Ру не такой, как Поль, — убеждала я. — Он скорее на тебя похож. Ты даже не представляешь, сколько в вас общего.

— Я не знаю, что ему сказать. Пусть бы уезжал поскорей, — выпалила она, ломая руки. — Забрал бы свои деньги и отправлялся отсюда.

— Ты этого не хочешь, — заметила я. — Да он и не уедет. — Я передала ей свой разговор с Ру — сообщила о его намерении купить старое судно в Ажене и о том, что Нарсисс предложил ему работу. — По крайней мере, он заслуживает того, чтобы знать, кто виноват в его несчастье, — настаивала я. — Тогда он поймёт, что, кроме Муската, никто больше здесь не испытывает к нему ненависти. Пойми это, Жозефина. Представь, каково

ему сейчас, поставь себя на его место.

Она вздохнула.

— Не сегодня. Расскажу, но как-нибудь в другой раз, хорошо?

— В другой раз легче всё равно не будет, — предупредила я. — Хочешь, я пойду с тобой?

Она вытаращилась на меня.

— Скоро он сделает перерыв, — объяснила я. — Отнеси ему чашку шоколада.

Она молчит. Лицо бледное, взгляд пустой, опущенные руки трясутся. Я взяла из горки на столе шоколадную конфету с орехами и сунула в её приоткрытый рот.

— Это придаст тебе смелости, — сказала я и, отвернувшись, налила большую чашку шоколада. — Не стой как истукан. Жуй. — Она издала непонятный звук, как будто прыснула от смеха. Я вручила ей чашку. — Готова?

— Пожалуй, — ответила она, пережёвывая вязкую конфету. — Пойду попробую.

Я оставила их одних. Перечитала листовку, которую Жозефина подобрала на улице. *Церковь, а не шоколад*. Да, забавно. Наконец-то Чёрный человек проявил чувство юмора.

На улице ветрено, но тепло. Марод сверкает в солнечных лучах. Я медленно бреду к Танну, наслаждаясь теплом солнца, греющего мне спину. Весна наступила внезапно, словно за каменным утёсом вдруг открылась взору широкая долина. В одночасье сады и газоны запестрели нарциссами, ирисами, тюльпанами. Зацвели даже трущобы Марода, но здесь в природе властвует эксцентричность. На балконе дома у реки раскинула ветви бузина, крышу устилает ковёр из одуванчиков, на осыпающемся фасаде торчат головки фиалок. Некогда окультуренные растения вернулись в своё первобытное состояние: между зонтиками болиголова пробиваются маленькие кустики герани с сильно развитым стеблем; тут и там виднеются цветки выродившегося самосевного мака — всех оттенков от оранжевого до розовато-лилового, кроме его родного красного. Несколько солнечных дней, и они уже пробудились ото сна, спрыснутые дождём, тянут свои головки к свету. Выдернешь пригоршню этих растений, считающихся сорняками, и окажется, что вместе со щавелем и крестовником растут шалфей, ирисы, гвоздики и лаванда. Я долго бродила у реки, давая возможность Жозефине и Ру уладить свои разногласия, а потом медленно зашагала домой окольными путями — поднялась по переулку

Революционного Братства, прошла по улице Поэтов, окаймлённой тёмными, глухими, почти беззаконными стенами домов, где лишь изредка попадались натянутые между балконами верёвки с сохнувшим бельём да с какого-нибудь карниза свисали зелёные гирлянды выюнков.

Я застала их вдвоём в магазине. Между ними на прилавке ополовиненный кувшин с шоколадом. Глаза у Жозефины заплаканные, но выглядит она почти счастливой — сразу видно, что сбросила тяжесть с души. Ру хохочет над её остроумными замечаниями. Он так редко смеётся, что сейчас его смех непривычно режет слух, как некая причудливая экзотическая мелодия. А ведь они отличная пара, отметила я, вдруг испытав нечто очень похожее на зависть.

Позже, когда Жозефина отправилась за покупками, я спросила у Ру про его разговор с ней. О Жозефине он отзывается очень осторожно, но глаза его при этом сияют, будто в них прячется улыбка. А Муската, как выяснилось, он подозревал и без её признания.

— Она молодец, что ушла от этого ублюдка, — сердито сказал Ру. — То, что он творил... — Он вдруг смешался, стал без причины вертеть, двигать чашку по прилавку. — Такой человек не заслуживает жены, — наконец пробормотал он.

— Что ты собираешься делать? — спросила я.

— А что тут сделаешь? — прозаично заметил Ру, пожимая плечами. — Мускат будет всё отрицать. Полиции на это плевать. Да я предпочёл бы и не вмешивать полицию, — признался он. Должно быть, некоторые факты его биографии лучше не ворошить.

Как бы то ни было, Жозефина с той поры перестала чураться Ру, приносит ему шоколад и печенье, когда он делает перерыв в работе, и я часто слышу, как они смеются. На её лице больше не появляется испуганное рассеянное выражение, она стала тщательнее следить за своей внешностью, а сегодня утром даже объявила, что намерена забрать из кафе свои вещи.

— Давай я схожу с тобой, — предложила я.

Жозефина мотнула головой.

— Сама управлюсь. — Вид у неё счастливый, она в восторге от собственного решения. — К тому же, если я не посмотрю в лицо Полю... — Она умолкла и смущённо потупилась. — Просто я подумала, что нужно сходить, вот и всё. — В её раскрасневшемся лице непреклонность. — У меня там книги, одежда... Я хочу забрать их, пока Поль всё не выкинул.

Я кивнула.

— Когда пойдёшь?

— В воскресенье, — не колеблясь ответила она. — Он будет в церкви. Если повезёт, вообще с ним не встречусь. Я ведь ненадолго. Туда и обратно.

Я пристально посмотрела на неё.

— Ты уверена, что тебе не нужны провожатые?

Жозефина качнула головой:

— Уверена.

Чопорность на её лице вызвала у меня улыбку, но я поняла, что она имела в виду. Кафе — его территория, *их* территория, где каждый уголок, каждая вещь хранят неизгладимый отпечаток их совместной жизни. Мне там не место.

— Ничего со мной не случится, — улыбнулась она. — Я знаю, как с ним обходиться, Вианн. Раньше же получалось.

— Надеюсь, до этого не дойдёт.

— Не дойдёт. — Она вдруг взяла меня за руку, будто успокаивая мои страхи. — Обещаю.

Глава 33

23 марта. Вербное воскресенье

Колокольный звон глухо разбивается о белёные стены жилых домов и магазинов. Резонируют даже булыжники мостовой, гудят монотонно под подошвами моих ботинок. Нарсисс принёс *gateux* — скрещённые веточки, которые я раздам прихожанам в конце богослужения. Они их будут хранить всю Страстную неделю — кто на груди, кто на каминных полках, кто у кровати. Тебе, *pere*, я тоже принесу веточку. И свечу зажгу у твоей кровати. Не вижу причин лишать тебя праздника. Медсёстры и сиделки смотрят на меня с плохо скрываемой иронией. Только страх и уважение к моей сутане удерживают их от открытого зубоскальства. Их нарумяненные кукольные лица едва не лопаются от затаённого смеха, их девчачьи голоса то и дело взывают в коридоре, но из-за удалённости и больничной акустики я с трудом разбираю слова: *Думает, он его слышит... о да... думает, он очнётся... нет, в самом деле?.. ну и ну!.. беседует с ним... я как-то слышала... молился... хихихихихи!* Их писклявый смех скачет по плитам, словно рассыпанные бусинки.

Разумеется, мне в лицо они смеяться не рискуют. На них кипенно-белые халаты, волосы убраны под накрахмаленные шапочки, глаза опущены. Обращаются ко мне с вышколенной почтительностью — *oui, mon pere; non, mon pere*, — а в душе забавляются. Мои прихожане такие же лицемеры — бросают на меня дерзкие взгляды во время богослужения, а после с неприличной поспешностью устремляются в шоколадную. Но сегодня они дисциплинированы как никогда. Приветствуют меня уважительно, почти со страхом. Нарсисс извиняется за то, что его *gateaux* — не настоящая верба, а скрученные и сплетённые под вербу веточки можжевельника.

— Это растение не нашей полосы, *pere*, — объясняет он хриплым голосом. — Оно у нас плохо приживается. Не выдерживает морозов.

Я по-отечески хлопаю его по плечу.

— Не тревожься, *mon fils*. — Заблудшие овечки возвращаются в лоно церкви, и оттого я сегодня милостив, благодушен и снисходителен. — Не волнуйся.

Каролина Клэрмон — она в перчатках — зажала мою ладонь в своих

руках.

— Восхитительная проповедь, — восхищается она. — Чудесная.

Жорж поддакивает жене. Люк, угрюмый и замкнутый, стоит рядом с матерью. За ним — чета Дру с сыном. Тот в своей матроске прямо суший ангел — застенчивый, стыдливый. Среди прихожан, покидающих церковь, я почему-то не вижу Муската, но, думаю, он где-то в толпе.

Каролина Клэрмон одарила меня лукавой улыбкой.

— Всё идёт так, как мы и задумали, — с удовлетворением докладывает она. — Мы собрали более ста подписей против этого...

— Праздника шоколада, — перебиваю я её тихим недовольным голосом. Здесь слишком многолюдно, чтобы обсуждать столь щепетильные вопросы. Она не поняла намёка.

— Ну конечно! — возбуждённо восклицает она. — Мы распространили двести листовок. Собрали подписи у половины населения Ланскне. Обошли все дома... — она запнулась и, желая быть принципиальной, поправилась: — ...Ну, *почти* все. — И, ухмыльнувшись, добавила: — За некоторым очевидным исключением.

— Ясно, — ледяным тоном отвечаю я. — Давайте всё же обсудим это как-нибудь в другой раз.

Наконец-то она заметила моё недовольство. Покраснела.

— Разумеется, *pere*.

Она, безусловно, права. Их агитация принесла свои плоды. Последние несколько дней покупатели в шоколадной — редкость. В конце концов, в таком маленьком городке, как Ланскне, неодобрение городского совета, равно как и молчаливое порицание церкви, — далеко не пустяки. Покупать, шиковать, объедаться под пристальным оком осуждающих авторитетов... Нужно иметь гораздо больше мужества, обладать более мощным бунтарским духом, чтобы открыто бросить вызов обществу. Роше переоценила наш народ. В конце концов, сколько она здесь живёт? Заблудшая овца всегда возвращается в стадо, *pere*. Повинуясь инстинкту. Она в их жизни минутное развлечение, не более того. В конечном итоге они неизменно возвращаются к привычному существованию. Я не обманываюсь на их счёт. Ими движут не искреннее раскаяние или духовность — овцы не рассуждают, — а заложенные в них с пелёнок здоровые инстинкты. Где бы они ни блуждали умами, ноги сами несут их домой. И сегодня я испытываю прилив безграничной любви к ним, к моей пастве, к моим несмышлёным детям. Я хочу пожимать им руки, касаться их тёплой глупой плоти, упиваться их благоговением и доверием.

Я ведь об этом и молился, *pere*. Именно этот урок мне суждено было

познать? И вновь я взглядом ищу в толпе Муската. Он всегда ходит в церковь по воскресеньям, а сегодня воскресенье особенное, он не мог пропустить... Однако толпа редет, а я по-прежнему его не вижу. Не было его и во время причастия. Не мог же он уйти, не обменявшись со мной парой слов. Наверно, ждёт меня внутри, убеждаю я себя. Он очень расстроен из-за жены. Возможно, нуждается в новых наставлениях.

Груда веточек возле меня уменьшается. Каждую я окунаю в святую воду, шепчу благословения, каждого беру за руку. Люк Клэрмон отдёргивает свою руку, что-то сердито бормочет себе под нос. Мать мягко упрекает его, посылая мне заискивающую улыбку поверх склонённых голов. Муската по-прежнему не видно. Я оглядел помещение церкви. Пусто. Только у алтаря несколько стариков в коленопреклонённых позах. Да святой Франциск у входа, обескураживающе радостный для святого, в окружении гипсовых голубей. Улыбается, как сумасшедший или пьяница. Божьему человеку такая улыбка совсем не к лицу. Во мне всколыхнулось раздражение. И кто только додумался поставить туда эту статую, так близко к воротам? Я предпочёл бы видеть своего тёзку более величавым и внушительным. А этот нескладный ухмыляющийся дурень словно издевается надо мной. Вытянул одну руку с непонятной целью — то ли благословляет, то ли ещё что делает, а второй прижимает гипсового голубя к своему круглому брюху, будто грезит о пироге из голубятники. Я пытаюсь вспомнить, где стоял святой Франциск до того, как мы покинули Ланск-не, *pere*. Здесь же у входа, или его потом передвинули, возможно, завистливые люди, стремившиеся высмеять меня? Святому Иерониму, в честь которого построен храм, отведено куда более скромное место. Он едва заметен в своей тёмной нише, а у него за спиной — выполненное маслом почерневшее полотно. Старый мрамор, из которого он высечен, пожелтел от дыма тысяч свечей. Святой Франциск, напротив, не теряет молочной белизны, хоть и крошится от сырости, осыпается в блаженном безразличии к своему коллеге, наблюдающему за ним с молчаливым неодобрением. Пожалуй, при первой же возможности следует переставить его на более подходящее место.

Муската в церкви нет. Я даже заглянул в сад, думая, что, может быть, он ждёт меня там, хотя и сам с трудом это верил. В саду его тоже не оказалось. Наверно, он заболел, решил я. Только серьёзная болезнь может помешать ревностному прихожанину прийти на богослужение в Вербное воскресенье. Я переоделся в ризнице, сменив церемониальное облачение на повседневную сутану, убрал под замок потир и ритуальное серебро. В твоё время, *pere*, подобные меры предосторожности были ни к чему, но в

нынешнюю смутную пору никому нельзя доверять. Бродяги и цыгане, как, впрочем, и кое-кто из наших горожан, ради звонкой монеты не убоятся и вечного проклятия.

Быстрым шагом я направился к Мароду. Последнюю неделю Мускат избегает общения, и я встречал его только мимоходом. Вид у него нездоровый: лицо одутловатое, плечи опущены, как у озлобленного кающегося грешника, глаза прячутся под вспухшими веками. Теперь мало кто навещает в его кафе, — возможно, людей отпугивают его измождённый облик и вспыльчивый нрав. В пятницу я сам к нему пришёл. Бар почти пуст, с уходом Жозефины пол ни разу не подметали, под ногами валяются окурки и фантики, на столах — пустые стаканы, под стеклом витрины — несколько жалких бутербродов и сморщенный кусок чего-то красноватого, должно быть пиццы. Рядом, под грязной пивной кружкой, стопка листовок Каролины. Сквозь зловоние сигарет «Голуаз» пробиваются смердящие запахи блевотины и плесени.

Мускат был пьян.

— А, это вы. — Тон у него мрачный, почти агрессивный. — Пришли сказать, чтобы я подставил другую щёку, так, что ли? — Он затаился зажатой между зубами облюбованной сигаретой. — Что ж, радуйтесь. Уж сколько дней близко к этой сучке не подхожу.

Я покачал головой.

— Не будь таким ожесточённым.

— У себя в кафе я сам хозяин своему настроению, — воинственно прошепелявил Мускат. — Это ведь *мой* бар, верно, *pere*? Надеюсь, вы не собираетесь и *моё заведение* преподнести ей на тарелочке?

Я сказал ему, что мне понятны его чувства. Он сделал очередную затяжку и, смеясь, кашлянул мне в лицо пивным перегаром.

— Это хорошо, *pere*. — Из рта его несёт горячим смрадом, как из пасти зверя. — Очень хорошо. *Конечно*, понятны. Как же не понятны? Своими-то яйцами пожертвовали ради церкви. А теперь хотите, чтобы и я последовал вашему примеру.

— Ты пьян, Мускат, — рассердился я.

— Верно подмечено, — прорычал он. — Как вы всё замечаете! — Он взмахнул сигаретой, показывая вокруг себя. — Вот, пусть пришла бы полюбовалась, во что превратилось кафе из-за неё. Для полного счастья. Радует, что погубила меня... — Мускат едва не плакал пьяными слезами от жалости к себе, — ...что разрушила наш брак, выставила меня на всеобщее посмеище... — Он издал хрюкающий звук — то ли всхлипнул, то ли отрыгнул. — Разбила мне *сердце*, будь оно проклято!

Тыльной стороной ладони он размазал по лицу сопли и продолжал, понизив голос:

— Не думайте, будто я не знаю, что происходит. Прекрасно понимаю, что задумала эта стерва со своими сволочными друзьями. — Он вновь перешёл на крик, и я, бросив смущённый взгляд вокруг, увидел, что немногочисленные посетители — их было трое или четверо — с любопытством таращатся на него. Я предостерегающе сжал Муската за плечо.

— Не теряй надежды, Мускат, — стал уговаривать я, стараясь не отшатнуться от него в отвращении. — Это не лучший способ, чтобы вернуть её. Многие супруги переживают минуты сомнения, но...

— Сомнения? — фыркнул он. — Вот что я вам скажу, *pere*. Дайте мне пять минут наедине с этой сучкой, и я навсегда избавлю её от сомнений. Она вновь *станет* моей, даже не сомневайтесь.

Он нёс злобную тарабарщину и при этом склабился, как акула, так что слов было почти не разобрать. Не обращая внимания на изумлённых посетителей, я схватил его за плечи.

— Только посмей, — отчеканил я ему в лицо, надеясь таким образом хоть немного образумить его. — Если хочешь вернуть жену, води себя благоразумно и корректно, Мускат. И ни к той, ни к другой *близко не подходи!* Ясно?

Я продолжал крепко держать его за плечи. Мускат стал вырываться, бормоча непристойности.

— Предупреждаю тебя, Мускат, — заявил я. — Я много безобразий тебе спускал, но такого — *хулиганского* — поведения *не потерплю*. Ясно?

Он что-то буркнул — то ли извинился, то ли пригрозил, точно не могу сказать. Тогда мне показалось, что он произнёс: «Я сожалею», но теперь, поразмыслив и вспомнив, как зловеще блестели его глаза за пеленой пьяных слёз, я не исключаю, что на самом деле это было: «Вы пожалеете». *Пожалеете*. Интересно, кому придётся пожалеть? И о чём?

По дороге в Марод мною вновь овладели сомнения. Торопливо спускаясь по холму, я спрашивал себя, не ошибся ли я в оценке поведения Муската. Способен ли тот на самоубийство? Может, я в своём стремлении предотвратить дальнейшие неприятности упустил главное, не заметил, что этот человек находится на грани отчаяния? Наконец я у кафе «Республика». Оно закрыто, но снаружи стоит небольшая толпа. Все смотрят на одно из окон второго этажа. Среди собравшихся я узнал Каро Клэрмон и Жолин Дру. Здесь же Дюплесси, щуплый почтенный мужчина в фетровой шляпе,

со своим новым питомцем, прыгающим у его ног. Гул толпы перекрывает чей-то более высокий, пронзительный голос. Он звучит то громче, то тише, иногда произносит слова, фразы, кричит...

— *Pere*, — обращается ко мне Каро срывающимся голосом. Щёки её покрывает румянец, глаза широко распахнуты, как у замерших в нескончаемом экстазе красоток с глянцевых обложек той категории журналов, которым в магазинах отводятся самые верхние полки. При этой мысли я невольно покраснел.

— Что здесь происходит? — строго спрашиваю я. — Что-то с Мускатом?

— С Жозефиной, — взволнованно докладывает Ка-ро. — Он загнал её в комнату наверху, *pere*, и она там *кричит*.

Не успела она договорить, как раздался новый взрыв шума — вопли, брань, грохот бьющихся предметов. Из окна на мостовую посыпались обломки. Вновь оглушительный женский визг, от которого едва не лопаются стёкла, но, думаю, спровоцирован он не страхом — это обычное выражение дикой ярости. Следом очередной разрыв домашней шрапнели. Летят книги, коврики, пластинки, каминные украшения — стандартные боеприпасы для выяснения семейных отношений.

— Мускат? — закричал я в окно. — Ты слышишь меня? *Мускат!*

В воздухе со свистом пронеслась пустая птичья клетка.

— *Мускат!*

Мой зов остаётся безответным. Из дома слышатся нечеловеческие звуки, будто там воюют тролль и гарпия. Я растерялся. Кажется, что мир отодвинулся глубоко в тень, отгородившись от света непреодолимой бездной. Открою дверь и что увижу?

На одно жуткое мгновение я оказался во власти давнего воспоминания. Мне снова тринадцать, я открываю дверь в старый церковный придел, который многие и поныне называют канцелярией, из унылого сумрака главного помещения храма перемещаюсь в ещё более густой полумрак. Мои ноги беззвучно ступают по гладкому паркету, а в ушах бьётся и стонет незримый монстр. Открываю дверь — в горле колотится застрявшее сердце, кулаки сжаты, глаза вытаращены — и вижу перед собой на полу бледный силуэт выгибающегося чудовища. Его очертания, почему-то раздвоенные, смутно напоминают кого-то. Ко мне оборачиваются два лица с застывшими выражениями гнева-ужаса-смятения...

Maman! Pere!

Это абсурд, я знаю. Связи никакой нет и быть не может. И всё же глядя

на влажное взволнованное лицо Каро Клэрмон, я почти уверен, что она, как и я, охвачена эротическим возбуждением от витающего в атмосфере насилия, буйства власти, когда спичка вспыхивает, удар достигает цели, с рёвом вспыхивает бензин...

Я похолодел, кожа на висках натянулась, как барабан, но причиной тому было не только твоё предательство, *pere*. До той минуты понятие греха, греха плоти, в моём представлении существовало как некая омерзительная абстракция, нечто вроде скотоложства. Но чтобы искать в похоти *удовольствие*... это с трудом поддавалось осмыслению. И тем не менее вы с матерью... оба распалённые, разгорячённые, лоснитесь от пота, извиваясь, *механически* двигаясь друг на друге, словно поршни запущенной машины... нет, не совсем обнажённые — полураздетые — и оттого *ещё более* непристойные — расстёгнутая блузка, скомканная юбка, задранная сутана... Негодование во мне вызвал не вид частично оголённых тел, ибо я смотрел на представшее моему взору похабное зрелище с отчуждённым брезгливым равнодушием. Но ведь не далее как две недели назад я скомпрометировал себя, замарал свою душу ради тебя, *pere*... скользкая бутылка бензина в руке, волнующее ощущение собственной праведной мощи, ликование при виде взметнувшегося в воздух горячего сосуда, воспламенившего палубу убогого плавучего дома, яркий шипящий гребень всепожирающего огня, треск сухой парусины, хруст расщепляющегося дерева, облизываемого сладострастными языками... Поговаривали, что это был поджог, но никто не заподозрил тихого послушного мальчика Рейно. Это мог сделать кто угодно, только не бледнолицый Франсис, поющий в церковном хоре и исправно посещающий богослужения. Кто угодно, только не юный Франсис, даже окна ни разу не разбивший. Подозревали Мускатов. Старшего Муската и его несносного сына. Какое-то время их сторонились, неприязненно шептались за их спинами. Решили, что на этот раз они зашли слишком далеко. Но те упорно отрицали свою причастность к пожару, а доказательств ни у кого не было. Да и пострадавшие были не из местных. Никто не усмотрел связи между поджогом и переменами в семье Рейно — разводом родителей и отъездом мальчика в элитную школу на севере... Я совершил это ради тебя, *pere*. Из любви к тебе. Горящее судно на пересохшем мелководье озаряет коричневую ночь, люди бегут, кричат, барахтаются на запёкшихся берегах обмелевшего Танна, некоторые черпают вёдрами со дна остатки вязкой жижи в тщетной попытке потушить охваченный огнём плавучий дом, а я, переполняемый горячей радостью, жду в кустах с пересохшим ртом.

Я не мог знать, что на том судне спали люди, убеждаю я себя.

Погруженные в глубокое пьяное забытие, они не очнулись, даже когда вокруг них заревел огонь. Потом они мне часто снились — обугленные, вплавленные одно в другое тела, будто слившиеся в едином объятии нежные влюблённые... Долгие месяцы я кричал по ночам, представляя, как они с мольбой тянут ко мне свои руки, побелевшими губами выдувают пепел, шепча моё имя.

Но ты отпустил мне мой грех, *pere*. Погибшие в огне были всего лишь пьяница и его шлюха, сказал ты мне. Никчёмные обломки на вонючей реке. За их жизни я расплатился, прочтя двадцать раз «Отче наш» и столько же раз «Аве Мария». Воры, осквернявшие нашу церковь, оскорблявшие нашего священника, большего не заслуживают. А я молод, меня ждёт блестящее будущее, и мои любящие родители ужасно опечалятся, очень расстроятся, если узнают... И потом, доказывал ты, это *вполне* мог быть несчастный случай. Как знать, сказал ты. На всё воля Божья.

Я поверил тебе. Или внушил себе, что поверил. И до сих пор благодарен судьбе за это.

Кто-то тронул меня за плечо. Я испуганно вздрогнул. Резко очнувшись от давних воспоминаний, не сразу сообразил, где нахожусь. Рядом стоит Арманда, сверлит меня своими умными чёрными глазами. С ней Дюплесси.

— Ты собираешься что-нибудь предпринять, Франсис? Или будешь ждать, пока этот боров Мускат убьёт её? — сердито спрашивает Арманда. Одной клешнёй она сжимает свою трость, другой, как ведьма, тычет на запёртую дверь.

— Я не... — Я не узнаю свой голос, вдруг ставший по-детски жалким и писклявым. — Я не вправе вмешаться...

— Чепуха! — Она ударила меня тростью по рукам. — А я намерена положить этому конец, Франсис. Ты идёшь со мной или так и будешь торчать тут без дела целый день? — Не дожидаясь ответа, она принялась проталкиваться к двери кафе.

— Закрыто, — пискнул я.

Арманда пожала плечами, набалдашником трости выбила стекло на одной створке.

— Ключ в замке, — резко говорит она. — Поверни его, Гийом, я не дотянусь. — При повороте ключа дверь распахнулась. Следом за Армандой я поднимаюсь наверх. Крики и звон бьющегося стекла громким эхом отзываются в лестничном пролёте. Мускат стоит в проёме комнаты верхнего этажа, своей грузной фигурой перегораживая половину лестничной площадки. Комната забаррикадирована изнутри; из щели

между дверной панелью и косяком на лестницу сочится узкий луч света. На моих глазах Мускат вновь бросается на заблокированную дверь. Что-то с треском перевернулось, и он, удовлетворённо рыча, начинает протискиваться в комнату.

Женский вопль.

Она прижимается спиной к дальней стене. У двери громоздится мебель — туалетный столик, шкаф, стулья, но Мускату всё же удаётся пробраться через баррикаду. Тяжёлую железную кровать она не смогла сдвинуть с места, но матрас использует вместо щита, нагибаясь к лежащей рядом горке «снарядов». Да ведь она выдерживала его натиск на протяжении всей службы, изумляюсь я. Всюду видны следы борьбы: разбитое стекло на лестнице, зарубины на косяке, оставленные каким-то инструментом при попытке вскрыть запертую дверь спальни, журнальный столик, который Мускат использовал в качестве тарана. Он поворачивается ко мне, и на его лице я вижу отметины её ногтей. Рубашка на нём разорвана, нос вспух, на виске кровоточит дугообразная ссадина. На лестнице тоже кровь — капля, размазанное пятно, ручеек. На дверной панели — отпечатки окровавленных ладоней.

— Мускат! — кричу я высоким срывающимся голосом. — *Мускат!*

Он тупо оборачивается на мой окрик. Его глаза похожи на иголки в тесте. Арманда — дряхлый головорез в юбке — держит перед собой трость, словно меч. Стоя подле меня, она окликает Жозефину:

— Ты там цела, дорогая?

— *Уберите* его отсюда! Скажите, чтоб убирался *прочь!*

Мускат показывает мне окровавленные руки. Вид у него разъярённый и в то же время растерянный, измождённый, как у ребёнка, затесавшегося в драку взрослых парней.

— Видите, что я имею в виду, *pere?* — скулит он. — Я же вас предупреждал. *Видите?*

Арманда проталкивается мимо меня.

— Зря стараешься, Мускат. — Её голос, в отличие от моего, звучный и сильный, и я вынужден напомнить себе, что она старая и больная женщина. — Ты уже ничего не изменишь. Так что кончай дебоширить. Выпусти её.

Мускат плюнул в неё и очень удивился, когда Арманда с быстротой и точностью кобры незамедлительно ответила ему тем же. Он отёр лицо и взревел:

— Ах ты, старая...

Гийом шагнул вперёд, загораживая её собой. Его пёс залился

пронзительным лаем. Забавное зрелище. Арманда со смехом обошла своих защитников.

— Не пытайся запугать меня, Поль-Мари! — гаркнула она. — Я помню тебя совсем сопляком, когда ты прятался в Мароде от своего пьяного папаша. С тех пор ты не сильно изменился. Разве что поздоровел немного, да ещё больше обезобразился. *Прочь с дороги!*

Ошеломлённый её натиском, Мускат отступил. Глянул на меня с мольбой.

— *Pere*. Скажите ей. — Глаза у него красные, будто он тёр их солью. — Вы же понимаете, о чём я, верно?

Я притворился, будто не слышу его. Между нами, между этим человеком и мной, нет ничего общего. Даже сравнивать нельзя. В нос мне бьёт его мерзкий запах — зловоние грязной рубашки, пивной перегар. Мускат взял меня за руку.

— Вы же понимаете, *pere*, — в отчаянии повторяет он. — Я ведь помог вам с цыганами. Помните? Я же вам помог.

Может, Арманда и теряет зрение, но, чёрт бы её побрал, видит всё. *Всё*. Её взгляд метнулся к моему лицу.

— Так, значит, ты его понимаешь? — Она вульгарно хохотнула. — Два сапога пара, кюре?

— Я не знаю, о чём ты говоришь, — сердито отвечаю я. — Ты пьян, как свинья.

— Но, *pere*... — Краснея и гримасничая от натуги, он силится подобрать нужные слова. — ...*реге*, вы же сами сказали...

— Я ничего не говорил, — возражаю я с каменным лицом.

Он вновь открыл рот, словно несчастная рыба на обнажившемся при отливе берегу Танна в летнюю пору.

— *Ничего!*

Арманда и Гийом уводят Жозефину. Поддерживаемая за плечи с обеих сторон старческими руками, она бросает на меня удивительно ясный, почти пугающий взгляд. Её лицо в грязных подтёках, ладони в крови, но в эту минуту она кажется мне волнующе красивой. Её глаза будто пронизывают меня насквозь. Я пытаюсь оправдаться перед ней, хочу сказать, что я не такой, как он, что я — *священник*, а не *мужчина*, человек совершенно иной породы, но и сам понимаю, что это нелепое объяснение, фактически ересь.

Наконец Арманда увела Жозефину, и я остался наедине с Мускатом. Он душит меня в горячих объятиях, слезами обжигая мне шею. В первую секунду я оторопел, смешался, погружаясь вместе с ним в пучину собственных далёких воспоминаний. Затем попытался высвободиться из

его тисков. Поначалу вырывался мягко, потом стал отбиваться, в нарастающем исступлении колотя по его дряблему животу ладонями, кулаками, локтями... Он о чём-то умолял меня, а я, перекрывая его мольбы, визжал не своим голосом:

— Оставь меня, ублюдок, ты всё испортил, ты...

Франсис, прости, я...

— *Pere...*

— Всё испортил... всё... убирайся! — Кряхтя от напряжения, я с горем пополам сбросил с себя его мясистые потные руки и, охваченный бурной радостью — наконец-то свободен! — помчался вниз по лестнице, подвернув лодыжку на сбившемся коврике. Его стенания и вопли неслись мне вслед, словно плач брошенного ребёнка...

Позже, как и следовало, я побеседовал с Каро и Жоржем. С Мускатом разговаривать я не намерен. К тому же ходят слухи, что он уже покинул город — запихнул всё, что мог, в свой старенький автомобиль и уехал. Кафе закрыто. Только разбитое стекло в двери напоминает о том, что произошло там утром. С наступлением ночи я пришёл туда и долго стоял перед окном. Над Мародом простиралось холодное небо цвета зеленоватой сепии, лишь на горизонте тронутое единственной молочной нитью. С тёмной реки не доносилось ни звука.

Каро я сказал, что церковь не поддержит её кампанию против праздника шоколада. Я тоже не стану. Неужели она не понимает? Своим поступком Мускат дискредитировал весь городской совет. На этот раз он уж слишком распоясался, наделал слишком много шума. Видели бы они его красное, обезображенное ненавистью и безумием лицо. Одно дело просто знать — знать втайне, — что мужчина бьёт свою жену. Но когда воочию видишь это зверство... Нет. Такого позора он не переживёт. Каро уже заявляет всем, что *она* давно раскусила его, давно распознала его истинную натуру. *Надо же, так обмануться, так обмануться в человеке!* Оправдывается, как может, стараясь отмежеваться от него. Я тоже. Мы слишком тесно с ним общались, говорю я ей. Использовали его в своих целях, когда в том возникала необходимость. Отныне следует держаться от него подальше. Чтобы не скомпрометировать себя. Про другое происшествие, с речными цыганами, я умолчал, но оно тоже нейдёт у меня из головы. Арманда что-то подозревает. И, имея против меня зуб, вполне способна поделиться своими подозрениями со всем городом. И тогда всплывёт тот — *давний* — случай, о котором никто уже не помнит. Кроме неё... Нет. Я беспомощен. Хуже того, теперь я должен примириться с

праздником шоколада. Иначе пойдут разговоры, и, как знать, чем всё это может кончиться. Завтра я буду вынужден проповедовать терпимость, чтобы изменить настрой людей, повернуть вспять волну, которую поднял. Оставшиеся листовки я сожгу. Плакаты, предназначенные для распространения на всём протяжении от Ланскне до Монтобана, тоже уничтожу. У меня разрывается сердце, *pere*, но выхода нет. Скандал погубит меня.

Начинается Страстная неделя. Всего одна неделя до её праздника. Она победила, *pere*. Победила. Теперь только чудо спасёт нас.

Глава 34

26 марта. Среда

От Муската по-прежнему ни слуху ни духу. Жозефина почти весь понедельник просидела в «Миндале», но вчера утром решила вернуться в кафе. На этот раз с ней пошёл Ру, но там никого, царит полный хаос. По-видимому, молва оказалась верной. Мускат уехал. Ру, доделавший спальню Анук на чердаке, уже начал приводить в порядок кафе. Врезал новые замки, содрал с пола старый линолеум и грязные занавески с окон. Немного труда, утверждает он, — побелить шершавые стены, подкрасить и покрыть лаком поцарапанную мебель, всё вымыть с мылом, — и кафе засияет, преобразится в светлое гостеприимное заведение. Он вызвался сделать ремонт бесплатно, но Жозефина об этом и слышать не желает. Мускат, разумеется, опустошил их семейную копилку, но у неё есть собственные небольшие сбережения, а новое кафе, она уверена, будет приносить неплохой доход. Выцветшую вывеску «Кафе „Республика“», прибитую над входом тридцать пять лет назад, сменила другая, сделанная на лесопилке Клэрмона, с написанным от руки названием «Кафе „Марод“». Над дверью также появился яркий навес в красно-белую полоску — такой же, как у меня. Резко потеплело, и герань, посаженная Нарсиссом в железных ящиках для растений, быстро разрослась, расцвела, украшая алыми бутонами окна и наружные стены. Арманда любит кафе Жозефины из своего сада у подножия холма.

— Она — умница, — говорит мне старушка присущим ей грубоватым тоном. — Теперь прекрасно заживёт без своего алкаша.

Ру временно переселился в одну из свободных комнат кафе, а Люк занял его место подле Арманды, к глубокому неудовольствию матери.

— Тебе нельзя там жить, — визгливо выговаривает она ему. Я стою на площади и вижу, как они идут из церкви: он — в воскресном костюме, она — в одном из своих бесчисленных костюмов-двоек пастельных тонов. Её волосы уложены под шёлковый шарф, завязанный на голове узлом.

— Только до дня р-рождения. — Он вежлив, но непреклонен. — А то она ведь с-совсем одна. Вдруг с н-ней опять случится п-приступ.

— Вздор! — безапелляционно заявляет она. — Я объясню тебе, что она делает. Просто пытается вбить клин между нами. Я запрещаю тебе,

категорически запрещаю ночевать у неё эту неделю. Что касается её абсурдной затеи с вечеринкой...

— Ты не должна мне з-запрещать, *m-taman*.

— Это почему же? Ты — *мой* сын, чёрт возьми, и я не желаю слышать, что тебе приятней повиноваться безумной старухе, чем собственной матери! — В её глазах блестят сердитые слёзы, голос дрожит.

— Успокойся, *taman*. — Нытьё матери его не трогает, но он обнимает её за плечи. — Это же не надолго. Только до дня рождения. О-обещаю. Кстати, ты тоже приглашена. Она будет счастлива, если ты п-придёшь.

— Я не желаю там быть! — Голос у неё капризный и слезливый, как у переутомившегося ребёнка.

Люк пожимает плечами.

— Ну не приходи. Только потом н-не обижайся, что она отказывается считаться с *твоими* желаниями.

Каролина смотрит на сына.

— Это ты к чему?

— К тому, что я мог бы у-уговорить её. У-убедить. — Он — умный мальчик, знает свою мать. Понимает её лучше, чем она о том подозревает. — М-мог бы уломать. Но если ты даже п-попытаешься не хочешь...

— Я этого не говорила. — Поддавшись внезапному порыву, она крепко обнимает сына. — Ах ты, моя умница. — Хорошее настроение вернулось к ней. — Ты ведь *поможешь*, правда? — Она звонко чмокнула его в щёку. Люк терпеливо сносит её ласки. — Мой *хороший, умный* мальчик, — с нежностью в голосе повторяет она, и они рука об руку продолжают путь. Люк, уже выше матери, смотрит на неё сверху вниз внимательным взглядом, как снисходительный родитель на непослушного ребёнка.

О да, он хорошо её изучил.

Теперь, когда у Жозефины появились собственные заботы, я вынуждена фактически одна вести приготовления к празднику шоколада. К счастью, большая часть работы уже выполнена. Осталось упаковать несколько десятков коробочек. Я тружусь вечерами — делаю пирожные и трюфели, пряничные колокольчики и позолоченные *rains d'épices*. Мне, конечно, недостаёт ловких рук Жозефины, в совершенстве освоившей искусство упаковки и украшения готовых сладостей, но Анук помогает как может, расправляет целлофановые рюшки и наклеивает шёлковые розочки на бесчисленные саше.

Уличная витрина, в которой я выкладываю праздничную экспозицию, временно затянута белой папиросной бумагой, и теперь снаружи магазин

выглядит почти так же, как в день нашего приезда. Анук украсила бумажную ширму фигурками из яиц и животными, вырезанными из цветной бумаги, а в центр поместила большой плакат, гласящий:

GRAND FESTIVAL DU CHOCOLAT

Площадь Св. Иеронима

Воскресенье

Начались школьные каникулы, и площадь теперь кишит детьми. Они то и дело прижимаются носами к затянутому стеклу в надежде узреть, как идут приготовления к празднику. Я уже набрала заказов на восемь тысяч франков — некоторые поступили аж из Монтобана и даже из Ажена, — а спрос по-прежнему не падает, так что магазин сейчас пустует редко. Очевидно, пропаганда Каро не возымела действия. По словам Гийома, Рейно заверил прихожан, что праздник шоколада, что бы ни трепали злые языки, проводится с его полного благословения. Даже я порой замечаю, как он наблюдает за мной из маленького окна своего дома. Его голодные глаза пылают ненавистью. Я знаю, что он желает мне зла, но что-то мешает ему выпустить жало. Я пыталась выяснить это у Арманды, — ей известно больше, чем она рассказывает, — но старушка в ответ лишь качает головой.

— Дела давно минувших дней, — уклончиво говорит она. — А я дряхлею, память подводит.

И тут же начинает расспрашивать о меню, которое я составила на её день рождения, заранее нахваливает каждое блюдо, вносит дополнения. Паста из трюфелей, волованы с грибами, приготовленные в вине со сливками и лисичками на гарнир, жареные лангустины с ракет-салатом, пять видов шоколадного торта, все её любимые, шоколадное мороженое домашнего приготовления... Глаза Арманды сияют радостью и озорством.

— В молодости никогда не устраивала вечеринок, — объясняет она. — Ни разу. Однажды ездила на танцы, в Монтобан, с одним парнем с побережья. Уж какой был красавчик. Чернявый, как патока, и такой же слащавый. Мы пили шампанское, ели клубничное мороженое, танцевали... — Она вздохнула. — Видела бы ты меня тогда, Вианн. Теперь в это трудно поверить. Он говорил, что я — вылитая Грета Гарбо. Льстил мне. И мы оба сделали вид, будто верим, что он говорит от чистого сердца. — Старушка

усмехнулась. — Жениться на мне он, естественно, не собирался. Все они такие, — философски заметила она.

Теперь я почти не сплю по ночам, перед глазами всё пляшут сладости. Анук ночует в своей комнате на чердаке, а я грежу наяву, дремлю, бодрствую в полусне, вновь погружаюсь в дремоту, пока мои веки наконец не тяжелеют и комната не начинает качаться, словно корабль на волнах. Ещё один день, говорю я себе. Ещё один день.

Вчера я поднялась среди ночи и достала из ящичка гадальные карты, которые поклялась никогда больше не брать в руки. Они холодные и гладкие, как слоновая кость, развернулись разноцветным — сине-лилово-зелёно-чёрным — веером в моих ладонях, знакомые изображения мелькают перед глазами, будто цветы, зажатые между листами чёрного стекла. *Башня. Смерть. Влюблённые. Смерть. Шестёрка пик. Смерть. Отшельник. Смерть.* Я убеждаю себя, что это ничего не значит. Мать верила в карты, и что это ей дало? Всю жизнь она провела в бегах. Флюгер на церковной башне теперь молчалив и неподвижен, пугающе неподвижен. Ветер прекратился. Затишье тревожит меня сильнее, чем скрежет ржавого железа. Воздух тёплый и душистый, наполнится ароматами надвигающегося лета. А лето в Ланскне наступает быстро вслед за мартовскими ветрами, и оно пахнет цирком, древесными опилками, жидким тестом на раскалённой сковороде, срезанными прутьями и навозом. Голос матери внутри меня нашёптывает: время перемен. Дом Арманды освещён. Из своей спальни я вижу маленький жёлтый квадратик её окна, отбрасывающий клетчатое отражение на воды Танна. Интересно, чем она сейчас занимается? После того единственного раза она прямо не касалась своего плана в разговоре со мной. Вместо этого обсуждала рецепты, способы приготовления воздушного бисквита и пьяной вишни. В своём медицинском справочнике я нашла статью, описывающую состояние её здоровья. Она не даёт реального представления, потому что медицинский язык такой же непонятный и загадочный, как образы на гадальных картах. Даже не верится, что эти бездушные термины можно применять к живой плоти. Её зрение падает, в глазах её постоянно качаются островки темноты, так что она видит только неясные расплывчатые крапинки, которые в конечном итоге сольются в единое чёрное пятно.

Я понимаю её. Стоит ли бороться за продление жалкого существования? Упрёки в расточительстве — эта мысль, рождённая от неуверенности в завтрашнем дне и постоянной экономии, принадлежит моей матери — в данном случае неуместны, убеждаю я себя. Лучше уж красивый жест, богатая пирушка, яркие огни, а после — внезапное

погружение в темноту. И всё же что-то во мне вопит — это несправедливо! — в детской надежде на чудо. Это опять голос матери. А Арманда знает, что чудес не бывает.

В последние недели перед гибелью мать уже ни минуты не могла обходиться без морфия и на целые часы утрачивала связь с реальностью. Глядя вокруг стеклянным взглядом, витала в собственных фантазиях, как бабочка между цветами. Некоторые из них были приятные — она парила в небесах, видела огни, встречалась с душами почивших кинозвёзд и неземными существами, другие — тяжёлые, пронизаны паранойей. В последних всегда присутствовал Чёрный человек — выглядывал из-за углов домов, торчал в окне какого-нибудь кафе или стоял за прилавком галантерейного магазина. Иногда он представлялся ей таксистом, сидел за рулём чёрного катафалка, наподобие тех, что встречаются в Лондоне. На нём надвинутая на глаза бейс-болка с надписью «ОХОТНИК». Потому он и преследует её, говорила она, её, нас, всех, кому удавалось ускользнуть от него в прошлом. Но это не будет продолжаться вечно, уверяла она, с умным видом качая головой, всё когда-нибудь кончается. В одно из таких мрачных затмений она показала мне жёлтый пластмассовый футляр, набитый газетными вырезками конца шестидесятых — начала семидесятых годов. Среди статей на французском языке — их было большинство — встречались заметки на итальянском, немецком и греческом. Во всех шла речь о похищении и исчезновении детей, либо о нападении на них.

— Это же так легко, — говорила она, глядя на меня огромными мутными глазами. — В большом городе ничего не стоит потерять ребёнка. Очень легко *потерять* ребёнка. Такого, как ты. — Она подмигнула мне сквозь слёзы.

— Ну что ты, *татап*. — Я ободряюще потрепала её по руке. — Ты всегда была крайне осторожна. Всегда внимательно смотрела за мной. Я никогда не терялась.

Она опять подмигнула и сказала с улыбкой:

— Как же, *терялась*. *Теря-ялась*. — Кривя лицо в улыбке, невидящим взглядом она уставилась в пространство. Её пальцы лежали в моей руке, и мне казалось, что я держу в ладони связку сухих прутьев. — *Теря-яя-лась*, — несчастным голосом протянула она и заплакала. Я принялась утешать её, одновременно убирая вырезки в футляр. Несколько из них, я заметила, были посвящены одному и тому же случаю — исчезновению в Париже некой Сильвиан Кэллу, девочки полутора лет. Её мать на пару минут отлучилась в аптеку, оставив дочь в машине, где та была привязана к

сиденью, а когда вернулась, малышки уже не было. Вместе с ребёнком исчезли сумка со сменой одежды и плюшевые игрушки — красный слон и коричневый медвежонок.

Мать, увидев, что я читаю одну из этих статей, вновь улыбнулась.

— Думаю, тебе тогда было года два, — лукавым тоном сказала она. — Или почти два. Да и волосы у неё гораздо светлее. Не может быть, чтобы это была ты, верно? Да и потом, я, как мать, гораздо лучше той женщины.

— Конечно, это не я. Ты — отличная мама, замечательная. Не волнуйся. Ты ни за что не стала бы подвергать меня опасности.

Мать раскачивалась и улыбалась.

— Беспечная женщина, — проникновенно напевала она. — Легкомысленная. Абсолютно не заслуживает такой милой доченьки, верно? — Я мотнула головой, чувствуя, как всё моё существо внезапно объял холод. — А я была тебе хорошей матерью, правда, Вианн? — совсем как ребёнок допытывается она.

Я поёжилась. Бумага слоится под моими пальцами.

— Да, — заверила я её. — Ты хорошая мать.

— Я хорошо заботилась о тебе, правда? Никогда тебя не бросала. Не отказалась, даже когда тот священник сказал... сказал то, что сказал. Я тебя не оставила.

— Нет, *tata*. Не оставила.

Я уже парализована холодом, с трудом соображаю. Только и думаю про то имя, так похожее на моё, сопоставляю даты... И разве я не помню того медведя, того красного слонёнка с истёршимся плюшем, неутомимо путешествовавшего со мной из Парижа в Рим, из Рима в Вену?

Конечно, это могла быть её очередная иллюзия. Ей всё время что-то казалось — то змея под одеялом, то женщина в зеркале. Не исключено, что и про меня она нафантазировала. В жизни матери почти всё сплошная выдумка. И к тому же столько лет прошло. Какая теперь разница?

В три часа я встала. Постель горячая, простыни скомкались, сна ни в одном глазу. Я зажгла свечу и прошла в пустующую комнату Жозефины. Карты лежали на своём месте, в ящичке матери. В моих руках они как живые. *Влюблённые. Башня. Отшельник. Смерть.* Я сижу, скрестив ноги, на голом полу и тасую, раскладываю карты — отнюдь не для того, чтобы убить время. Рушащаяся башня с падающими людьми. Что это означает — понятно. Мой извечный страх непостоянства, страх перед дорогой, боязнь утрат. Отшельник в капюшоне, наполовину скрывающем его лукавое бледное лицо с впалыми щеками, очень похож на Рейно. Смерть я знаю

хорошо, потому заученным жестом машинально выкидываю вилкой пальцы на карту — *прочь!* Но о чём же предупреждают меня Влюблённые? Я подумала о Ру и Жозефине — они даже не подозревают, как много у них общего, — и не смогла подавить в себе зависть. Зато у меня вдруг возникла уверенность, что эта карта выдала ещё не все секреты. В комнате запахло сиренью. Может, в одном из флакончиков матери треснула пробка? Несмотря на ночную прохладу, меня окутывало тепло, жар проникал в подложечную ямку. Ру? Ру?

Дрожащими пальцами я поспешно перевернула карту.

Ещё один день. Что бы это ни было, один день подождёт. Я опять стала тасовать карты, но мне не хватало сноровки матери, и колода посыпалась из рук на деревянный пол. Отшельник упал лицом вверх. В мерцающем сиянии свечи он как никогда похож на Рейно. Кажется, будто он посылает мне злобную улыбку из складок капюшона. *Я найду способ расправиться с тобой*, обещает он. *Ты думаешь, что победила, а я всё равно отомщу*. Я ощущаю его желчь на кончиках своих пальцев.

Мама назвала бы это знамением.

Внезапно, в непроизвольном порыве, природа которого мне и самой неясна, я схватила Отшельника и поднесла его к пламени свечи. Несколько секунд огонь просто облизывал твёрдую карту, потом её поверхность начала пузыриться. Бледное лицо исказилось в гримасе и почернело.

— Я тебе покажу, — шептала я. — Только попробуй вмешаться, я...

Карта вспыхнула, и я бросила её на пол. Огонь угасал, разбрасывая искры и пепел по половицам.

Я ликовала. Ну, кто теперь командует сменой декораций, а, мама?

И всё же сегодня меня не покидает ощущение, что я стала игрушкой в чьих-то руках, по чьему-то наущению вытащила наружу то, что лучше было бы не обнажать. Я не сделала ничего дурного, успокаиваю я себя. У меня не было злого умысла.

А тревожное ощущение не проходит. Я чувствую себя лёгкой, невесомой, как пушинка молочая. Готова лететь, куда прикажет ветер.

Глава 35

28 марта. Страстная пятница

Знаю, я должен быть со своей паствой, *pere*. Воздух в церкви насыщен благовониями, убранство траурное — только пурпур и чернь. Ни единого серебряного предмета, ни одного цветка. Я должен быть там. Сегодня величайший день в моей жизни, *pere*. Торжественность, благочестие, звенит орган, словно гигантский подводный колокол. Церковные колокола, разумеется, молчат — в знак скорби по распятому Христу. Я сам в чёрном и пурпуре, голос мой модулирует в тон органу. Они смотрят на меня во все глаза, взгляды у всех серьёзные. Сегодня здесь даже вероотступники — как и полагается, в строгих одеждах, с напomaженными волосами. Их нужды, их ожидания заполняют пустоту в моей душе. На короткое мгновение меня захлёстывает беспредельная любовь к ним. Я люблю их за всё — за соблазны, за страдания во имя искупления собственных грехов, за их мелочные заботы, за их ничтожность. Я знаю, тебе понятно моё состояние, ибо ты тоже был их пастырем. В определённом смысле ты, равно как Господь наш, принял смерть ради них. Чтобы защитить их от грехов — от своих и от их собственных. Они ведь так ни о чём и не узнали, верно, *pere*? Я ничего им не открыл. Но когда я увидел тебя и мою мать в канцелярии... Обширный инсульт, сказал врач. Должно быть, потрясение было очень сильным. Ты замкнулся, ушёл в себя, хотя я знаю, что ты слышишь меня и видишь лучше, чем когда бы то ни было прежде. И я уверен, что однажды ты вернёшься к нам. Я постился и молился, *pere*. Смирал себя. Но довольства собой не ощущаю. Потому что не достиг главного.

После службы ко мне подошла девочка, Матильда Арнольд. Вложив свою ручку в мою, она прошептала с улыбкой:

— А вам они тоже принесут шоколад, *monsieur le cure*?

— Кто должен принести мне шоколад? — озадаченно спросил я.

— Колокола, конечно! — с нетерпением в голосе воскликнула она и хихикнула. — Летающие колокола!

— А-а, колокола. Конечно.

От растерянности я не сразу нашёл что ответить. Она потянула меня за сутану, настойчиво требуя моего внимания.

— Ну да, колокола. Они полетят в Рим на встречу с папой и вернутся с

шоколадом...

Они одержимы шоколадом. О чём бы ни думали, аккордом их мыслей становится шоколад — слово-припев, повторяемое шёпотом, в полный голос, хором.

— Почему все только и твердят о шоколаде? — взревел я, не сумев сдержать всколыхнувшийся во мне гнев. Личико девочки сморщилось в смятении и ужасе, и она с плачем кинулась от меня через площадь. Опомнившись, я окликнул её, но было поздно. Маленький магазинчик с витриной, затянутой подарочной бумагой, посылал мне издалека торжествующую улыбку.

Сегодня вечером будет исполнен обряд погребения Тела Христова в Гробу Господнем, дети нашего прихода разыграют сцену последних минут жизни Христа, и в церкви, как только начнёт меркнуть свет, зажгутся свечи. Для меня это одно из самых волнующих событий в году, потому что в эти мгновения они — *мои* дети, серьёзные и степенные в своих строгих одеждах, — принадлежат только мне. Но станут ли они нынче думать о страданиях Иисуса и торжественной мессе? Или будут облизываться в предвкушении непотребного обжорства? Её рассказы о летающих колоколах и пиршестве заразительны, вводят в искус незрелые души. Я тоже пытаюсь соблазнить их, проповедуя выгоды благочестия, но мрачное великолепие церкви не идёт ни в какое сравнение с её небылицами о коврах-самолётах.

После обеда я навестил Арманду, ведь она сегодня именинница. В её доме царит суэта. Я, конечно, знал, что она собирает гостей, но подобного размаха не мог себе представить. Каро упоминала о вечеринке раз или два — говорила, что предпочла бы не ходить, но не хочет упускать возможность раз и навсегда помириться с матерью, — хотя я подозреваю, она даже не догадывается, сколь грандиозное планируется торжество. На кухне я застал Вианн Роше, она возилась там с раннего утра. Жозефина Мускат предложила использовать также и кухню кафе, поскольку в маленьком домике Арманды трудно вести большие приготовления, и потому, прибыв туда, я увидел, как целая фаланга помощников переносит блюда, кастрюли и супницы из кафе в дом именинницы. Из распахнутого окна струился густой пряный аромат, от которого у меня невольно потекли слюнки. В саду работал Нарсисс — накидывал ветви растений на решётку, сооружённую между домом и калиткой. Впечатление потрясающее: деревянная конструкция, оплетённая ломоносом, ипомеей, сиренью и чубушником похожа на цветастый навес, сквозь который сочатся лучи солнца. Арманды нигде не видно.

Меня покорила показная демонстрация столь неумеренной расточительности. Устроить банкет в Страстную пятницу... на это способна только Арманда. Столь вопиющая пышность — цветы, еда, обложенные льдом ящики с шампанским у двери — это же кощунство, глумление над принявшим муки сыном Господним. Завтра я обязательно поговорю с ней. Я уже хотел уйти, но вдруг заметил у стены Гийома Дюплесси, поглаживающего одну из кошек Арманды. Он учтиво приподнял шляпу.

— Помогаете? — осведомился я.

Гийом кивнул.

— Да, вызвался пособить, — не стал отрицать он. — Здесь до вечера ещё ох сколько дел.

— Ваше участие меня удивляет, — выговорил ему я. — Да ещё в какой день! На это раз Арманда переусердствовала. Такие расходы! Не говоря уже о неуважении к церкви...

— Она вправе отметить свой маленький праздник, — тихо ответил Гийом, пожимая плечами.

— Она погубит себя обжорством, — сердито заметил я.

— Пожалуй, она уже в том возрасте, когда может поступать так, как считает нужным, — сказал Гийом.

Я с осуждением посмотрел на него. Он сильно изменился с тех пор, как начал общаться с Роше. Прежде свойственное его лицу выражение скорбной смиренности уступило место своеволию на грани наглости.

— И мне не нравится, что родные Арманды вмешиваются в её личную жизнь, — дерзко добавил он.

Я пожал плечами.

— А меня удивляет, что вы взяли её сторону. От вас я этого не ожидал.

— Жизнь полна сюрпризов, — ответил Гийом.

Если бы.

Глава 36

28 марта. Страстная пятница

На каком-то этапе, довольно рано, я позабыла о том, по какому поводу организуется торжество, и увлеклась собственной деятельностью. Анук играла в Мароде, а я самозабвенно, стараясь не упустить ни малейшей детали, руководила приготовлениями к самому грандиозному и богатому пиршеству, какое мне когда-либо доводилось устраивать. В моём распоряжении три кухни. В огромных печах «Миндаля» я пеку торты, в кафе «Марод» готовлю морепродукты, в крохотной кухоньке Арманды — супы, овощи, приправы и гарниры. Жозефина хотела одолжить Арманде столовые приборы и тарелки, но старушка с улыбкой покачала головой.

— Посуда есть, — ответила она. И действительно, в четверг рано утром прибыл фургон из Лиможа с эмблемой крупной фирмы, доставивший два ящика с бокалами и столовым серебром и один ящик с посудой из изящного фарфора. Весь товар был упакован в стружку.

— Никак внучку замуж выдаёте, а? — с улыбкой поинтересовался водитель, забирая у Арманды подписанные чеки. Старушка весело хмыкнула.

— Возможно, — сказала она. — Может, и так.

Всю пятницу она пребывала в бодром настроении, якобы надзирая за приготовлениями, а на самом деле просто мешая другим. Словно шаловливый ребёнок, совала пальцы в соусы, снимала крышки с блюд и заглядывала в горячие кастрюли, пока я наконец не упросила Гийома свозить её на пару часов к парикмахеру в Ажен, — хотя бы для того, чтобы избавиться от её назойливого участия. Вернулась она преобразившейся — с элегантной стрижкой на голове, в новой модной шляпке, в новых перчатках, в новых туфлях. Туфли, перчатки и шляпка одного оттенка — вишнёво-красные. Это любимый цвет Арманды.

— Понемногу избавляюсь от чёрного, — с радостью доложила она мне, усаживаясь в своё кресло-качалку, чтобы наблюдать за приготовлениями. — К концу недели, глядишь, совсем осмелею и куплю себе красное платье. Представляешь, как явлюсь в нём церковь. *Блеск!*

— Отдохните немного, — строго сказала я. — Вам целый вечер принимать гостей. Не хватало ещё, чтоб вы уснули за десертом.

— Не усну, — заверила меня старушка, но согласилась подремать с часок на послеполуденном солнцепёке, пока я буду накрывать на стол. Остальные разошлись по домам, чтобы чуть отдохнуть и переодеться к ужину. Обеденный стол — огромный, непомерно огромный для маленькой гостиной Арманды. Все приглашённые уместятся без труда. Потребовалось четыре человека, чтобы перенести эту тяжёлую машину из бархатного дуба в сооружённую Нарсиссом беседку, под навес из листвы и цветов. Скатерть из камчатного полотна с изящной кружевной каймой пахнет лавандой из шкафа, которой Арманда обложила её давным-давно, сразу же после свадьбы. Подарок бабушки, объяснила она, ни разу ещё не пользовалась. Тарелки из Лиможа белые, с крошечными жёлтыми цветочками по ободку, бокалы — три вида — хрустальные, отбрасывают радужные блики на белую скатерть, словно сотканые из солнечного света гнезда. В центре — композиция из весенних цветов, принесённых Нарсиссом. Возле тарелок аккуратно свёрнутые салфетки, на каждой — именная карточка гостя.

Арманда Вуазен, Вианн Роше, Анук Роше, Каролина Клэрмон, Жорж Клэрмон, Люк Клэрмон, Гийом Дюплесси, Жозефина Бонне, Жюльен Нарсисс, Мишель Ру, Бланш Дюман, Серизет Плансон.

Последние два имени вызвали у меня недоумение, но потом я вспомнила Бланш с Зезет, они жили на судне, пришвартованном в ожидании чуть выше по реке. Очень удивилась, когда поняла, что, оказывается, до этой минуты не знала фамилии Ру, — думала, что это прозвище^[4], потому что он рыжий.

В восемь часов начали прибывать гости. Я сама покинула кухню в семь, чтобы быстро принять душ и переодеться, и, когда вернулась, увидела на реке перед домом Арманды приставшее судно, с которого сходили речные бродяги. На Бланш широкая юбка в сборку и кружевная блузка; Зезет в старом чёрном вечернем платье, руки в татуировках, в брови горит рубин; Ру в чистых джинсах и белой футболке. Все с подарками, завернутыми либо в нарядную бумагу, либо в лист обоев, либо в кусок материи. Потом пришёл Нарсисс в своём воскресном костюме, за ним — Гийом с жёлтым цветком в петлице, следом — Клэрмоны, натужно добродушные и весёлые. Каро подозрительно косится на речных цыган, но демонстрирует хорошее настроение, раз уж такая жертва неизбежна... Пока мы разжигали себе аппетит аперитивом, солёными орешками и крошечными печеньями, Арманда на наших глазах раскрывала подарки. Анук нарисовала для неё кошку и преподнесла подарок в красном конверте, Бланш подарила банку мёда, Зезет — лавандовое саше с вышитой буквой «Б». «Не успела смастерить с вашими инициалами, — беззаботно

объясняет она, — но на следующий год обязательно сделаю». Ру вручил имениннице вырезанный из дерева дубовый листок — очень похожий на настоящий — с гроздьёю желудей у корешка. Нарсисс принёс большую корзину фруктов с цветами. Подарки Клэрмонов более дорогие. Каро преподнесла Арманде шарф — не «Гермес», но всё же шёлковый, отмечаю я, — и серебряную цветочную вазу, Люк — нечто переливчато-красное в пакете из гофрированной бумаги, который он прячет от матери под ворохом содранной упаковки... Арманда, прикрывая ладонью рот, с самодовольной ухмылкой шепчет мне: «Блеск!» Жозефина подарила золотой медальон.

— Только он не новый, — с виноватой улыбкой говорит она.

Арманда надела медальон на шею, крепко обняла Жозефину и лихо плеснула в свой бокал красного вина «Сен-Рафаэль». Я удалилась на кухню, откуда слышу происходящий в саду разговор. Готовить на большое количество гостей — дело непростое, требующее от меня предельной сосредоточенности, но всё же я успеваю следить за тем, что творится в саду. Каро благодущна, готова предаться удовольствиям. Жозефина молчит. Ру и Нарсисс увлечённо беседуют об экзотических фруктовых деревьях. Зезет, небрежно держа в согнутой руке ребёнка, писклявым голоском напевает какую-то народную песенку. Я заметила, что её малыш тоже разукрашен хной. Пухлый, сероглазый, с разрисованной татуировками золотистой кожей, он похож на маленькую дыньку.

Они перешли к столу. Арманда, радостная и энергичная, говорит больше всех. Я также слышу тихий приятный голос Люка, он рассказывает о прочитанной им книге. Голос Каро суровее, — очевидно, Арманда налила себе ещё.

— *Maman*, ты же знаешь, тебе нельзя... — упрекает она мать, но та в ответ лишь смеётся.

— Сегодня мой день рождения, — весело заявляет она. — И на своём празднике я никому не позволю скучать. Тем более себе самой.

Больше на эту тему не сказано ни слова. Я слушаю, как Зезет флиртует с Жоржем, а Ру с Нарсиссом обсуждают сорт слив.

— Лангедокская красавица, — важно провозглашает последний. — По мне это самый лучший сорт. — Плоды сладкие, маленькие, с нежным пушком, как на крыле бабочки... — Ру не согласен.

— Мирабель, — утверждает он. — Единственная слива, которую стоит выращивать. Мирабель.

Я отворачиваюсь к плите, на время сосредотачиваясь на стряпне.

Меня никто не учил готовить, я — повар-самоучка, мой учитель — одержимость. Мать колдовала над зельями и снадобьями, я же возвысила

перенятые у неё навыки до настоящего искусства. Мы с ней всегда были разными. Она мечтала о парении духа, встречах в астрале и загадочных субстанциях; я изучала рецепты и меню, выкраденные из ресторанов, которые нам были не по карману. Мать беззлобно подшучивала над моими мирскими увлечениями.

— Это даже очень хорошо, что у нас нет денег, — говорила она мне. — Иначе ты давно бы растолстела, как хрюшка. — Бедная мама. Тщеславие не оставляло её до конца: она радовалась, что теряет вес, даже когда уже усохла от рака. И в то время как она гадала на картах, что-то бормоча себе под нос, я затверживала названия никогда не пробованных блюд, повторяла их, как заклинания, как таинственные формулы бессмертия. Тушёная говядина. Грибы по-гречески. Эскалоп по-рейнски. Крем-брюле. Шоколадный торт. Тирамису. В незримой кухне своего воображения я готовила, дегустировала, экспериментировала, пополняла свою коллекцию рецептов традиционными блюдами тех мест, в которые заводила нас дорога, вклеивала их в свой альбом, словно фотографии старых друзей. Они придавали смысл моим скитаниям. Глянцевые вырезки на грязных страницах были сродни указательным столбам на тернистом пути наших странствий.

И сейчас я представляю их, будто давно забытых друзей. Томатный суп по-гасконски подаю каждому со свежим базиликом и кусочком пирога, приготовленным следующим образом: на пропитанный оливковым маслом тонкий корж укладываются ломтики сочных помидоров и анчоус с оливками, и всё это запекается на медленном огне до состояния почти пьянящей душистости. Я разлила в высокие фужеры «Шабли» восемьдесят пятого года. Анук потягивает лимонад из своего бокала с видом искушённой аристократки. Нарсисс интересуется рецептом пирога, нахваливая достоинства уродливых местных помидоров, которые, по его мнению, гораздо мясистее и ароматнее геометрически правильных, но безвкусных тепличных томатов. Ру разжёл жаровни по обеим сторонам стола и сбрызнул их цитронеллой, чтобы отогнать насекомых. Каро наблюдает за матерью с осуждением во взгляде. Я ем мало. Надышавшись за день кухонными запахами, к вечеру я испытываю необычайную лёгкость в голове, все мои чувства неестественно обострены, я взвинчена, и потому, когда рука Жозефины ненароком коснулась моей ноги, я едва не вскрикнула от неожиданности. «Шабли» холодное и терпкое, и я пью больше, чем следовало бы. Краски вокруг становятся ярче, голоса звучат звонче. Я слышу, как Арманда восторгается моей стряпнёй. Несу зелёный салат, чтобы зажевать вкус съеденных блюд, потом подаю гусиную печёнку на

тёплых тостах. Гийом привёл с собой своего щенка и теперь тайком, под накрахмаленной скатертью, скармливает ему объедки. Мы оживлённо беседуем, перескакивая с темы на тему: обсуждаем политическую обстановку, баскских сепаратистов, женскую моду, способы выращивания ракет-салата и преимущества дикорастущего латука в сравнении с культивируемым. «Шабли» течёт рекой. За волованами, пышными и нежными, как дыхание летнего ветерка, следует шербет со вкусом бузины, затем морские деликатесы — жареные лангустины, креветки, устрицы, *bemiques*, крабы, как маленькие, так и большие — *taurteaux*, способные отгрызть человеческий палец так же быстро, как я — перекусить стебелёк розмарина, береговые улитки, *palourdes*, и на самомверху блюда из морепродуктов здоровенный чёрный омар — король на троне из морских водорослей. Огромное блюдо — кладёшь деликатесов русалки — переливается всеми оттенками красного, розового, сине-зелёного, жемчужного и лилового цветов, источая незабываемый солёный аромат детства, проведённого на берегу моря. Мы передаём друг другу щипчики для крабов, крошечные вилки для моллюсков, лимон и майонез. Невозможно сохранять невозмутимость при потреблении такого блюда, требующего внимания и абсолютной непринуждённости. Бокалы и серебряная посуда мерцают в свете фонарей, свисающих с оплетённой зеленью решётки над нашими головами. Ночь пахнет цветами и рекой. Арманда проворно орудует пальцами, будто кружевница; горка очисток перед ней растёт с каждой секундой. Я принесла ещё несколько бутылок «Шабли». Глаза у всех блестят, лица покраснелись от усилий: нелегко выковыривать скользких моллюсков из их домиков.

Это еда не для ленивых, требует времени. Жозефина начала понемногу расслабляться, даже завела разговор с Каро, сражаясь с клешнёй рака. Каро неловко дёрнула рукой, и в глаз ей ударил фонтан солёной воды из краба. Жозефина весело хохочет. Через минуту дуэт ей составляет Каро. Я тоже принимаю участие в застольной беседе. Вино обманчиво мягкое, пьётся легко, алкоголь на языке совсем не ощущается. Каро уже несколько опьянела. Она покраснелась, её волосы растрепались, свисают беспорядочными завитками. Жорж под скатертью тискает мою ногу, непристойно подмигивает мне. Бланш делится впечатлениями о своих путешествиях. Она бывала там же, где и я. В Ницце, Вене, Турине. Малыш Зезет запищал, и она вместо соски сунула ему в рот свой палец, предварительно окунув его в вино. Арманда обсуждает с внуком творчество Мюссе. Люк чем больше пьёт, тем меньше заикается. Наконец я убираю опустошённое блюдо из-под морепродуктов, превратившихся в

горы жемчужных очисток на дюжине тарелок. Пирующие макают пальцы в чаши с лимонной водой, освежают рты мятным салатом. Я уношу со стола винные бокалы и расставляю вместо них фужеры для шампанского. У Каро вновь встревоженный вид. В очередной раз направляясь на кухню, я слышу, как она что-то тихо говорит Арманде с настойчивостью в голосе.

— Позже скажешь, — шикает на дочь старушка. — А сейчас я хочу *праздновать*. — Громким возгласом она приветствует шампанское.

На десерт — шоколадное фондю. Это лакомство готовят в ясный день — облачность лишает расплавленный шоколад должного блеска — из семидесятипроцентного горького шоколада, сливочного масла, миндального масла и двойных сливок, добавляемых в самый последний момент, когда смесь, в которую обычно макают наколотые на шпажки кусочки пирога или фруктов, уже греется на медленном огне. Сегодня я выставила на стол все их любимые блюда, хотя для макания предназначен только савойский пирог. Каро заявляет, что больше не в силах съесть ни крошки и тут же кладёт себе на тарелку два ломтика рулета из чёрного и белого шоколада. Арманда не оставляет своим вниманием ни единого блюда. Разрумянившись, она с каждой минутой становится всё более экспансивной. Жозефина объясняет Бланш, почему она ушла от мужа. Жорж слащаво улыбается мне, прикрывая лицо измазанными в шоколаде пальцами. Люк поддразнивает Анук: та уже клюёт носом. Пёс Гийома играет с ножкой стола. Зезет без всякого стеснения вытаскивает грудь и начинает кормить малыша. Каро собралась было сделать ей замечание, но промолчала, лишь недовольно передёрнув плечами. Я откупорила ещё одну бутылку шампанского.

— Ты точно хорошо себя чувствуешь? — тихо пытается Арманду Люк. — Ничего не болит? Лекарства не забываешь принимать?

Арманда смеётся.

— Ты слишком много волнуешься, — укоряет она внука. — Для мальчика твоего возраста это противоестественно. Наоборот, ты должен сам на ушах стоять, повергая в трепет свою мать. А не поучать бабушку. — Настроение у неё по-прежнему приподнятое, но вид немного утомлённый. Мы сидим за столом почти четыре часа. Уже без десяти минут полночь.

— Знаю, — с улыбкой отвечает Люк. — Но я не спешу получить наследство.

Арманда треплет его по ладони и наливает ему ещё один бокал. Рука её дрожит, и несколько капель вина падают на скатерть.

— Не беда, — живо говорит она. — Вина полно.

Мы завершаем ужин моим шоколадным мороженым, трюфелями и

кофе в крохотных чашках. Напоследок глоток кальвадоса из горячей чашечки; ощущение такое, будто во рту взорвались цветы. Анук требует свой *canard* — кусочек сахара, сбрызнутый ликёром, и ещё один — для Пантуфля. Чашки и тарелки опустошены. Огонь в жаровнях угасает. Я наблюдаю за Армандой. Держа под столом руку Люка, она по-прежнему болтает и смеётся, но уже менее оживлённо. Её глаза слипаются.

— Который час? — спрашивает она спустя некоторое время.

— Почти час, — отвечает Гийом.

Старушка вздыхает.

— Что ж, мне пора в постель, — объявляет она. — Старею.

Арманда неуклюже поднялась и, порывшись под стулом, вытащила охапку подарков. Гийом не сводит с неё внимательного взгляда. Он знает. Она посылает ему добрую насмешливую улыбку.

— Так, речей от меня не ждите, — грубоватым шутливым тоном провозглашает она. — Терпеть не могу речи. Просто хочу поблагодарить вас всех и каждого в отдельности. Сегодня мне было очень хорошо. Даже и не помню, когда так веселилась. Лучше *не бывает*. Почему-то бытует мнение, что старикам удовольствия ни к чему. Я не согласна. — Ру, Жорж и Зезет аплодируют ей. Арманда глубокомысленно кивает. — Завтра не являйтесь ко мне слишком рано, — советует она, чуть морщась. — Я, наверно, лет с двадцати столько не пила. Мне нужно выспаться. — Она предостерегающе глянула на меня, рассеянно повторила: — Нужно выспаться. — И стала выбираться из-за стола. Каро поднялась, чтобы её поддержать, но Арманда властным жестом приказала дочери оставаться на месте.

— Не суетись, детка, — сказала она. — Никак ты без этого не можешь. Всё чего-то хлопчешь, хлопчешь. — Она бросила на меня лучезарный взгляд и заявила: — Меня проводит Вианн. С остальными прощаюсь до утра.

Я повела её в дом. Гости медленно расходились, всё ещё смеясь и разговаривая. Каро опиралась на руку мужа, Люк поддерживал мать с другого бока. Волосы Каро совсем растрепались, придав её чертам мягкость, отчего она выглядела значительно моложе своих лет. Открывая дверь в комнату Арманды, я услышала, как она говорит кому-то:

— ...фактически *пообещала*, что переселится в «Мимозы»... прямо камень с души...

Арманда, тоже услышав слова дочери, сонно хмыкнула.

— Места себе не находит с такой непутёвой матерью, как я, — прокомментировала она. — Уложи меня, Вианн, пока я не свалилась.

Я помогла ей раздеться. У подушки лежала приготовленная льняная ночная сорочка. Пока старушка натягивала её через голову, я аккуратно сложила её одежду.

— Подарки. Положи их там, чтобы я видела, — попросила Арманда, неопределённо махнув в сторону туалетного столика с зеркалом. — Хмм. Хорошо-то как.

Я машинально, будто в оцепенении, выполнила её указания. Наверно, я тоже выпила больше, чем намеревалась, ибо была совершенно спокойна. Судя по количеству ампул с инсулином в холодильнике, Арманда прекратила лечение два дня назад. Мне хотелось спросить, тверда ли она в своём решении, осознает ли, что делает, но я вместо этого просто развесила перед ней на спинке стула подарок Люка — шёлковую комбинацию бесстыдно кричащего сочного красного цвета. Она опять издала сдавленный смешок и, протянув руку, пощупала богатую ткань.

— Теперь можешь идти, Вианн, — ласково, но твёрдо сказала она. — Всё было замечательно.

Я медлила. Глянув в зеркало туалетного столика, увидела в нём своё и её отражение. В моём зрительном восприятии Арманда, улыбающаяся, с новой стрижкой, предстала стариком, но её ладони купались в чём-то алом. Она закрыла глаза.

— Свет гасить не надо, Вианн. — Она выгоняла меня. — Спокойной ночи.

Я коснулась губами её щеки. От неё пахло лавандой и шоколадом. Я отправилась на кухню мыть посуду.

Ру остался, чтобы помочь мне. Остальные гости разошлись. Анук спала на диване, засунув в рот большой палец. Мы убирались в молчании. Новые тарелки и бокалы я расставляла в буфетах Арманды. Раз или два Ру попытался завести со мной беседу, но я не могла говорить с ним. Тишину дома нарушало только негромкое позвякивание стекла и фарфора.

— Что с тобой? — наконец не выдержал Ру, осторожно кладя руку мне на плечо. Его волосы отливали желтизной, как ноготки.

— Да так, вспомнила маму, — сказала я первое, что пришло в голову, и тут же осознала, что, как ни странно, не солгала. — Она была бы в восторге от такого вечера. Она любила... праздники.

Он посмотрел на меня. В тусклом желтоватом свете его необычные серовато-голубые глаза потемнели, приобрели почти фиолетовый оттенок. Если б я была вправе посвятить его в планы Арманды!

— Я и не знала, что тебя зовут Мишель, — проронила я.

Он пожал плечами:

— Имена не имеют значения.

— И ещё у тебя пропадает акцент, — с удивлением отметила я. — Прежде ты говорил с очень сильным марсельским акцентом, а теперь...

Он одарил меня одной из своих редких чарующих улыбок.

— Акценты тоже не имеют значения.

Он заключил моё лицо в ладони. Трудно поверить, что это руки работяги. Они у него мягкие и совершенно не загорелые, как у женщины. Интересно, есть хоть доля правды в том, что он мне рассказывал о себе? Впрочем, сейчас это неважно. Я поцеловала его. Он пахнет краской, мылом и шоколадом. Я смакую вкус шоколада на его губах и думаю об Арманде. Ру, мне всегда казалось, равнодушен к Жозефине. Я понимаю, что моя догадка верна, но продолжаю целовать его, потому что нам обоим нужно как-то пережить эту ночь. И мы поддаёмся очарованию, уступаем зову естества, разжигая костры Белтейна у подножия холма, — в этом году несколько раньше, чем заведено по обычаю. Ищем успокоения в нехитрых удовольствиях плоти, чтобы победить темноту. Его ладони проникли под мой свитер и нащупали груди.

На секунду меня одолели сомнения. На моём пути уже было столько мужчин, хороших мужчин, как этот. Все они мне нравились, но никого из них я не любила. Если я не ошиблась и Ру с Жозефиной принадлежат друг другу, как это отразится на них? На мне? Его губы стелятся по моему лицу, словно пух, прикосновения выдают все его желания. Тёплый воздух, поднимающийся от жаровен, приносит в кухню запах сирени.

— Не здесь, — тихо говорю я. — Пойдём в сад.

Ру глянул на Анук, спящую на диване, и кивнул. Неслышным шагом мы вышли на улицу, под усыпанное звёздами фиолетовое небо.

В саду ещё тепло от неостывших жаровен. Чубушник и сирень с зелёной беседки Нарсисса обволакивают нас своими ароматами. Мы лежим на траве, словно дети. О любви не сказано ни слова, мы не давали друг другу никаких обещаний. Ру медленно, осторожно, почти бесстрастно двигается на мне, языком водя по моей коже. Над его головой простирается фиолетово-чёрное, как его глаза, небо; я вижу широкую ленту Млечного Пути, опоясывающую весь мир. Я знаю, что другого такого раза между нами не будет, но при этой мысли испытываю только смутную тоску. Во мне нарастает что-то могучее, всё существо затопляет исступление, в котором тонет и моё одиночество, и даже скорбь по Арманде. Ещё будет время предаться печали. А пока я наслаждаюсь простыми чудесами. Лежу обнажённая на траве, рядом с затихшим мужчиной, в объятьях безграничности, окутывающей меня как снаружи, так и изнутри. Мы с Ру

долго так лежали. На наших остывающих телах, впитавших запахи лаванды и тимьяна с клумбы у нас в ногах, бегали мелкие насекомые. Держась за руки, мы смотрели на невыносимо медленно плывущее в вышине небо.

Ру тихо напевал себе под нос:

V'la l'bon vent, V'la l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma vie m'appelle.

И во мне теперь бушует ветер, дёргает, требушит меня с неумолимой настойчивостью. Но крохотный пяточок в самой сердцевине каким-то чудом остаётся незатронутым. И почти знакомое ощущение чего-то нового... Это тоже своего рода чародейство, волшебство, которого моя мать никогда не понимала. И всё же я как никогда уверена в том, что явилось моему взору, — зародившееся во мне дивное живое тепло. По крайней мере, теперь ясно, почему я вытащила карту с влюблёнными в ту ночь. Думая о своём открытии, я зажмуриваюсь и пытаюсь грезить о ней — о маленькой незнакомке с румяными щёчками и хлопающими чёрными глазёнками, — как я это делала перед рождением Анук.

Когда я проснулась, Ру рядом уже не было. Ветер снова поменял направление.

Глава 37

29 марта. Страстная суббота

Помоги мне, *pere*. Неужели я мало молился? Мало страдал за наши грехи? Моё исполнение епитимьи — образец для подражания. От недоедания и недосыпания у меня кружится голова. Разве теперь не время искупления, когда нам прощаются все грехи? Серебро вновь на алтаре, в преддверии святого праздника горят свечи. Часовню — впервые со дня наступления Великого поста — украшают цветы. Даже святой Франциск увенчан лилиями, источающими аромат чистой плоти. Мы с тобой так долго ждали. Шесть лет минуло с тех пор, как тебя первый раз хватил удар. Уже тогда ты не отвечал мне, хотя с другими разговаривал. Потом, в прошлом году, второй удар. Мне сказали, что теперь ты не способен общаться, но я знаю, что это всего лишь притворство, выжидательная тактика. Придёт время, и ты очнёшься.

Сегодня утром нашли мёртвой Арманду Вуазен, с улыбкой на лице. Она скончалась в своей постели, *pere*. Ещё одна грешница, ускользнувшая от нас. Я прочёл над ней молитву, хотя она вряд ли поблагодарила бы меня за это. Возможно, я — единственный, кому ещё доставляют утешение подобные обряды.

Она запланировала свою смерть на минувшую ночь, организовала всё до мелочей — стол, напитки, компанию. Обманом собрала вокруг себя родных, пообещав им исправиться. Будь проклята эта её заносчивость! Она заплатит, клянётся Каро. Отслужите по ней двадцать месс, тридцать. Молитесь за неё. Молитесь за неё. Меня до сих пор трясёт от гнева. Не могу сдержанно говорить о ней. Похороны во вторник. Представляя, как она лежит сейчас в больничном морге — в изголовье пионы, на белых губах застывшая улыбка, — я испытываю вовсе не сожаление и даже не удовлетворение, а испепеляющую бессильную ярость.

Разумеется, ясно, кто за всем этим стоит. Роше. О да, Каро мне всё рассказала. Эта женщина — зло, *pere*, паразит, вторгшийся в наш сад и пустивший в нём корни. Зря я не прислушался к своим инстинктам. Следовало прогнать её в ту же минуту, как только мой взгляд упал на неё. Она чинит мне препоны на каждом углу, смеётся надо мной за затянутой витриной своего магазина, протягивает свои коварные щупальца во всех

направлениях. Я был глупцом, *pere*. Моя глупость явилась причиной гибели Арманды Вуазен. С нами живёт зло. Зло с торжествующей улыбкой, зло в ярких одеждах. Ребёнком я со страхом слушал сказку про ведьму, заманивавшую маленьких детей в пряничный домик, чтобы потом съесть их там. Я смотрю на её магазинчик в блестящей упаковке, словно подарок, ожидающий, когда его раскроют, и думаю, сколько же человек, сколько душ она уже безвозвратно совратила. Арманда Вуазен. Жозефина Мускат. Поль-Мари Мускат. Жюльен Нарсисс. Люк Клэрмон. Нужно расправиться с ней. И с её отродьем тоже. Деликатничать поздно, *pere*. У меня уже есть один грех на душе. Если б мне вновь стало двенадцать лет. Я пытаюсь вспомнить необузданность, изобретательность двенадцатилетнего мальчишки, каким я был когда-то. Мальчишки, разом решившего все проблемы одним броском бутылки с горючей смесью. Но тех дней уж не вернуть. Я должен действовать умно. Чтобы не замарать честь сутаны. И всё же, если я потерплю неудачу...

Как поступил бы Мускат? Да, он ничтожество, грубое животное. Но он заметил опасность гораздо раньше, чем я. Как бы он поступил? Мне следует равняться на Муската. Пусть он грязная жестокая свинья, зато хитёр, как лис.

Как поступил бы он?

Завтра праздник шоколада. От его успеха или провала зависит её судьба. Настраивать общественное мнение против неё слишком поздно. В глазах окружающих я должен быть безупречен.

За затянутой витриной ожидают своего часа тысячи шоколадных лакомств. Украшенные лентами яйца, звери, пасхальные гнёзда, подарочные коробочки, кролики в целлофановых рюшках... Завтра дети проснутся под праздничный трезвон колоколов, но их первой мыслью будет не «Он воскрес!», а «Шоколад! Пасхальный шоколад!». А что, если шоколада не окажется?

Эта мысль парализует моё сознание. В следующую секунду меня заливают жгучая радость. Хитрая свинья во мне ликует и слабится. Я могу пробраться к ней в дом, подсказывает она. Задняя дверь полусгнила от старости. Я взломаю её, проникну в магазин с дубинкой. Шоколад — изделие хрупкое, разломать его легче лёгкого. Пять минут, и её подарочные коробочки превратятся в месиво. Она спит наверху. Возможно, ничего и не услышит. А я управлюсь быстро. К тому же я буду в маске, так что если она и увидит... Подозрение падёт на Муската. Акт мести. А опровергнуть он не сможет, ведь его здесь нет. И потом...

Реге, ты шевельнулся? Я абсолютно точно видел, как секунду назад

твоя рука дёрнулась, два первых пальца согнулись, словно даруя благословение. И вот опять ты содрогнулся, будто старый воин, грезящий о былых битвах. Это знамение.

Хвала Господу. Знамение.

Глава 38

30 марта. Пасхальное воскресенье. 4 часа утра

Минувшей ночью я почти не сомкнул глаз. Свет в её окне погас только в два часа, но даже потом я не осмелился двинуться к её дому, опасаясь, что она всё ещё бодрствует в темноте. Чтобы не проспать, я завёл будильник и два часа продремал, сидя в кресле. Волновался я, конечно, зря. Мой сон был короткий, пронизанный мимолётными видениями, которые я едва помнил по пробуждении, хотя вскакивал от них, как ужаленный. Кажется, мне снилась Арманда — молодая Арманда, какой я её никогда не знал; в красном платье, она бегала по полям за Мародом, и её чёрные распущенные волосы развевались по ветру. А может, это была Вианн, и я просто перепутал их. Потом я видел пожар в Мароде, сгоревших цыган — потаскушку с её алкашом, видел ядовито-красные берега Танна и тебя, *pere*, с моей матерью в канцелярии... Вся горечь того лета просочилась в мои тревожные сны, и я, словно свинья, таскающая из-под земли трюфели, барахтался, купался в гнилых деликатесах и обжирался, обжирался.

В четыре я поднялся с кресла. Спал я в одежде, сбросив только сутану и воротничок. Церковь к этому делу не имеет никакого отношения. Я приготовил себе кофе, очень крепкий, но без сахара, хотя формально свою епитимью я уже исполнил. Подчёркиваю: формально. В душе я знаю, что Пасха ещё не наступила. Он ещё не воскрес. Вот если достигну своей цели, *тогда* Он воскреснет.

Я замечаю, что меня бьёт дрожь. Чтобы собраться с духом, ем сухой хлеб. Кофе горячий и горький. Когда выполню своё задание, устрою для себя настоящий пир: с яйцами, ветчиной, сдобными булочками из пекарни Пуату. При этой мысли у меня потекли слюнки. Я включил радио, настроил на станцию классической музыки. *Пусть овцы спокойно пасутся.* Мои губы искривились в холодной презрительной усмешке. Сейчас не время для пасторалей. Это час свиньи. Хитрой свиньи. С музыкой покончено.

Без пяти минут пять. Выглядывая в окно, я вижу на горизонте первые проблески рассвета. У меня уйма времени. Викарий придёт сюда в шесть звонить Пасху. Для выполнения моей тайной миссии времени больше чем достаточно. Я надеваю специально приготовленную маску и не узнаю своё отражение в зеркале. На меня смотрит бандит. Это сравнение вновь

вызвало у меня улыбку. Моя усмешка под маской кажется жестокой и циничной. Вот бы она увидела меня.

5.10

Дверь не заперта. Я едва верю своему счастью. Потрясающе самонадеянная женщина. Убеждена, что никто не посмеет противостоять ей. Я отбросил тяжёлую отвёртку, которой намеревался взломать дверь, и обеими руками взял увесистую доску — кусок притолоки, *pere*, обвалившейся во время войны. Дверь отворилась в тишину. Над входом болтается одно из её красных саше. Я сорвал его и презрительно швырнул на пол. В первую минуту никак не соображу, где нахожусь. Бывшая пекарня сильно изменилась, да я и не очень-то знаком с дальними помещениями. Напольная плитка слабо отражает свет, и я рад, что додумался прихватить с собой фонарь. Я включаю его и на мгновение почти ослеплён белизной эмалированных поверхностей. Выскобленные столы, раковины и старые печи сверкают в желтоватом сиянии узкого фонарного луча. Шоколада нигде нет. Ну конечно. Это же кухня, здесь только готовят. И сам не понимаю, почему чистота в её доме так поразила меня. Я воображал её неряхой, оставляющей в раковинах горы немытой посуды и сыплющей свои длинные чёрные волосы в тесто, а она безукоризненно аккуратна. На полках — стройные ряды кастрюль, выставленных по размеру и по качеству: медные с медными, эмалированные с эмалированными. На белёных стенах висят большие ложки и ковши. Фарфоровые миски на любой вкус. На старом изрезанном столе несколько каменных форм для выпечки хлеба, в центре — ваза с пушистыми жёлтыми георгинами, отбрасывающими мохнатую тень. Почему-то цветы взбесили меня. Какое право она имеет ставить цветы, когда Арманда Вуазен лежит в морге? Свинья внутри меня с ухмылкой ломает цветы и бросает их на стол. Я ей не запрещаю. Мне необходима её свирепость для достижения поставленной цели.

5.20

Шоколад, должно быть, в самом магазине. Я тихо прошагал через кухню и открыл массивную сосновую дверь, ведущую в переднюю часть здания. Слева от меня лестница наверх, в жилые помещения. Справа — прилавки, полки, витрины, коробочки... Запах шоколада, хоть и ожидаемый, ошеломил меня. Темнота словно усиливает его, так что на мгновение кажется, будто этот запах и *есть* темнота. Она обволакивает меня, как густая коричневая патока, душит разум. Луч фонаря выхватывает

гроздья чего-то яркого, фольгу, ленты, искрящиеся целлофановые рюшки. Я в пещере сокровищ. Меня пробирает нервная дрожь. Незаметно, под покровом темноты, вторгнуться в дом ведьмы, тайком трогать её вещи, пока она спит... Меня неодолимо влечёт к витрине, так и подмывает содрать бумагу, чтобы первым увидеть... Абсурд. Ведь я намерен устроить погром. Но я не в силах устоять перед соблазном. Неслышно — туфли у меня на резиновой подошве — подбираюсь к витрине; тяжёлая дубина свободно болтается в руке. У меня уйма времени. Вполне успею удовлетворить своё любопытство, если мне так хочется. Да и как не насладиться сполна столь драгоценными минутами?

5.30

Я осторожно снимаю плёнку, укрывающую витрину. Она отрывается с тихим треском. Я убираю её в сторону и, напрягая слух, пытаюсь уловить признаки движения наверху. Тишина. Фонарь освещает витрину, и на мгновение я почти забываю, где нахожусь. Моему взору открываются горы изумительных сокровищ — глазированные фрукты, марципановые цветы, россыпи шоколада всех форм и расцветок. Кролики, утки, курочки, цыплята, барашки глазят на меня радостно-серьёзными шоколадными глазами, словно терракотовые армии Древнего Китая. И над всем этим изобилием возвышается статуя женщины со струящимися волосами; в её грациозных коричневых руках сноп шоколадной пшеницы. Каждая деталь в её облике тщательно продумана: волосы отлиты из более тёмного шоколада, на глазах белый налёт. Запах шоколада дурманит, густой чувственный аромат проникает в горло, насыщая его восхитительной душистостью. Женщина со снопом пшеницы загадочно улыбается, — будто созерцает таинства.

Попробуй меня. Отведай. Вкуси.

Здесь, в самом рассаднике соблазнов, зазывный клич шоколада звучит особенно громко. Я могу протянуть руку в любом направлении, схватить один из запретных плодов и впиться зубами в его непостижимо сладостную мякоть. Эта мысль пронизывает меня со всех сторон.

Попробуй меня. Отведай. Вкуси.

И никто ничего не узнает.

Попробуй меня. Отведай. Вкуси...

Почему бы нет?

5.40

Я возьму первое, на что наткнутся мои пальцы. Только нельзя

поддаваться безумию. Одна шоколадка — не украденная, а спасённая — одна-единственная из всей братии переживёт погром. Моя ладонь невольно задерживается, зависая, как дракон, над скоплением лакомств. Они лежат на плексигласовом подносе под защитой прозрачной крышки, на которой красивым почерком с наклоном выведено название каждого изделия. Названия завораживающие: *Сухое апельсиновое печенье. Марципановый абрикосовый рулет. Сушёная вишня по-русски. Белые трюфели с ромом. Белый «Манон». «Соски Венеры».* Я чувствую, что моё лицо под маской краснеет. Как можно покупать конфеты с таким названием? Однако смотрятся они восхитительно — пухлые, белые в свете моего фонаря, сверху обсыпаны тёмной шоколадной пудрой. Я беру одну конфетку с подноса, подношу её к носу. Запах сливок и ванили. Никто не узнает. Я вдруг сознаю, что последний раз ел шоколад в детстве, уж и не помню, сколько лет назад, да и то это были дешёвые плитки — всего пятнадцать процентов какао, а в чёрном — двадцать, с вязким привкусом жира и сахара. Раз или два я покупал в супермаркете «Сюшар», но он стоил в пять раз дороже тех плиток, что для меня непозволительная роскошь. А эти конфеты ни с чем не сравнить: обманчиво твёрдая шоколадная скорлупка, внутри мягкий трюфель... Пикантные привкусы наслаиваются один на другой, как букет тонкого вина — лёгкая горечь, терпкий дух молотого кофе. От тепла моего дыхания аромат оживает, забивается мне в ноздри, пьянит, как дьявольское зелье, срывая с моих губ стоны.

5:45

Я пробую ещё одну, убеждая себя, что теперь это неважно. И опять читаю названия. *Чёрная смородина со сливками. Три орешка.* На подносе с пометкой «Восточное путешествие» лежат тёмные нугаты. Я беру один. Кондированный имбирь в твёрдой сахарной оболочке раскалывается во рту, выливая на язык ликёр, по вкусу — настоящий экстракт пряностей, освежающий настой из ароматов сандалового дерева, корицы и лайма, перебиваемых запахами кедра и гвоздики... Я беру ещё одно лакомство — с подноса с надписью «Медовые персики». Кусочек персика, пропитанный мёдом и коньяком, шоколадный колпачок, увенчанный персиковым цукатом. Я смотрю на часы. Время ещё есть.

Я понимаю, что уже пора серьёзно приниматься за выполнение своей праведной миссии. Витрина, безусловно, впечатляющая, но это не товар на сотни заказов, которые она получила. Должно быть, есть другое место, где она хранит свои подарочные коробочки и крупные партии готовой продукции. Здесь только образцы. Я хватаю миндаль в шоколаде и сую в

рот, чтобы лучше думалось. Потом туда же отправляю помадку. Следом белый «Манон», начинённый свежими сливками с миндалём. Времени остаётся так мало, а я ещё столько всего не испробовал... Со своей миссией я справлюсь за пять минут, может, и быстрее. Если знать, где искать. Съем ещё одну конфетку, на удачу, и отправлюсь на поиски. Ещё только одну.

5.55

Претворился в реальность один из моих снов. Я катаюсь в шоколаде. Воображаю себя на шоколадном поле, на шоколадном пляже. Нежусь в шоколаде, утопаю в шоколаде, объедаюсь шоколадом. Я уже не читаю названия — на это нет времени. Просто запихиваю в рот всё, что попадает под руку. Хитрая свинья во мне утратила сообразительность перед лицом столь восхитительного изобилия и опять превратилась в обычную свинью, и, хотя некий голос в сознании требует, чтобы я остановился, я ничего не могу с собой поделать. Стоило только начать... С голодом это никак не связано. Я набиваю шоколадом рот и руки. На мгновение с ужасом представляю Арманду, восставшую из гроба, чтобы помучить меня, возможно, наслать на меня проклятие, которое было её собственным бичом, обречь на смерть от обжорства. Поедая шоколад, я издаю стоны, чмокаю, хрюкаю от восторга и безысходности, словно свинья во мне наконец-то обрела голос.

6.00

Он воскрес! Звон колоколов вывел меня из транса. Я увидел, что сижу на полу посреди разбросанных конфет, словно и впрямь, как и воображал, катался в шоколаде. Забытая дубинка лежит рядом. Маску, мешавшую мне есть, я снял. В оголённую витрину на меня безучастно таращится брезжущий рассвет.

Он воскрес! Словно пьяный, я неуклюже поднимаюсь на ноги. Через пять минут на богослужение начнут стекаться первые прихожане. Меня уже, наверно, ищут. Липкими пальцами, измазанными в растаявшем шоколаде, я хватаю свою дубинку. И на меня нисходит озарение. Я знаю, где она хранит свой товар. В старом подвале, сухом и прохладном, где некогда стояли мешки с мукой. Туда я смогу пробраться. Непременно смогу.

Он воскрес!

С дубинкой в руках я поворачиваюсь. Мне бы хоть чуточку времени...

Она ждёт меня, наблюдает, прячась за занавеской из бус. Давно ли, не знаю. На её губах играет едва заметная улыбка. Она бережно вынимает из

моей руки дубинку. В пальцах у неё зажато что-то вроде обгорелого куска цветной бумаги. Возможно, это карта.

...Вот таким они меня и увидели, *pere*. На карачках в развалинах её витрины, лицо вымазано в шоколаде, взгляд затравленный. Откуда ни возьмись на помощь к ней бегут люди. Дюплесси со своим щенком охраняет главный вход. Сама Роше с моей дубинкой под мышкой стоит у задней двери в дом. Пуату, проснувшийся, как всегда, рано, чтобы испечь свежий хлеб, созывает любопытных на другой стороне улицы. Клэрмоны пьются на меня, выпучив глаза, словно выброшенные из воды карпы. Нарсисс потрясает кулаком. И смех. Боже! Смех. А на площади Св. Иеронима продолжают звонить колокола. *Он воскрес!*

Глава 39

31 марта. Светлый понедельник

Когда колокола умолкли, я отослала Рейно восвояси. На проповедь он так и не явился. Без лишних слов сбежал в Марод. Его отсутствие мало кого огорчило. А мы в итоге начали праздновать рано, открыли гулянье горячим шоколадом с пирожными возле «Небесного миндаля». Я тем временем быстро навела порядок в магазине. К счастью, мусора оказалось немного. На полу валялись несколько сотен шоколадных конфет, но подарочные упаковки не пострадали. Немного подправила витрину, и она вновь хороша, как прежде.

Праздник оправдал все наши ожидания. Лотки с ремесленными поделками, фанфары, оркестр Нарсисса — он оказался на удивление виртуозным саксофонистом, — жонглёры, пожиратели огня. В город вернулись речные бродяги — по крайней мере на один день, — и улицы запестрели их колоритными фигурами. Некоторые из них установили свои собственные лотки, торгуя вареньем и мёдом, нанизывая бусинки на пряжи волос, делая татуировки хной или предсказывая судьбу. Ру продавал куклы, которые он сам вырезал из обломков плавника. Не было только Клэрмонов, хотя Арманду я постоянно видела в воображении, будто не могла представить, чтобы она пропустила столь бурное веселье. Казалось, она всюду. Согбенная женщина в сером балахоне, красном шарфе и украшенной вишенками соломенной шляпке, покачивающейся над праздничной толпой. Как ни странно, скорбь меня не терзала. Напротив, во мне всё больше крепла уверенность, что она вот-вот появится, начнёт открывать коробки, заглядывать внутрь, жадно облизывать пальцы или улюлюкать, радуясь шуму, забавам, веселью. Однажды мне даже почудилось, будто я услышала её голос — *блеск!* — прозвучавший возле меня как раз в ту минуту, когда я потянулась за пакетиком изюма в шоколаде, но, обернувшись, я увидела только пустоту. Моя мама нашла бы этому объяснение.

Я выполнила все заказы и последнюю подарочную коробочку продала в четыре пятнадцать. Главный приз в соревновании по поиску пасхального яйца достался Люси Прюдом, но каждый из его участников получил свой *comet-surprise* — с шоколадками, игрушечной трубой, тамбурином и

вымпелом. Единственная повозка с настоящими цветами рекламировала питомник Нарсисса. Несколько молодых пар даже отважились потанцевать под суровым оком святого Иеронима, и целый день светило солнце.

И всё же теперь, когда я сижу с Анук в нашем тихом доме — в руке у меня книжка со сказками, — в моей душе царит смятение. Я убеждаю себя, что это просто опустошённость, неизменно наступающая по свершении долгожданного события. Опустошённость, вызванная, возможно, усталостью, пережитыми волнениями, вторжением Рейно перед самым праздником, знойным солнцем, скоплением народа... И скорбью по Арманде, заявившей о себе сразу же, едва стихли звуки веселья. Скорбью, окрашенной множеством противоречивых чувств — одиночества, утраты, недоумения, твёрдой уверенности в собственной правоте... Дорогая моя Арманда. Ты была бы в восторге. Но ведь и у тебя был праздник, верно?

Поздно вечером, когда всё уже давно было убрано, зашёл Гийом. Анук готовилась ко сну, хотя в её глазах всё ещё плясали праздничные огни.

— Можно войти? — Его пёс, научившийся повиноваться командам хозяина, послушно сел у двери. Гийом что-то держит в руке. Письмо. — Арманда просила, чтобы я передал вам это. Вы понимаете. После того.

Я беру письмо. В конверте рядом с бумагой гремит что-то маленькое и твёрдое.

— Спасибо.

— Я не задержусь.

С минуту он смотрит на меня, потом протягивает руку — церемонный и одновременно удивительно трогательный жест. Ладонь у него холодная, рукопожатие твёрдое. У меня защипало в глазах, и что-то сверкающее упало на рукав немолодого мужчины. Его слезинка или моя, не могу сказать.

— Спокойной ночи, Вианн.

— Спокойной ночи, Гийом.

В конверте одинарный листок бумаги. Я извлекаю его, и на стол выкатывается что-то, — наверно, монеты. На листке крупным, старательным почерком выведено:

«Дорогая Вианн!

Спасибо за всё. Я знаю, каково тебе сейчас. Если хочешь, поговори с Гийомом, — он понимает лучше, чем остальные. Прости, что не смогу быть на твоём празднике, но я так часто воображала его себе, что, в сущности, это и не важно. Поцелуй за

меня Анук и передай ей одну из вложенных монет. Вторая — для следующего. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду.

Меня мучит усталость, я чувствую, как меняется ветер. Думаю, сон пойдёт мне на пользу. И, как знать, может, однажды мы с тобой ещё встретимся.

Твоя Арманда Вуазен

P.S. На похороны не ходите, ни ты, ни она. Это шоу Каро, и, полагаю, она вправе организовать его на свой вкус, раз уж подобные мероприятия доставляют ей удовольствие. А ты лучше собери в «Миндале» наших общих друзей, и все вместе распейте горшочек шоколада. Я вас всех очень люблю.

А.»

Закончив читать, я отложила письмо и стала искать раскатившиеся монеты. Одна лежала на столе, вторая — на стуле. В моей ладони блестят два золотых соверена. Один — для Анук. А второй? Инстинктивно я мысленным взором нащупала тёплое неподвижное местечко внутри себя, потайной уголок, который и сама ещё как следует не изведала.

Головка Анук покоится на моём плече. Я читаю вслух, а она, уже почти засыпая, убаюкивает Пантуфля. В последние недели Пантуфль редко давал о себе знать; его затмили более реальные партнёры по играм. Но изменился ветер, и он снова здесь. Наверно, неспроста. Я тоже предчувствую неминуемость перемен. Придуманная мною сказка о постоянстве — всё равно что песочные замки, которые мы некогда строили на берегу. Стоят до первого прилива. И если не море, то солнце разрушает их. К следующему утру на их месте одни развалины. Но я почти не сержусь, и обида меня не гложет. И всё же запах карнавала не даёт мне покоя, неутомимый жаркий ветер зовёт в дорогу. Откуда он? С юга? С востока? Из Америки? Из Англии? Это всего лишь дело времени. Ланскне, со всеми его ассоциациями, уже кажется мне менее реальным, уже превращается в воспоминание. Механизмы сбавляют обороты и останавливаются. Наверно, я с самого начала предвидела подобный исход. С самого начала догадывалась, что мы с Рейно уравниваем друг друга и что без него моё присутствие здесь не имеет смысла.

Какова бы ни была причина, этот городок утратил свой забито-убогий вид, его сменило чувство глубокого удовлетворения и полного довольства. Я понимаю, что теперь я здесь лишняя. Повсеместно в домах Ланскне парочки тешатся любовью, дети играют, собаки лают, орут телевизоры...

Без нас. Гийом гладит своего пса и смотрит «Касабланку». Люк, один в своей комнате, чуть запинаясь, читает вслух Рембо. Ру с Жозефиной в своём отремонтированном доме мало-помалу открывают для себя друг друга. Сегодня вечером «Радио Гасконь» передавало репортаж о празднике шоколада, высокопарно провозгласив гулянье в Ланскне-су-Танн «очаровательной местной традицией». Отныне туристы не станут проезжать мимо Ланскне, торопясь посетить другие, более интересные края. Я отметила незримый город на карте.

Ветер приносит запахи моря, озона, жареной пищи, дух набережной Жуан-ле-Пен, блинов, кокосового масла, древесного угля и пота. Столько мест ждут, когда ветер сменит направление. Столько страждущих людей. Как долго на этот раз? Полгода? Год? Анук утыкается лицом в моё плечо, и я прижимаю её к себе, неожиданно крепко, ибо она пробуждается и что-то обиженно бормочет в полусне. «Небесный миндаль» вновь станет пекарней. Или кондитерской, со свисающими с потолка алтейными гирляндами, похожими на синюю колбасу, и коробочками с коврижками, на крышках которых проштамповано: «Сувенир из Ланскне-су-Танн». Во всяком случае, у нас есть деньги, даже больше, чем нужно на то, чтобы открыть новую шоколадную где-нибудь ещё. В Ницце, например, или в Каннах, Лондоне или Париже. Анук бормочет во сне. Её тоже тревожит запах перемен.

И всё же мы сделали большой скачок. Безликие гостиничные номера, мерцание неоновых огней, скитания с севера на юг по велению гадальной карты — всё это теперь не для нас. Наконец-то мы, Анук и я, сбили спесь с Чёрного человека, обратили его в бегство, увидели его истинное лицо. Оказалось, что он просто шут, карнавальная маска. Здесь мы не можем оставаться вечно. Но, возможно, Рейно проторил для нас путь в какое-то другое местечко. Благодаря ему мы сможем навсегда осесть в каком-нибудь приморском городке. Или в селении у реки, с полями и виноградниками. Имена мы изменим. Иначе будет звучать и название нашего магазина. Например, «Чудесный трюфель». Или «Дивные соблазны» — в память о Рейно. И на этот раз мы унесём с собой столько добрых воспоминаний о Ланскне. Я держу в ладони подарок Арманды. Монеты тяжёлые, увесистые. Золото красноватое, почти как волосы Ру. И опять я подумала, как она догадалась... сколь сильным даром ясновидения обладала эта женщина. Ещё один ребёнок — на этот раз не от безвестного отца. Ребёнок от хорошего человека, пусть тот никогда и не узнает о нём. Интересно, унаследует ли она его волосы, его дымчатые глаза? Я почему-то убеждена, что у меня родится девочка. Даже знаю, как её назову.

Всё остальное можно оставить в прошлом. Чёрный человек исчез навсегда. Мой голос изменился, стал более уверенным, звучным. Прислушиваясь, я различаю в нём новые, до боли знакомые интонации. Дерзость, пожалуй, даже ликование. Я распрощалась со своими страхами. И с тобой простилась, *tatan*, хотя твой голос, обращающийся ко мне, буду слышать всегда. Мне больше не надо бояться собственного отражения в зеркале. Анук улыбается во сне. Я могла бы остаться здесь, *tatan*. У нас есть дом, друзья. Флюгер за моим окном крутится, крутится. Я представляю, как слушаю его скрип изо дня в день каждую неделю, каждый год. Воображаю, как смотрю из своего окна на зимнее утро. Новый голос во мне хохочет, будто приветствуя моё возвращение домой. Во мне тихо, нежно ворочается новая жизнь. Анук болтает во сне, плетёт что-то нечленораздельное. Её маленькие ладошки стискивают моё плечо.

— Пожалуйста, *tatan*. — Мой свитер заглушает её слова. — Спой мне песенку. — Она открывает глаза. Сине-зелёные, как земля, открывающаяся взору с большой высоты.

— Хорошо.

Она вновь смежила веки, а я тихо запела:

V'la l'bon vent, V'la l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma vie m'appelle....

Надеясь, что на этот раз я просто пою колыбельную. Что на этот раз ветер её не услышит. Что на этот раз — *хотя бы один раз* — он улетит без нас.

notes

Примечания

1

От *lesmarauds* (фр.) — презренные.

Киска, киска, ты куда? Проходи, не делай зла (фр.).

Вот снова дует добрый ветер, весёлый ветер,
Вот снова дует добрый ветер, моя жизнь меня зовёт,
Вот снова дует добрый ветер, весёлый ветер,
Вот снова дует добрый ветер, моя жизнь меня ждёт.

От *roux* — рыжеволосый (фр.).